

АНАТОЛИЙ ЕЛКИН

АТОМНЫЕ УХОДЯТ ПО ТРЕВОГЕ







АНАТОЛИЙ ЕЛКИН

АТОМНЫЕ УХОДЯТ ПО ТРЕВОГЕ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ



Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва. 1972

ОТ АВТОРА

Эпопея рождения советского атомного подводного флота и освоения им Океана достаточно прекрасна и героична, чтобы автору нужно было прибегать к вымыслу. Все письма, дневники — подлинны. Изменены лишь некоторые имена и ситуации, когда дело касалось личных обстоятельств жизни героев и тех моментов, о которых еще не пришло время рассказывать. Этим же обстоятельством вызвано и некоторое незначительное смещение событий во времени.

Автор приносит огромную благодарность матросам, старшинам и офицерам атомных подводных лодок, Главному Командованию и Политуправлению ВМФ, без дружеской помощи и советов которых эта книга была бы невозможна.

Особая признательность — матери Бориса Корчилова — Марии Денисовне Корчиловой и семье Розановых.

ТЕНИ ДАЛЬНЕЙ АТЛАНТИКИ

(Пролог)

Необыкновенное, каким бы удивительным оно ни казалось, имеет свое начало. И рубеж, за которым скрытое вчера от глаз становится различимым и видимым всем. Хотя и не сразу улавливают непосвященные все следствия и причины, определившие ход событий.

Сэр Уильям Форстер, командир ударного авианосца, считался на флоте Соединенных Штатов опытным моряком. Его «ребята» неплохо дрались в небе Кореи. Корабль четко действовал, когда сжималось кольцо блокады вокруг Кубы, и сэр Уильям в любую секунду был готов нанести смертельный удар по Гаване.

К его великому сожалению, до этого дело не дошло: судьба войны решилась в дипломатических сферах.

Во всяком случае, авианосец, как предвещающий несчастье Летучий Голландец, всегда неизменно оказывался там, где вот-вот должны были загреметь пушки или интересам Его Величества Доллара возникала явная или тайная угроза.

Сейчас его корабль вышел из ремонта, принял самолеты, в короткие сроки отработал задачи курса боевой подготовки, и сэр Уильям вел его в дальний поход.

Расхаживая по каюте, отделанной пластиком, имитирующим красное дерево, и светлыми алюминиевыми панелями, он размышлял о задании. Само по себе оно вроде бы особой трудности не представляло. В шифровке говорилось: «Скрытно пересечь Атлантику и прибыть в Средиземное море не позднее двадцать пятого».

Скрытый смысл приказа был для него абсолютно ясен. На Ближнем Востоке опять что-то готовилось. Раньше такие акции осуществлялись более просто и легко. Но теперь в Средиземном море болтается неизве-

стно откуда появившаяся эскадра русских. Еще недавно расскажи сэру Уильяму о чем-либо подобном — он бы рассмеялся: русские ходили по Балтике, по Черному морю. Редко — в дальние походы. Но чтобы появиться здесь мощной эскадрой! И не для кратковременного визита в симпатизирующие красным страны, а для постоянного пребывания и отработки боевых задач — такого еще не было.

И кто даст гарантию, что эта эскадра останется безучастной, если начнутся события, русских решительно не устраивающие? В штабе Атлантического флота сэру Уильяму рассказали, что, когда американский фрегат приблизился к русской эскадре и запросил по семафору: «Что вы здесь делаете?», ему ответили надменно, оскорбительно: «Что надо, то и делаем...»

Замысел госдепартамента ясен: авианосец Форстера и идущие с ним фрегаты должны были не только сбить спесь с русских и продемонстрировать им мощь флота Штатов. Они усилят 6-й американский флот и скуют на случай осложнений действия этой невесть откуда взявшейся эскадры.

Форстер довольно улыбнулся. Он представил, какой шок испытают красные, увидев еще один авианосец в составе могучей заокеанской армады. Что смогут они противопоставить массе палубных самолетов — носителей ядерных бомб? Их хватит не на одну эскадру!

Он надеялся на то, что его корабли на переходе морем не будут обнаружены. Идет он в стороне от морских дорог, соблюдая полное радиомолчание. В базе специально был пущен слух, что они направляются во Вьетнам. Могла быть одна опасность — русские подводные лодки. Но их, слава создателю, пока в дальней Атлантике не видывали.

Стихия, правда, словно взбесилась, если даже такую громадину, как авианосец, клало с борта на борт, а фрегаты буквально зарывались в облака пены. Только взлетали время от времени из-за волн верхушки их мачт да тугие сетки антенных устройств.

К вечеру слабо накрапывающий дождь перешел в ливень.

Впрочем, и такая погода была на руку. Шансы на то, что скрытность перехода будет обеспечена, росли.

Надо проверить, все ли в порядке.

Сэр Уильям пошел в сопровождении старшего офицера по длинным переходам корабля. Собственно, он мог этого и не делать: у него было достаточно помощников. Но в ответственных операциях он не доверял никому. Свой глаз вернее.

Палуба ходила под ногами, как живая. Придерживаясь за поручни трапа, они с трудом выбрались наверх. В лицо сразу ударил шквал воды, пены, потоки ледяного воздуха.

Обход был уже закончен и сэр Уильям готовился спуститься в кают-компанию для ужина, когда на пороге появился встревоженный флаг-офицер.

— Сэр! Акустики прослушивают шумы подводной лодки. И кажется, не одной. Трудно сказать наверняка, но, судя по всему, это не дизельные лодки.

— Что за чушь вы несете, Хьюстон! Вашим акустикам, если они не хватили чего-нибудь лишнего, померещилось. Откуда здесь взяться лодкам? Да турбинным? Еще скажете — атомные?..

— Я тоже удивлен, сэр. Может быть, это наши отрабатывают задачи?

— Исключено. Я бы об этом знал. Пойдемте проверим.

В гидроакустической рубке на лицах людей растерянность.

— Что слышно?

— Опять ничего, сэр.

— Вы уверены, что имели контакт с подводной лодкой?

— Уверен, сэр.

— Странно. Дайте мне!..— Он сам сел в кресло и натянул наушники.

Несколько минут он слышал только характерный, до мелочей знакомый ему шум винтов собственного корабля. Потом стал различать эскорт. И вдруг совершенно отчетливо в ушах стал нарастать шум турбины. Да, без сомнения, это была лодка. И не дизельная.

Это обстоятельство несколько успокоило сэра Уильяма. Насколько ему известно, у русских атомных лодок еще не было. Дай бог, годика через три-четыре с ними можно будет столкнуться. А пока...

В нем поднималось раздражение. Если 'это не русские, то какого черта его не предупредили? И что этой или этим лодкам понадобилось рядом с бортом его корабля?

Сорвав наушники, он, опережая отставшего флаг-офицера, прошел в шифровальную.

— Пишите: «Срочно. Ответ немедленно. Обнаружил подводную лодку. По всей вероятности — атомную. Прошу информировать, кто и зачем находится в нашем районе? 318-й». Передайте немедленно. А вы,— он круто повернулся к спутнику,— сейчас же запросите соседа. Слышали ли они что-нибудь? Не могло же нам все это померещиться.

— Будет исполнено, сэр.— Флаг-офицер исчез, а сэр Уильям, закурив трубку, устроился здесь же, рядом с креслом шифровальщика.

— Ответ будет не ранее чем через полчаса,—осторожно предостерег матрос.

— Знаю. Выполняйте свои обязанности. Я подожду здесь.

Снова появился офицер.

— Эскорт тоже входил в контакт с подводной лодкой.

— Значит, мы не ошиблись.

— Да, сэр.

— И кого это черт носит здесь!

— Скоро мы, видимо, узнаем...

— Отвечают, сэр! — Радист лихорадочно вытягивал перфоленту из радиотелеграфного аппарата.

— Есть! — Он протянул бумажку шифровальщику. «Проявив» текст, тот недоуменно пожал плечами и протянул бланк командиру.

«В вашем районе ни американских, ни союзных нам лодок нет. Соблюдайте осторожность. Ведите непрерывное наблюдение. Не исключена возможность появления лодок русских...»

— Этого еще не хватало! Вахтенный!

— Я, сэр.

— Усилить наблюдение. О каждом контакте с лодкой немедленно доносите...

В Форстере поднималось раздражение. Что-то явно дало трещину в стройном плане внезапного броска в Средиземное.

Когда авианосцы медленно прошли Гибралтар и по-

явились на меридиане Александрии, Форстер увидел русскую эскадру.

Морская вежливость есть морская вежливость. Обменялись приветствиями. Потом с русского крейсера получили семафор: «Сочувствуем жестокому шторму на широте...»

Авианосец не ответил. Над сэром Уильямом явно издевались. Это были как раз те широты, где осуществлялся «скрытый» — теперь уже неизвестно для кого — переход.

После доклада о семафоре русских в каюте стало тихо. Только шум волн, глухо ворочающихся за бортом авианосца, долетал через иллюминатор. Контр-адмирал Харди первым нарушил тягостное молчание:

— А что, если там, в Атлантике, все же были атомные лодки русских?

— Тогда,— Форстер щелкнул зажигалкой у трубки,— тогда слишком многое следует из этого печального факта, Харди. Тогда за нашу систему обнаружения лодок, стоившую нам, как ты знаешь, кругленькую сумму, исчисляемую миллиардами, я не дам и цента. Тогда,— Форстер подумал,— тогда наши авианосные соединения, чувствующие себя как дома и у берегов Штатов и в дальних морях, больше не в безопасности. Тогда все эти «секретнейшие» операции, которыми мы с тобой часто занимаемся, не более как секрет Полишинеля. Тогда деятелей нашей разведки, морочившей нам мозги и утверждавшей, что до тысяча девятьсот шестидесятого года у русских атомных лодок не появится, следует отправить подстригать газоны у Белого дома. Ибо грош им цена. Тогда...

— Пожалуй, и этого хватит, сэр.

— Сейчас, может быть, и хватит. Но мир так чертовски устроен, что все составные в его формуле взаимосвязаны. В том числе и в нашей морской стратегии. И кто знает, какая цепная реакция пойдет в будущем, если одно из этих составных изменилось не в нашу пользу. Вот в чем дело, Харди. И это, наверное, самое главное... Так что лучше сейчас давайте не думать об этом. Дай бог, чтобы акустикам все это померещилось...

Глава I

ПЕРВЕНЕЦ СХОДИТ СО СТАПЕЛЕЙ

1

Еще издали с высоты рубки Сорокин увидел на пирсе командира соединения, начальника штаба, Иванова, Лиходеева и Лазутина — хозяев трех новых недавно поступивших океанских субмарин.

Выход лодки не был бог весть каким событием в их жизни, и Анатолий Иванович с недоумением размышлял: с чего это понаехало вдруг начальство и по какому поводу устраивается ему сия непонятная встреча.

Отвлекшись, он чуть было не упустил мгновение, когда нужно было отдать команду, и мысленно выругал себя. Не хватало еще опозориться при элементарной швартовке. «Нечего сказать — опытный подводник. Шляпа!»

Резче, чем обычно, вырвалось у него:

— Левый — малый вперед. Правый — средний назад.

Нос лодки начал заваливаться, и, когда корпус ее лег почти параллельно пирсу, до которого оставались считанные метры, Сорокин облегченно выдохнул:

— Стоп моторы!

По инерции субмарина прошла оставшееся расстояние, и дерево причала глухо скрипнуло от мягко тронувшей его многотонной громады.

— Подать швартовы!

Команды сработали молниеносно, и Сорокин не без доли самодовольства подумал, что его ребята не лыком шиты и флотский шик, как к нему ни относись, вновь продемонстрирован подводниками изящно и убедительно.

Одернув синюю рабочую куртку и поправив пилотку, Сорокин шагнул навстречу и только тогда по нахмуренному лицу адмирала заметил, что тот не в духе.

— Докладываю...— Он перечислял квадраты и кораб-

ли, встреченные в море, а сам озабоченно думал, что, собственно, произошло и отчего командир соединения пребывает сегодня в столь сумрачном состоянии.

Когда была произнесена последняя положенная по уставу фраза — «Командир лодки капитан второго ранга Сорокин»,— адмирал обнял его. У них давно уже не было строго официальных отношений — пятнадцать лет совместной службы на разных флотах что-нибудь да значат!

Взяв Сорокина под руку, адмирал отвел его в сторону.

— Ты что-нибудь писал в Москву?

— Нет,— удивился Сорокин,— а что?

— Серьезно?

— Конечно. Разве в таких делах шутят.

— Тебе послезавтра нужно быть у главкома. Вызов срочный... Я пытался выяснить для чего. Не говорят. Спрашивал, какой материал подготовить для доклада. Отвечают: не надо ничего...

— Странный вызов.

— Вот и я думаю, что странный... Ломал-ломал голову, но ничего не придумал.

— Может быть, недовольны в Москве чем? — высказал предположение Сорокин.

— Но чем? Грехов за тобой особых вроде бы не числится... А у соединения?.. Тогда вызвали бы меня, а не тебя... Ладно, что мы тут гадаем — через день все узнаем.

— Когда вылетать?

— В шестнадцать ноль-ноль. Билет тебе уже взят. Возьмешь у моего адъютанта. Из Москвы позвони. А сейчас — действуй.

Они попрощались, и Сорокин направился было к трапу, чтобы отдать на лодке распоряжения старпому, когда адмирал окликнул его.

— Чуть было не забыл. Позвони обязательно Лене. Она тебя уже дважды вызывала... Ну, на всякий случай, ни пуха тебе, ни пера!

— К черту.

Они рассмеялись...

Сорокин шагнул на трап.

Межгород! 3168... Сорокину... Нет, повторите вызов... Обязательно кто-нибудь есть дома...

— Абонент ответил... Сорокина.

— Здесь... Включаю.

Вначале он услышал слабое потрескивание, потом до него долетел далекий голос Лены:

— Толя?.. Целую... Как здоровье?.. Когда будешь?.. Может быть, выехать мне?.. Я уже заказала мебель... Через четыре дня привезут...— Она частила. В потоке бесконечных вопросов где-то в конце шепотом были произнесены слова, ради которых, собственно, все это и говорилось: — Очень соскучилась... Люблю!.. Какой ты сейчас, интересно?..

Он рассмеялся:

— Такой же. Только устал немного. Потерпи еще дней пять... Я буду...

— Почему пять? — В голосе ее послышалась тревога.— Ты же завтра должен был выехать!..

— Срочно требуют в Москву. Вызов какой-то необычный...

— Может, на новое место?

— Все может быть.

— А как же мебель? — беспомощно донеслось издалека.

— Черт с ней, с мебелью!

— Я прилечу к тебе в Москву.

— А ребята?

— За ребятами Анна Ильинична посмотрит.

— Тогда бери билет. Встретимся в гостинице Дома Советской Армии. Мне там место забронировано.

— Хорошо. Только зачем тебя вызывают? Может быть, неприятности?

— Не знаю,— он тяжело вздохнул.— Вроде бы не должны быть... А впрочем, кто знает — начальству виднее... Не будем гадать, Ленок. В Москве все выяснится.

— Значит, до завтра.

— До завтра! Поцелуй ребят. Нежно тебя обнимаю.

— Я тоже...

— Граждане, ваше время истекло,— вмешалась телефонистка.— Заканчивайте!

— Мы уже кончили.

— Значит, жду!..— Ему уже никто не ответил. В трубке послышались частые гудки, и он нехотя медленно положил трубку на рычаг...

Жена моряка! Вечное ожидание, и вечно неустроен-

ная судьба. Три-четыре чемодана с самым необходимым — вот и все их «движимое и недвижимое имущество». Десятки раз им приходится начинать жизнь, что называется, с нуля — в наскоро срубленных избах, в почерневших бараках дальних гарнизонов. Потом будет все: каменные дома, удобства. Только многим ли из них удастся вкусить их блага? Уж очень переменчивы биографии военных, и каждый день может прийти приказ о новом назначении.

Их гонит по свету не «охота к перемене мест». Нет, они не хуже самых отменных московских и ленинградских собратий своих обставили бы квартиры и мебелью, и коврами, и милыми сердцу безделушками. И встали бы у стен стеллажи с книгами. И у мужа был бы уютный кабинет, где так легко и отреченно работается.

И желание все это сделать есть, и денег хватает.

Но желания так и остаются желаниями. Ибо не потащишь же за собой спальные гарнитуры из Мурманска во Владивосток или из Севастополя в Таллин. Тем более что через год-другой путешествие продолжится. И конца ему не будет. Пока не пролетят годы и моря для мужей останутся только воспоминанием.

Потому они, жены военных моряков, обречены на высшую меру женского самоотречения. И на не меньшую меру изобретательности и находчивости.

Для мужчин недосягаемо — из чего и как создают они то, что называется домом. В нем хорошо дышится. И огни его светят в дальних походах. И видится он людям шальными штормовыми ночами.

Но где-то втайне каждая мечтает, что наконец ей удастся осуществить свои маленькие желания. Женщина есть женщина, и по-человечески понятно, как трудно все представлять в неопределенно далеком будущем, не имея почти ничего сегодня.

Лена не была в этом смысле исключением...

На улице накрапывал дождь, и резкий ветер с моря сбивал на мокрый асфальт литые желтые листья.

Сорокин был взвинчен и пытался успокоить себя: «Что, собственно, случилось?.. Вызывают в Москву. И раньше вызывали... Да, но не к главкому. Как ни крути, но в иерархической лестнице флота он не был той

фигурой, с которой вот так, от нечего делать решил поболтать главком. Значит, дело серьезное».

Он чувствовал, что это не обычный вызов. Иначе, к чему вся эта таинственность? Когда вызывали для доклада, говорили, какие материалы подготовить. Здесь же сказали, что брать с собой ничего не нужно. Странный вызов... Впрочем, сколько ни ломай над этим голову, все равно до Москвы ничего не узнаешь...

Он не заметил, как дошел от штаба до своей каюты на берегу. Машинально достал ключ. Распахнул обитую коричневым дерматином дверь, раскрыл шкаф и вынул большой черный портфель.

Чемоданов он не любил, да и ни к чему сейчас был чемодан. Все нужное вполне уместится в портфеле.

Сорокин взглянул на часы: 14.30... Что же, можно отправляться и на аэродром...

2

Когда конструктор выходил из кабинета, Министр Морского Флота СССР Бакаев с помощником появился в приемной.

— Здравствуй, Виктор Георгиевич!

— Приветствуем коллег!

— Кажется, сегодня в ЦК «морской день». «Все флаги...»

— Судя по всему,— пошутил Бакаев,— нам уже здесь делать нечего. Вы выпросили все, что можно, и еще сверх того...

— Несчастные сироты,— иронически парировал конструктор.— Захватили все моря и океаны и еще жалуются. Нашим кораблям среди ваших танкеров и сухогрузов скоро негде будет повернуться...

— Растем помаленьку. Да и вы вроде бы не отстаете.

— Стараемся. Слушай, Виктор Георгиевич, сейчас товарищи вспоминали твой разговор с Черчиллем.

— В связи с чем?

— К слову. Когда говорили, как вырос флот, как окреп на морях.

— Был такой разговор.

— Расскажи.

— У меня до приема еще минут двадцать. Пойдем...

Они вышли в коридор, устланный мягкой ковровой дорожкой...

— Который из них Бакаев? — Черчилль повернул голову в сторону помощника, двигавшего его кресло-каталку.

— Вот этот, сэр. Среднего роста. У колонны.

— Кажется, из крепких... Что ж, попробуем.

Увидев приближающегося к нему Черчилля, Бакаев извинился перед собеседниками и пошел ему навстречу.

— Извините, что в таком виде.— Черчилль развел руками.— Болезни безжалостны... Но это не тема для разговора. Рад приветствовать коллегу. Да, да, коллегу. Право же, я тоже кое-что сделал для флота Его Величества.

Премьер явно искал интимно-профессиональных точек соприкосновения.

— Мы знаем об этом и ценим ваши усилия.— Бакаев пожал протянутую руку собеседника и совсем не ощутил в ней старческой дряблости. Рукопожатие Черчилля было крепким, энергичным, живым.— Мы знаем вас как человека, немало сил отдавшего флоту. Так что ваша самокритика только делает честь вашей скромности.

Черчилль глухо засмеялся:

— О! Это типично русское слово — «самокритика». Как это у вас: «развивать критику и самокритику...» Так, кажется. К этому вас призывал премьер Сталин.

— Почему Сталин? Это закон нашей жизни. С ним легче идти вперед.

— Я не хотел обидеть Сталина. Мне приходилось с ним встречаться. Это человек необыкновенной воли, выдержки, государственного таланта. Я пишу об этом в своих записках.

— Рад слышать от вас это.

— Ладно... Так нам недолго начать и политическую дискуссию. Но мы встретились не ради нее. Я действительно рад вас видеть. Так вы тот самый министр, который хочет сделать Россию морской державой?

— Разве Россия недостойна этого?

Черчилль улыбнулся. Он не был наивным человеком и предполагал, что его акция вряд ли завершится успехом. Но он, проживший жизнь в сложнейшей политической игре, где ставками были смерть и война, предательство и кровь, он не был бы Черчиллем, если бы по крайней мере, прежде чем уступить ход, не попытался сбить противника и спутать игру. Люди — разные, и, кто знает,

что может дать, казалось бы, самая что ни на есть авантюристическая партия.

— Кто вы по профессии?

— Можете считать меня, как и себя, морским волком. Моя жизнь с одиннадцати лет связана с морем.

— Это прекрасно. Мы, англичане, морская нация. И ценим племя моряков... Хотя,— Черчилль раскурил сигару,— и в России нет смысла создавать флот. Она — сухопутная страна...

— Это, видимо, точка зрения господина Черчилля? Насколько я помню, он ее уже не раз высказывал. Правда, в более резкой форме: «Россия — континентальная страна, ей нечего лезть в морские державы...» Кажется, так?

— А вы, русские, злопамятны. Я это действительно сказал в парламенте в сорок шестом году. И я продолжаю так думать сейчас. Тогда, в сорок шестом, когда вы приехали в Лондон, чтобы принять участие в разделе трофейного флота, наша позиция и определилась такой точкой зрения.

— Точка зрения, выгодная для Англии и неприемлемая для Советского Союза. Я хорошо помню те события. Тогда понадобилось личное вмешательство Сталина, чтобы наше государство получило справедливую компенсацию за потери своего флота в годы второй мировой войны.

— Все это так, но суть дела не меняется. Интересы России не на океанских дорогах. Они на бескрайних азиатских просторах. Так сложилось исторически.

— Такая точка зрения — не ваше изобретение, господин Черчилль. Был в России даже морской министр, который полагал, что Россия — держава сухопутная и флот ей ни к чему.

— Странно, что же такой человек мог делать в кресле морского министра? Кто он?

— Тоже иностранец. Француз на русской службе: маркиз де Траверсе. Впрочем, это давно было — в начале XIX века. Как видите, есть мнения, которые не стареют. Наш разговор — тому доказательство...— Бакаев помедлил.—И не все англичане так думают, господин Черчилль.

— Что вы имеете в виду?

— За последнее время мне часто приходилось вести в вашей стране подобные споры. Потому я и вооружился авторитетным мнением вашего известного историка

XIX века Джена. А он, кстати, придерживался совершенно иной точки зрения. Я даже выписал его слова.

Бакаев вынул записную книжку:

— «Существует распространенное мнение,— говорил Джен,— что русский флот создан сравнительно недавно Петром Великим, однако в действительности он по праву может считаться более древним, чем британский флот. За сто лет до того, как Альфред построил первые английские корабли, русские участвовали в ожесточенных морских сражениях, и тысячу лет тому назад именно русские были наиболее передовыми моряками своего времени».

— Вы предполагаете, что я не знаю истории?

— Что вы! Просто я хотел сказать, что не все англичане думают, как вы.

— Но вероятно, и не все русские думают одинаково.

— В чем-то — да. А относительно места России на морях у нас в стране нет двух точек зрения. И это закономерно. Советский Союз имеет огромное морское побережье, теснейшие экономические связи почти со всеми странами мира. А потому он не может развиваться без мощного океанского флота. Потому мы во что бы то ни стало осуществим нашу широкую кораблестроительную программу.

— Для этого можно брать в аренду корабли союзных держав.

— Знаете,— Бакаев рассмеялся,— со своими оно как-то спокойнее.

— Ну что же,— буркнул Черчилль,— вас, видимо, не переубедишь. Посмотрим, что выйдет из вашего «Большого» флота. Ведь только поначалу кажется, что это легкое дело...

— Мы не думаем, что это легко. Но знаем — без Большого флота наша страна не останется...

Расстались они внешне тепло. Но неприятный осадок в душе, напряженность еще долго не проходили и у того, и у другого.

— Интересно, что сказал бы сейчас Черчилль? — Конструктор задумался.— Как ты думаешь, Виктор Георгиевич?

— А знаешь, у меня была еще одна встреча с Черчиллем. В шестьдесят восьмом году.

— Как так? Его ведь уже не было!..

— Символическая встреча. По приглашению премьер-министра Вильсона я был гостем английского правительства. И попросил в одно из воскресений организовать поездку в Страдфорд, на родину Шекспира.

По дороге остановились у сельского кладбища в Бладоне, где по завещанию Черчилля он похоронен. Подошел к его могиле. Окружили меня английские журналисты. Спрашивают: «Что привело вас, господин Бакаев, к могиле Черчилля?» «При жизни,— ответил я,— он был убежденным противником морского развития СССР. И я очень жалею, что покойный премьер не увидел наглядных свидетельств своих ошибок». Спрашивают: «А намного он ошибся?» Отвечаю: «Судите сами — Советский Союз стал великой морской державой. Только в заграничных водах ежедневно находится сорок пять тысяч советских торговых моряков. Что же вы не записываете?» — «Это у нас не пройдет».

— Да, крепко просчитался господин Черчилль!

— Разве один он просчитался!.. Многие просчитались. Все, кто не умел или не хотел заглянуть в завтрашний день...

— Товарищ Бакаев! — помощник секретаря ЦК выглянул в коридор.— Вас ждут...

— Вот такая история была. Любопытная и поучительная история... Ну, извините, я пойду. Вопросов накопилось,— он похлопал по папке,— масса... Боюсь, за один прием не решу. Так что опаздывать не стоит.

— Ну, ни пуха тебе, ни пера!..

3

В переулке, казалось, веяло морем. Посредине глубоко «штатской» Москвы, среди сохранившихся еще здесь маленьких поленовских двориков с липами и лопухами, старинных особняков, домиков, где когда-то рождалась и теперь жила старинная васнецовская Русь, как неожиданное окно в море — люди во флотских кителях, тужурках, форменках, входящие, выходящие, выбегающие из огромного здания с часовым-матросом у проходной.

Главный штаб Военно-Морского Флота.

Сорокин несколько раз предъявлял пропуск, прежде чем оказаться в длинном тихом коридоре, на стенах ко-

торого тускло мерцали старинные полотна. Чесма. Наварин. Мыс Калиакрия... Бронзовые Ушаков, Нахимов, Сенявин, Макаров, Бутаков строго смотрели с высоких красного дерева постаментов.

Едва Анатолий Иванович доложил о прибытии, адъютант главкома исчез за дверью. Появившись через минуту, он сказал:

— Вас просят.

У Сорокина теплилась слабая надежда узнать что-либо о причинах вызова у порученца главкома и как-то, хотя бы внутренне, подготовиться к разговору. Теперь и это отпадало.

Он шагнул в кабинет. Здесь уже находились два адмирала — начальник Главного штаба и начальник политического управления.

После доклада и взаимных приветствий ему предложили сесть.

Главком прошелся по мягкому ковру, тронул пальцами большой старинный глобус, стоящий в углу кабинета, и, неожиданно резко повернувшись, помедлив, словно раздумывая — говорить ему или нет,— сказал:

— Вот что, Анатолий Иванович. Расспрашивать вас о службе не буду. Все знаю. Наши товарищи,— он кивнул в сторону адмиралов,— тоже с этим знакомились. Рекомендуют вас. Назад в соединение вы уже не вернетесь. Лодку пока примет старпом. Ему, видимо, и быть командиром. Что вы скажете, если мы вам предложим пойти на атомные лодки?

— Атомные? — От неожиданности Сорокин приподнялся в кресле.— Но их же еще нет! — И тут же смущенно поправился: — Во всяком случае, я о них ничего не слышал.

— Есть, Анатолий Иванович, есть... Вернее, как говорят, со дня на день будут... Первая атомная скоро сойдет со стапелей. Вы примете участие в доводке корабля, его испытаниях... А потом... Потом вам придется ими командовать...

У Сорокина голова пошла кругом. Атомный флот! О нем мечтал втайне каждый подводник. Но все понимали, насколько это сложное, казалось, нескорое дело. И вот, из неосязаемого завтра они стали вдруг сегодняшним днем флота. Настолько сегодняшним, что встал вопрос о командирах этих новых подводных кораблей.

Сорокин напрягся, весь превратился в слух.

— Не буду вам говорить, насколько это секретное дело. Лодки будут неплохим сюрпризом кое для кого... Там... Но это уже другой разговор.

Главком помолчал, нахмурился.

— Все это совсем нелегко, Анатолий Иванович. Не все, к сожалению, на флоте еще понимают, что за атомным и ракетным флотом будущее. Конечно, открытых, плакатных ретроградов вы сегодня не встретите. Времена не те. Кличка «консерватор» — есть ли сейчас что-либо более убийственное для характеристики человека? Потому даже такие люди рядятся в тогу «новаторов». На словах они «за». А в действительности?.. Мы тут недавно серьезно говорили с одним товарищем во время поездки на флот. Внешне вроде бы с новой техникой у него все благополучно — «осваивается». А как «осваивается»? Ей ровно столько же внимания, что и уходящей во вчерашний день. То одно забыли сделать, то другое. То материалы вовремя не подвезли, то документацию не обеспечили вовремя. Одним словом, все рассматривается как равнозначное в ряду других будничных флотских дел. Так сказать, «холодный нравственный саботаж».

А мы с таким мириться не можем! Ни дня. Ни часа. Основные силы, время, внимание, средства — на главное направление. Новую технику и оружие не оставлять вниманием ни на минуту, внедрять веру в них и не допускать промедления с их освоением. Конечно, не в ущерб качеству. Но никакой раскачки, безответственности, даже просто равнодушия здесь терпеть нельзя. Только так, и никак иначе. Наша страна должна иметь мощный ракетно-ядерный флот, и она будет его иметь. Не когда-нибудь — через десять — двадцать лет. Завтра. Для этого есть все возможности, и не использовать их преступно. Вот так!

Главком прошелся по кабинету.

— Если кто-то или что-то будет мешать вам, разрешаю обращаться непосредственно ко мне и моим заместителям. Поддержим. Главное — поймите государственную, я подчеркиваю, государственную важность задачи. Это не мода. Не ввод в строй двух — пяти кораблей. Это строительство нового флота. Военно-техническая революция на море.

Сейчас перед Сорокиным стоял человек невысокого

роста. Седые волосы. Голос негромкий, но твердый. Очки, которые он время от времени надевал, делали его похожим скорее на ученого, чем на опытного адмирала.

Почему выбор пал на меня? — размышлял Сорокин.— Я же ни черта в атомном флоте не смыслю. Какой из меня физик?»

Наверное, последнюю фразу он произнес вслух, потому что до него донесся смех главкома:

— А вы полагаете, мы все здесь сразу физиками и атомниками стали? Мы для Курчатова самыми что ни на есть школярами были. Правда, и мы ему фору давали. Когда о морских делах речь шла. Так что, выходит, ни мы без них никуда, ни они без нас..— Он помолчал.— А переучиваться, конечно, придется. И работать много придется. Это я вам обещаю твердо.

Сорокин подумал, что к этой реплике как-то нужно выразить свое отношение.

— Работы я не боюсь, товарищ главком!

— Знаю. Потому и поручаю именно вам такое дело. Для начала советую съездить в Приморск и в Атомный центр. С учеными потолковать, хозяйство их в подробностях посмотреть. А потом на завод. Кстати, половину наших академиков в центре вы не застанете. Они в Приморске. На заводе. Детище свое холят и лелеют. А сейчас как раз тот момент, когда нужно подключаться морякам. Любой корабль, тем более атомную лодку — дело совершенно новое,— команде нужно изучать на стапеле. Промышленность лодку нам передаст. А осваивать и водить корабли — наша забота. Конечно, ученые и судостроители вас не покинут, им многое самим придется выяснять в процессе постройки и испытания. Но основная забота и ответственность тогда лягут именно на нас...

Сорокин слушал, разглядывая исподтишка кабинет: огромную картину Боголюбова в золотой раме на стене, модель странной, еще не виданной им лодки с зализанной рубкой и стремительными обводами корпуса, большой глобус в углу, лоции на низеньких столиках, транспортир и циркуль, брошенные на карту Северной Атлантики...

На какие-то секунды он потерял нить разговора и тут же мысленно выругал себя. Сейчас не до эмоций. Сейчас нужно не забыть ни слова из сказанного здесь.

— Дело это многотрудное,— продолжал главком,— я не побоюсь столь выспренного слова, если хотите — историческое.— Главком словно размышлял вслух, как будто убеждая в чем-то не только его, Сорокина, но и еще кого-то, кто находится далеко за стенами этого кабинета.— Да, да, историческое!

Нам посчастливилось жить во время небывалой революции в военно-морском деле. Я не хочу умалить подвига флота в Отечественную войну. Но как далеко ходили тогда корабли? Где воевали? Черноморцы — у Констанцы. Балтийцы — у берегов Германии. Северный флот — у Исландии и Лофотенских островов. Правда, были у нас и плавания, когда лодки перебрасывались с Тихого океана на Север. Но это было исключением.

Сейчас создается новый флот. Океанский, ракетный, атомный. Крейсер или подводная лодка, вооруженные ракетами с ядерными боеголовками, способны решать не только тактические, но и стратегические задачи.

— Даже политические,— добавил начальник политуправления.

— Да, и политические тоже. Шестой и седьмой американские флоты не зря находятся в Средиземном и Тихом. Там, где они появляются, либо зреет черный заговор, либо готовится война, либо уничтожается демократический режим. Плавающие жандармы... Их словами не уговоришь.

Главком подошел к Сорокину:

— Учтите, Анатолий Иванович, это новый флот с новыми задачами. Нашим атомным лодкам придется освоить все моря и океаны. Везде, где необходимо защищать государственные интересы Советского Союза, будут и наши корабли.

— И придется работать на принципиально новой технике!

— Абсолютно новой, и вам в этом очень скоро придется самому убедиться. Раньше ведь подводные лодки были, по существу, лодками ныряющими. Находиться долго под водой они не могли, нужно было всплывать, хотя бы для перезарядки аккумуляторов. Атомные лодки будут иметь возможность находиться под водой практически неограниченный срок. Пресную воду и воздух будет вырабатывать сама лодка.

Помедлив, главком продолжал:

— А вообще-то начинаем мы это дело не на голом месте. Я вот иногда думаю: слишком многие джентльмены десятилетиями рассуждали о том, что ежели мы и не абсолютно сухопутная нация, то, во всяком случае, особенно заноситься нам нечего. Болтайтесь, мол, в своих территориальных водах. В лучшем случае, иногда ходите в Англию. На коронацию.

Неплохо вся эта диверсия задумывалась. Только ничего не вышло. Ведь в России профессия моряка столь же древна, как и профессия хлебопашца. И здесь мы не уступаем никаким, самым «наиморским» нациям. А посмотрим на карту мира.— Главком подошел к огромной, висящей на стене карте.— Острова. Бухты. Заливы. И все — с русскими названиями. Кто все это открыл? Кто опоясал земной шар курсами кругосветок? Кто шел к полюсам? Головнин, Беллинсгаузен, Лазарев, Литке, Седов. Кстати, все они — моряки военного флота российского.

Скромничаем мы порой. Традиции свои забываем. А потому многое наверстывать придется. Всем — и морякам, и картографам, и штурманам. Нужно добиться такого положения, чтобы плавание в любых широтах мирового океана, при любых условиях стало для наших матросов и командиров нормальным повседневным состоянием. Справитесь? — главком неожиданно повернулся к Сорокину.

— Нужно справиться,— ответил тот не очень-то уверенно.

— Не боги горшки обжигают, Анатолий Иванович. Помогать будем. Опыта у вас предостаточно. Характера, думаю, хватит.

— Должно хватить.

— Ну что же, тогда, как говорится, в добрый час!..

— Слушаюсь, товарищ главнокомандующий.

— В детали вас посвятит начальник штаба.— Главком кивнул в его сторону.—Желаю вам успехов. Не средненьких, не успехов вообще — а настоящих, больших!

— Ну как? — улыбаясь, спросил начальник штаба, когда они вошли в его кабинет.

— Голова идет кругом,— признался Сорокин.— Неожиданно все.

— Дело срочное, особенное, подготовить вас к этому разговору не было возможности.

— Я понимаю.

— Ну и отлично. Теперь так. Вначале выедете в Приморск. Лодка сейчас на стапелях. Экипах уже подобран. Познакомитесь с людьми, с конструкторами. Посмотрите обстановку на месте. А потом на Север. Там ознакомитесь с ходом строительства базы. Сейчас уже работает специальная комиссия и имеет несколько предложений на этот счет. Вам надо активно включиться в эту работу. К тому же, когда посмотрите лодку, познакомитесь с ней, вам яснее станет, что нужно для базирования таких единиц. Ваше мнение для нас имеет большое значение.

Только сейчас Сорокин почувствовал, какая огромная ответственность легла с этих минут на его плечи. Он даже вздрогнул, представив себе невиданно огромные масштабы строительства атомного подводного флота. От глаз адмирала не укрылось его замешательство.

— Нервничаете?

— Есть немножко, товарищ адмирал.

— Что же — это неплохо. С холодной душой такую махину, как атомный флот, не поднимешь. Не скисайте. В одиночестве не будете. Будет трудно — приезжайте, звоните...

Из штаба Сорокин вышел только через четыре часа.

На улицах было еще светло, и он медленно побрел в направлении к центру.

Над Москвой смеркалось. Огни желтой рябью разбегались по асфальту. Ни на минуту не прерывающийся шумный поток машин летел по улице.

Люди спешили с работы. Ехали в театры. Торопились на свидания. Ссорились и объяснялись в любви.

В номере гостиницы навстречу ему поднялась Лена:

— Может быть, в театр сходим? Или устал?

— Посидим сегодня дома. Кстати, Ленок,— он грустно улыбнулся,— с мебелью все придется отставить...— И, посмотрев на ее недоуменное лицо, добавил: — Пока. Купим в другом месте...

— С тобой купишь.— Она еще не знала, радоваться ей или огорчаться.— Как бы не так. На том свете в выходной день купим. Назначили на новое место?

— Да.

— Куда?

— На Север.

— Там хоть город какой-нибудь есть?

— Конечно, Леночка. Огромный город.— Он улыбался.

— Придумываешь ведь, наверное.

— Почему придумываю? Если нет — построим...

Впрочем, она уже и так поняла, что никакого города не будет, и что Анатолий пытается шуткой смягчить новость, и короткая ее жизнь в шумном и прекрасном городе подошла к концу. Это случалось уже не раз и не два и, видимо, многократно повторится в будущем. Лена была женой офицера и по опыту знала, что всякое новое дело на флоте начинается не в городах. Города появляются потом. Как раз в тот самый момент, когда их мужья оказываются позарез нужны там, где все нужно начинать от нуля, с самого начала — с первой сваи пирса и первых приземистых палаток на берегу.

Она была бы ханжой, если бы сказала, что подобная перспектива приводит ее в восторг.

Сорокин понял, о чем она думает.

— Не грусти, мать. У нас еще сто лет впереди. Успеем пожить и в городах, и в столицах. Дело мне доверили. Огромное дело... А в столицах таких дел не бывает... Понимаешь?..

4

Только выйдя из здания ЦК и очутившись у площади Дзержинского, Васильев заметил, что уже наступил вечер. Темным силуэтом высился памятник великому чекисту. В ярко освещенных огромных окнах «Детского мира» отчетливо просматривался толкущийся муравейник людей. Свет реклам дрожал на мокром асфальте, и воздух был густо настоен теплотой, мягким дыханием липы, влагой только что отшумевшего дождя.

Он взглянул на часы. Восемнадцать-двадцать. Ничего себе позаседали. Пять часом напряженной работы и споров до хрипоты. Идти в гостиницу сразу не хотелось. Он спустился к памятнику Ивану Федорову, купил сигарет у старика киоскера и, с удовольствием затянувшись, медленно пошел к улице Горького.

Слишком многое было решено сейчас. Всего каких-нибудь полчаса назад. Черта, к которой он шел долгие годы. Больше не нужно убеждать скептиков, нервничать, сомневаться. Для него, конструктора, рубикон перейден: проект утвержден окончательно.

Ему поверили. А все ли продумано до конца? Может быть, истинное решение совсем не то, к которому пришел он? Теперь его начали одолевать сомнения, и даже, кажется, стало знобко. Конструктор поднял воротник плаща, глубже надвинул на глаза шляпу. Вспомнились слова секретаря ЦК: «То, что сейчас решено,— не на один день. На смену вашему проекту придут, вероятно, другие. Более совершенные. Может быть, вы сами от чего-то откажетесь, предложите более рациональное решение. Но запомните: атомный подводный флот — это генеральная линия нашего военного морского строительства. Она не исключает корабли других классов. Но атомные подводные лодки и дальняя ракетоносная авиация должны стать решающим фактором мощи флота. Этого требует время. И отстать здесь мы не можем...»

Присутствовавшие на совещании моряки, кажется, были довольны. Главком что-то возбужденно говорил заместителю. До конструктора долетела фраза: «Вот теперь можно уверенно шагнуть в океан...»

Что же — их можно понять. Баз у нас за рубежом нет. И на старых кораблях в морях не очень-то разгуляешься. Как веревочкой привязаны они к базам снабжения, громоздким танкерам, плавбазам, мастерским. Его атомная разорвет эту сдерживающую сеть. Ей не нужно будет ни заправляться горючим, ни спешить на поверхность в опасении, что не хватит воздуха и пресной воды. Сама субмарина будет воспроизводить эти самые дорогие для подводника субстанции жизни. В любую минуту и в любых нужных объемах.

Интересно, что думал Фултон, ставя первый паровой котел на парусник? А то, на что дерзнули они, почище и повесомей парового котла. Конструкторы, пожалуй, занизили сроки поставки реакторов. А впрочем, черт их знает! Атомную бомбу они тоже изготовили в считанные годы.

Он не заметил, как дошел до улицы Горького. Постоял. Побрел к телеграфу.

Мысль вновь и вновь возвращалась к заседанию в ЦК. Что же, в конце концов, это было главным.

«...Не усовершенствовать существующие проекты. Создавать принципиально новые. На допотопный самолет Уточкина реактивный двигатель не поставишь. На таком гибриде далеко не улетишь. Кое-кто из товарищей

ходил вокруг да около старых проектов. Мы отвергли этот путь...»

Кто это сказал? Да, не секретарь, а завотделом ЦК. А уже секретарь добавил: «Нам нужны огромные скорости и глубины...»

«Нам». Значит, не одним им, морякам и конструкторам, «технарям», как говорит его помощник, не успевающим иногда в погоне за техническим прогрессом рассмотреть внимательно и кое-что более существенное и важное.

Хорошо, что он был на этом совещании в ЦК. В ведомственных заботах иногда захлебываешься и горизонт ускользает. А иногда нужно, обязательно нужно взглянуть на свою работу со стороны, увидеть ее во всех взаимосвязях с большим, великим целым — политикой партии и государства. Ощутить то, что делаешь, не формулами и чертежами, а иными измерениями.

«...Политика наша остается неизменной.— Это уже говорил секретарь.— Но народ должен иметь возможность работать спокойно. Не нервничая. Зная, что у него есть надежные и щит и меч...»

А он, чудак, собирался наконец спокойно отдохнуть. Махнуть с Валей куда-нибудь в Сочи или Гагры. Черта с два! Разве там он сможет не думать о своей «малютке». Особенно после сегодняшнего совещания...

«Делягой делаешься, Василий Петрович,— поймал он себя на этой мысли.— Делягой». Как это сказал ему однажды Курчатов: «Нечего изображать из себя великомученика науки ради. Кому это нужно? Просто мы не умеем грамотно работать. Десять минут отдохнувшей и свежей головы стоят часов раздумий какого-нибудь ошалевшего от бессонницы ученого мужа...»

«Хотя,— конструктор улыбнулся,— другим он это советовал. А сам!.. Наверное, действительно легче давать советы другим, чем самому следовать им».

Интересно, кто будет командовать новыми лодками? Старые, опытные подводники или молодежь? Но где моряки возьмут эти кадры? Ведь атомных кораблей еще не было, и опыта здесь — нуль. Значит, и здесь — адова работа. Вместе с моряками, конечно... И опять — споры...

Впрочем, для него период споров кончился. Он должен был действовать. Не когда-нибудь в отдаленной не-

известности, как было раньше, пока проект прорезался, словно молодой зуб, через ворохи чертежей, сомнений и раздумий.

Действовать сейчас. Завтра и послезавтра.

«Пожалуй, надо дать телеграмму в Приморск... Акулова вызвать из отпуска. Веренчука послать в Ленинград. Пусть поторопит институт. Петрова...» — Он сам не заметил, как мозг его почти автоматически начал мыслить теми ходами, комбинациями и решениями, поток которых неизбежен в голове полководца, склонившегося над картой близкого сражения.

В таких случаях вокруг может происходить великое множество больших и малых событий, но можно ли думать о чем-то еще, когда нужно подтянуть фланги, укрепить тылы и создать мощные резервы, без которых бой можно и проиграть.

Такова натура человека, если только он не безнадежно равнодушен к своему делу. И с ней, этой натурой, ничего не поделаешь, в какие бы сверхразумные графики и расписания ты ни пытался втиснуть и свой день, и свой отдых, и свои рабочие часы.

Творчество — как цепная реакция. И никто не знает, где и когда выбьют невидимые нейтроны раздумий искру новой неожиданной мысли, которая в свою очередь потянет цепочку ассоциаций, требующих и проверки и обдумывания.

Световые часы высветили тусклыми лампочками цифры. Двадцать часов пять минут. Большой освещенный изнутри стеклянный глобус над входом в Центральный телеграф медленно вращался, перемещая океаны и материки, схваченные меридианами тусклой позеленевшей бронзы.

Светящийся шар плыл над головами прохожих, над потоком машин, над суетой огромного города. Как маленькая теплая планета, неожиданно спустившаяся с холодного черного неба.

Конструктор, возвращаясь в штаб, обдумывал, как покороче изложить на телеграфном бланке сумбурную путаницу тревожащих его чувств и мыслей. Потом решительно толкнул массивную дверь.

Если бы только могла знать девчушка, принявшая бланк, что стояло за сухими словами:

«Срочная.

Приморск. Киселеву.

Предложения одобрены. Вызвать Акулова и Петрова. Буду завтра десять часов.

Васильев».

Корабли и моря рождали вдохновение и сами были осенены им. Может быть, вечно меняющаяся даль океана отблеском своим озарила человеческую мечту о крыльях-парусах, наполненных ветром, о том совершенстве, которое материализовалось в мощные шпангоуты, облицованные дубом и названные людьми кораблем.

Оно не могло не быть прекрасным — это создание столь же вдохновенно-научной, сколько и поэтической мысли — корабль. Слишком многое вместил он: и надежду, и поиски, и мечту, и вдохновение, и смелость. Корабел, увидевший в мгновенной вспышке озарения стремительные линии и «Санта-Марии», и «Катти Сарк», и «Варяга», и атомной, был не только ученым и воином. Он был еще поэтом. Ибо сухой рационализм никогда бы не возвысился до легенды, названной этими именами.

Корабль не мог родиться без мужества. Разве трусы могли бы мечтать о далях, где, кроме «геенны огненной», конца света и гибели, им ничего не могли обещать святые отцы?

Корабль не мог родиться без вдохновенной мечты, как без Икара не было бы самолета, а без Прометея — огня у людей. Когда появляется мечта, упорные находят пути, чтобы ее осуществить.

Корабль не мог родиться без вдохновения. Оцепеневший и закованный в привычном, примелькавшемся, ум не способен додуматься до мысли — шагнуть за океан. Скучные технократы возразят: корень здесь — в экономике. Колонии, богатства Нового Света, войны — учебники истории пухнут от дат, следствий и причин. Все это так, но, значит, что-то было в кораблях еще иное, ежели людям сегодня позарез нужно увидеть ушедшую в века и легенды «Санта-Марию». Если ничем не прославившую имя свое «Вазу», затонувшую в первом походе, шведы помещают в специальный музей, а на бессмертную «Катти Сарк» со всего света едут смотреть как на произведение высочайшего искусства. Если моряки грустят, отлично понимая, между прочим, историческую неотврати-

мость происходящего, грустят, что уходят с морей стремительные крейсеры, уже устаревшие, но тревожащие душу людей прекрасным совершенством своим. Если в каютах атомоходов вдруг обнаруживаешь изображения крылатых бригов из давно отшумевших столетий.

Они — как вдохновение, как песня, как стихи. Будоражащие душу, поющие в крови, бередящие самое затаенное. Талисман неуспокоенности. Символ ожидания перемен, полета, тревожно-радостного ожидания счастья.

Лучшие мастера мира вырезали летящих над волнами богинь, несущих над собой стремительные бушприты. Торгашество, корысть, если бы лишь они одни двигали кораблестроение, не могли бы вдохновить ни Клодта, ни Пименова, чьи резцы дарили кораблям очи богинь и героев, разглядывающие даль и видевшие за горизонтом не только коралловые острова, но и лучшее будущее человека. Бессмертную Ненси, укрепленную под бушпритом «Катти Сарк», родила тоска об ушедшей любви, прекрасной, как затаенная мелодия, пронесенная человеком через всю жизнь. «Катти Сарк» нужна была для целей коммерческих. Но владелец ее, думая, как назвать судно, вдруг вспомнил далекую юность, влажные глаза той, с которой его разлучили, кажущиеся теперь, на склоне лет, такими чудовищно-нелепыми представления его, владельца «Катти», среды на невозможность счастья, если оно не подкреплено у невесты солидным счетом в банке.

Что толку в этом счете, когда за кормой все — и молодость, и летящие брови той, с которой он — хоть это счастье подарила ему судьба — чувствовал себя окрыленным. Летящая над волнами, кто ты — явь или прочитанное в старинной книге, приснившийся мираж или живые, сводящие с ума губы? Впрочем, что это изменит сейчас? Чему поможет? Говорят, что, когда он провожал «Катти» в последний раз, он стоял с непокрытой головой, не обращая внимания на холодный лондонский дождь.

Люди сохранили «Катти Сарк». И кто помнит сейчас о знаменитых в свое время гонках «чайных» клиперов, где она всегда оказывалась первой? Кто знает, что «Катти» гнали по океанам не только ветры, но и конкуренция? Непревзойденный шедевр парусного кораблестроения и таинственная неумирающая легенда — это осталось. Навсегда. И кто знает, что в этой формуле

оставшегося — главное. Не будь любви, не родись в стране вересковых холмов прекрасная женщина, возможно, и не было бы доведено мастерство до такого совершенства. Ведь можно было бы удовлетвориться и меньшим — кто бы осудил за это?..

Некоторые до сих пор удивляются — какой смысл было украшать корабли бесчисленными статуями, резьбой, обходившимися подчас владельцу до двух третей общей стоимости судна? Какая необходимость заставляла людей превращать корабли в произведение искусства? Тем более что при первых орудийных залпах, которыми обменивались корабли, первыми превращались в щепу тончайшие резные поручни, переходы, портики.

Только ли желание внушить уважение к флагу показным богатством? Нет, тысячу раз нет. Ведь свобода и море издревле нерасторжимые понятия, и не о богатстве крепостника думал лодейно-польский или воронежский крестьянин, возводя на кормах кораблей Петра замысловатую вязь искусства. Тогда поднимали паруса не только эти корабли. Поднимала паруса Россия, и кто из корабелов-патриотов мог не сочувствовать этой великой идее обновления!..

Летели над землей годы, полыхали войны, мятежи и революции. Менялось само понятие корабельной красоты, и рядом с каким-нибудь «Варягом» «Санта-Мария» виделась уже чуть ли не старомодным сундуком. Понятие целесообразности все более и более смыкалось с понятиями эстетическими.

Ракетные формы вначале непривычно коробили глаз старых моряков. Но было же время, когда труба казалась на паруснике кощунством.

Время требовало скорости. Она решала почти все. Скорость — это неуязвимость. Скорость — это победа. И конструкторы, присматриваясь к окружающему, отбирали для новых кораблей лучшее.

Конструктор атомных подводных лодок для себя и друзей называл их не номером проекта, а «дельфинами».

Они были действительно прекрасны, эти громадины, видя которые человек прежде всего думает о стремительности, а не о величине. Формы скрыли объемы. Казалось, что эти корабли — дело рук авиаконструкторов.

На одном из обсуждений проекта конструктор пояс-

нил: «Здесь возможно и несколько иное решение. Но оно, не дав ничего по существу, сделает корабль безобразным. Я на это не пойду...»

Никто не решился с ним спорить.

О чем думали моряки-заказчики в эту минуту, так и осталось тайной. Только уж, во всяком случае, не о рациональной пользе. Возможно, многим из них увиделась тогда «Катти Сарк», «Мирный», «Двенадцать апостолов» — паруса, летящие над волнами. Над временем. Над пеплом человеческой памяти. Над доверчивостью скептиков и безрадостным холодом рациональных душ. Над забвением и тленом.

5

Хмурым было наше утро после победы.

Трудно восстанавливать дом, зная, что его завтра кто-то мечтает разрушить. А нам угрожали каждый день и час. По радио и с трибун конгрессов. Потрясая атомной бомбой и сверхмощными ракетами. Разбойников с большой дороги не остановить евангельскими проповедями, и рабочие снова не выходили из цехов, а ученые — из лабораторий. Срочно ковался щит, способный выдержать удар любого меча. Но, имея только щит, не выиграешь сражение, и флот получил оружие, с которым не страшно принять любой вызов.

Чего это стоило народу, по-настоящему поймут только жившие в начале сороковых. Полстраны лежало в развалинах. Горький дым пеплом осел на остывшие развалины, и с самолета страшно было посмотреть вниз: морем руин проплывали под крылом некогда прекрасные города. Заводы, плотины и шахты были хаосом искареженного и оплавленного металла.

Флоту снились тревожные сны. Надо было не только полностью заменить устаревшие корабли, создать принципиально новые. На картах заокеанских адмиралов стрелы ударов по сердцу Союза тянулись со всех морей и океанов планеты. Флот должен был осваивать все районы Мирового океана.

О будущем флота советского думали и спорили тогда всюду. В просторных кабинетах Главного штаба. В кают-компаниях крейсеров и в цехах номерных заводов. В да-

леких заснеженных гарнизонах и в ЦК партии. На страницах общедоступных газет и специальных журналов.

Так сложилось в России: флот всегда был народным любимцем, а флот советский — тем более. Народ в тяжелейшие дни испытаний видел, какая это сталь, и он не желал, чтобы она стала слабее, уязвимее.

Флот, прежде чем обновлять себя, нуждался в новой стратегии. В теоретическом осмыслении не только боевого опыта войны, но и всей новой политической ситуации, сложившейся на мировой арене. Не только в новейших открытиях науки, революционно пересмотревших и отвергнувших все старые возможности и представления о войне на море, но и открытиях ближайшего будущего. Ибо корабль строят не один-два дня, и кому нужны посудины, устаревшие уже к моменту своего спуска на воду!

Что значило появление атомной лодки-ракетоносца в любом районе Мирового океана? Каждый окончательно не сошедший с ума политик понимал, что военной авантюре здесь может быть противопоставлено нечто такое, что может поставить под сомнение само существование не только сиих воинственных голов, но и цивилизации в этом уголке земли.

Ученые с изумлением и тревогой подсчитывали «дебет» и «кредит» нового флота: «Военно-морское оружие сделало скачок от тринитротолуола к атомной и водородной бомбам. Атомный взрыв эквивалентен взрыву обычных бомб, общий заряд которых исчисляется не в тоннах или даже в тысячах тонн, а в миллионах тонн взрывчатого вещества. Человек не в состоянии представить такие величины. Мегатонна — вес всех взрывчатых веществ, обрушенных в виде бомб и снарядов на Германию за четыре года войны, увеличенный в восемнадцать раз. Одна бомба в мегатонну равна 50 атомным бомбам, подобным той, которая была сброшена на Хиросиму.

Атомная силовая установка и атомное оружие, вместе взятые, увеличили ударную силу в миллион раз. Соединение атомных подводных лодок, вооруженных управляемыми снарядами, может с большой скоростью и не останавливаясь пройти моря и океаны, омывающие целый континент...»

Моряки, как говорилось во времена Петра, воистину становились людьми «государственными», облеченными немыслимой ранее ответственностью.

...Так же бросал на айсберги свои ревущие волны пролив Дрейка. Кружила ураганами дальняя Атлантика. Хмуро громоздил торосы полюс.

А за тысячи и тысячи миль от них, в кабинетах здания Главного штаба ВМФ, выходящего фасадом на тихий московский переулок, где весной крутится по земле легкий липовый цвет, люди в морской форме подсчитывали эти расстояния и решали вроде бы удивительно прозаические вопросы. Сколько фруктов и овощей нужно загрузить на атомную, чтобы матрос Петров где-нибудь у мыса Горн не очень-то почувствовал разницу в меню, которое он смог бы получить в кафе на Невском или на старом Арбате...

Кроме моряков и судостроителей редко кто в полной мере чувствует всю торжественность такой минуты...

Сорокин стоял у стапелей и нервно вертел в руках коробок спичек. Откуда он его взял — не помнил. Сам Анатолий Иванович не курил. Но нужно же было хоть что-нибудь иметь в руках, когда минуты кажутся часами, и некуда себя деть, и часовая стрелка как будто намертво застыла на циферблате.

Ведь это было совсем недавно.

Конструктор провел его на стапель и нарочито-безразличным тоном бросил:

— Вот ваша «малютка»!..

Вероятно, он ожидал каких-то эмоций или восклицаний, потому что пристально и долго смотрел на него.

А он молчал.

Минуту. Две. Три.

Молчал, хотя сердце его выделывало черт знает что, но ему не хотелось показаться школьником, и он, вкладывая в голос нарочитое спокойствие, ответил:

— Отлично. Пойдемте посмотрим...

Собственно, то, что они увидели, назвать в полном смысле лодкой было еще нельзя: корабль напоминал препарированный организм чудовищной доисторической рыбы.

Фантастическое число труб, трубочек и трубищ всевозможных форм и расцветок переплеталось замысловатыми клубками, сходилось и расходилось, образовывая цветастые нити, уходившие внутрь обшивки.

Компрессорные и сварочные установки со своими многочисленными патрубками и шлангами дополняли общую картину кажущегося хаоса. Доски и леса захламляли все вокруг. К корпусу они подошли с большим трудом, перепрыгивая через бухты с тросами, обходя огромные катушки кабеля и пронумерованные ящики с приборами и оборудованием.

Подошел и представился худощавый капитан 3 ранга:

— Замполит. Штурманов Александр Иванович.

— Знатная у вас фамилия,— Сорокин улыбнулся.— Родители как в воду глядели.

— В воду не в воду, а фамилия не случайная.— Командир лодки пришел на помощь немного растерявшемуся Штурманову.— Прадед фрегаты водил. Дед и отец — с детства на море. Так что Александру Ивановичу быть на флоте сам бог велел. Потомственная династия...

— Как старшинский и матросский состав? — спросил командира Сорокин.— С экипажем обстоятельно познакомились?

— Вроде хорошие люди, Анатолий Иванович. А главное — творческие.

У рубки голубоватым огнем шипело пламя.

— Ну как? — спросил конструктор.

— Судя по всему, в сроки не уложимся...

— Наоборот! Вы видите, сколько рабочих и техников устанавливают приборы. Да и ваши стараются...

«Его» — это команда будущего атомохода.

Это очень хорошо, что она имеет возможность до винтика изучить корабль вот так — на стапеле, а не по чертежам, снимкам и схемам.

Кроме того, моряки — самые строгие приемщики. Конечно, ему и в голову не приходило, что здесь кто-нибудь мог бы схалтурить, недобросовестно отнестись к делу.

Но он догадывался, какие задачи будут ставить перед экипажем, какая нагрузка ляжет на эти мощные шпангоуты. Лишний контроль еще никогда никому не помешал.

Стальная сигара... А сколько вместила она! Это над ней работали сотни ученых. Из-за нее месяцами искали решения в лабораториях институтов электроники и гидроакустики. Это ее видел когда-то в мечтах адми-

рал корабельной науки Крылов, когда первые утлые подводные лодки уходили на глубину, на схватку со смертью.

— Волнуешься, дружище?..— Конструктор обнял Сорокина за плечи.— А я, думаешь, не волнуюсь!.. Этакую мощь спускаем!

— Да, такое бывает не каждый день...

Трудно спроектировать всякий большой корабль. Нужно ли говорить, сколько сил и нервов отняла у людей атомная лодка?

Как и во всяком трудном новом деле — задачей с сотнями неизвестных,— они искали, мучились и все начинали сначала. И опять экспериментировали, и отказывались от радостно утвержденного вчера и казавшегося поначалу совершенным.

И так в каждой из тысяч научных и технических составных, названия которых — кибернетика, электроника, атомная физика, гидроакустика, телевидение,— всего не перечислишь, как не сосчитаешь и бесконечных споров, волнений, обманутых и сбывшихся ожиданий, выпавших на долю конструкторов этой махины. Такой совершенной, гармоничной и простой на вид.

Конструкторы и моряки, пожалуй, единственные, кто знал доподлинно, чего стоят эти совершенство и гармония.

— Нелегко вначале пришлось ребятам из нашего «эпицентра» — ядерного отсека,— говорил Сорокину при знакомстве командир лодки.— Возьмите, скажем, того же Курбанали Шерифалиева. Само звание как звучит — трюмный машинист реакторного отсека! Конечно, он свое хозяйство изучил. Но одно — теория... На стационаре механизмы и системы «разложены». Сами видели, какие объемы и площади они занимают! А на лодке все спрессовано донельзя... И на тысячи «как» и «почему» никто ему ответить не может. Как поведет себя атомная установка на различных режимах работы? Или в аварийной ситуации? И вообще, что делать и как вести себя в этой ситуации? Даже толковых инструкций на сей счет у нас нет... Самим придется их вырабатывать...

— А кто эта девушка? — Сорокин кивнул в сторону стапеля.— Вон там, в синей шапочке...

— Валя, из конструкторского...

— Смотрите, начинается!..

Гул сотен людей мгновенно стих. Только с соседнего стапеля в звенящей тишине мерно плыло шипение электросварки.

Женщина размахнулась, в воздухе сверкнуло — и бутылка шампанского, брызнув осколками, разбилась о форштевень лодки. Тишину разорвала медь оркестра.

— Ур-ра-а-а!..

Все закричали сразу, перебивая друг друга, размахивая флажками, бросая в воздух шапки и кепки.

— Строят корабль рабочие, ходят на нем моряки, а в путь провожает женщина,— задумчиво произнес конструктор

Гигантская субмарина, разорвав ленточку, заскользила к воде. Удар — тысячи брызг взметнулись в небо, и вот она уже качается на маслянистой воде.

Если бы сейчас Сорокина спросили, что в мире самое красивое, он ответил бы: эта лодка.

Стремительные обводы корпуса. Рубка, чем-то напоминающая гигантски увеличенную деталь самолета. Опытный глаз моряка сразу угадывал мощь, скрытую за стальной обшивкой этой махины, и отличные мореходные качества будущей пленительницы океанов...

— Я вспомнил сейчас «щуки».— Сорокин тронул его за рукав— Тогда они нам казались верхом совершенства и боевой мощи. А что теперь «щука» по сравнению вот с этим...

— Да, я не завидую тем, из-за кого командир нашей «малютки» должен был бы нажать на кнопки пуска атомных...

— А как она поведет себя во льдах?

— Вместе будем маяться, Анатолий Иванович... Вместе, дорогой... Или ты думаешь, что я сейчас отправлюсь на курорт в Сочи?

— Что вы!..

— По расчетам должна отлично себя вести. А на практике... Что же — поживем увидим. Мой учитель всегда мне советовал: «Не знаю, как насчет цыплят, которых считают по осени, а в нашем деле лучше утонуть самому, чем допустить малейшую возможность, чтобы когда-нибудь из-за твоей ошибки утонул хоть один подводник...» Пойдем поздравим команду. Они больше всего

переживали. Ждали нашу посудину. Разве это моряк — без корабля! Засиделись ребята. В море рвутся...

А над советским подводным атомоходом, нареченным «Ленинский комсомол», взвился флаг.

Он рвался на флагштоке трепетно, словно ему тесно было в этой бухте среди кораблей, которые рядом с ним казались уже вчерашним днем флота...

Время стирает подробности, и историки через десятилетие-два находят в документах лишь главное, общую схему событий.

Тимофеев взглянул на часы и точно засек время. Это произошло в девятнадцать часов пятьдесят пять минут по московскому времени. Над первым советским подводным атомоходом взвился Флаг Советского Военно-Морского Флота. Флаг был особенный — шелковый. Врученный лично главкомом.

Командир увидел, как первые мгновения торжественной приподнятости вдруг сменились некоторой растерянностью. Лица у людей «гасли»: исчезали улыбки, тухли глаза. Кое у кого всю разноликую гамму чувств, пронесшуюся по лицам, затеняла досада.

Понять подводников было нетрудно: минут этих ждали годами. Вся история предшествующего лодке флота замыкалась на них, и они же, эти минуты, были рубежом, за которым для флота начинался новый отсчет времени. И разве не обидно — мгновениям этого долгожданного торжества суждено продлиться всего... пять минут. Да, да—пять минут: в двадцать часов, согласно уставу, флаг было положено спустить. Заход солнца механически влек за собой раз и навсегда строго установленный церемониал спуска боевого флага, если корабль не находился в плавании.

— Как быть, товарищ главком? — сам вид командира был безнадежно-удрученным.

— Что же, в конце концов, уставы создают люди. И не все в уставе можно предугадать. Бывают же, наконец, исключительные ситуации.— Казалось, главком убеждает самого себя.— Хорошо! — Повернулся он к командиру.— Разрешаю спустить флаг на час позже установленного времени...

А краснозвездное шелковое полотнище с серпом и

молотом плыло на ветру, и люди, не отрывающие глаз от него, с благодарностью думали о том, что единственное в истории флота столь удивительное попирание буквы освященных столетиями морских законов уже само по себе в эти считанные мгновения стало одной из ярчайших страниц истории флота российского.

Глава II

ГДЕ-ТО ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ...

1

Рюрик Тимофеев, командир электромеханической части, был севастопольцем.

«Мне даже смешно вас слушать,— сказал о нем корреспонденту одессит Миша Коваль.— Любит ли он море? Кто в Одессе и Севастополе не любит море?..»

В кругу друзей Рюрика Тимофеева молчаливо предполагалось: «севастополец» — как характеристика человеку. Не менее важная, чем послужной список. Для тех, кто по возрасту еще ничего не успел сделать,— это как обязательство: что бы с тобой ни стряслось, бросить тень на имя «Севастополь» — предательство.

Севастопольские мальчишки, друзья Рюрика, как и он сам, были на «ты» с историей. Они не говорили «пойдем на площадь». Такое звучало иначе: «Пойдем к Нахимову». Бронзовый Павел Степанович, казалось им, придирчиво оглядывает каждого: «А ну-ка посмотрим, на что ты годишься, потомок моряков флота российского?»

На неумеющего нырять и плавать, брать шкоты, отличить крейсер от эсминца, кощунственно назвавшего военный корабль пароходом или конец — веревкой в их кругу смотрели как на безнадежного человека.

История навечно прописана на севастопольских улицах. Город — это не просто дым акаций на Матросском бульваре или белые камни Северной бухты. Придя на рассвете к памятнику Затопленным кораблям, Рюрик слушал, как скрипят снасти фрегатов Лазарева и Ушакова. Камни в узких переулочках отзывались ночью эхом. Может быть, это доносился через века гул бронзовых пушек с Малахова кургана. Или голос «Ташкента»? Или

еще звенели в воздухе залпы фортов, бьющих по мятежному «Очакову»?

Севастополь соткан из света, гула прибоя, легенд, вчерашней и сегодняшней славы флота. Невесомо парят в зеленой воде прозрачные медузы. Маленькие крабы, воинственно растопырив клешни, выползают на камни у памятника Затопленным кораблям — в самом центре города. Мальчишки тихо провожают глазами низко сидящие крейсеры, чьи силуэты тают на закате за пепельной башней Константиновского равелина. В бездонной черноте неба плывут созвездия, и ринувшаяся к волнам звезда — как сигнальная ракета в отчаянном сорок втором.

Сны неприкаянно бродят по улицам, гул прибоя стучится в стены домов. Камни шепчутся в сумерках, человеческой жизни не хватит, чтобы выслушать их рассказ. Город у моря — сам частица моря. Они неотделимы друг от друга, и бронзовые стволы у стен Морского музея не кажутся полуторастолетней архаикой.

Как и все севастопольские мальчишки, Рюрик отлично знал историю города. Она не была для них абстракцией — эта история.

Корабельная сторона. Здесь живут потомки тех, кто строил крейсер «Очаков», броненосцы «Синоп», «Чесма», «Иоанн Златоуст», кто восстанавливал первый советский крейсер Черноморья «Коминтерн», кто залечивал раны «Севастополя» и «Ташкента».

В 1834 году город воздвиг свой первый памятник — простую стеллу, держащую поднятый к небу корабль. На ней — две надписи: «Казарскому» и «Потомству в пример». Любой севастопольский мальчишка объяснит вам, что это значит, и в подробностях опишет бой «Меркурия». Как будто сам Рюрик лично стоял на палубе брига, когда тот отчаянным майским днем 1829 года встретился в море с четырнадцатью турецкими кораблями. Два мощных линейных корабля взяли в клещи, казалось бы, обреченный бриг: 184 пушки против 18. Два адмирала против капитан-лейтенанта Казарского.

Принять бой, вывести из строя двух мощнейших противников в столь невыгодной ситуации — морская история такого еще не видывала. Вообще все это походило бы на фантазию досужего романиста, если бы не более трехсот пробоин и повреждений на теле гордого корабля.

Первый памятник на Матросском бульваре был только началом. И совсем не из-за любви севастопольцев к монументам. Есть в русской душе глубокое чувство благодарности к своим сынам, и лаконичная надпись «Потомству в пример» стала вдруг девизом города и флота.

Рюрик идет по городу. Позади — площадь Ушакова с увенчанным золотистым шпилем знаменитым Матросским клубом, куранты которого вызванивают ставшую неотъемлемой частью города мелодию «Легендарный Севастополь...» И вот он — Исторический бульвар. То, что на картах времен первой обороны города именуется Четвертым бастионом.

Невольно хочется прислушаться. Может быть, эхо донесет из далеких времен голос поручика артиллерии Льва Толстого. Здесь было его место. Отсюда, где стоит сейчас Рюрик, у грозных крепостных орудий, глядел Толстой, счастливый и гордый, на город мужества. И тогда рождались его полные изумления строки: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

И когда колышатся красные маки на Малаховом кургане, словно оживает бронза памятников и ветер доносит срывающийся голос Корнилова: «Товарищи, на нас лежит честь защиты Севастополя, защита родного нам флота! Будем драться до последнего. Отступать нам некуда: сзади нас море. Всем начальникам частей я запрещаю бить отбой, барабанщики должны забыть этот бой!.. Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет подлец, кто не убьет меня!..»

Завтра Корнилова не станет. Он упадет, обливаясь кровью, вот на эту самую землю, куда только что девчата положили белые гвоздики.

Графская пристань... Наверное, нет на свете другого такого клочка земли, где бы на столь сжатом пятачке, говоря словами петровских реляций, «вместилось славы великое множество». Отсюда салютовали бессмертным фрегатам Ушакова. Здесь обнимали героев Синопа вице-адмирала Нахимова и капитана первого ранга Истомина. Отсюда встревоженные глаза следили за поднятыми на мачте «Очакова» летящими флажками сигнала: «Командую флотом. Шмидт».

Странным, непостижимо удивительным образом переплетаются в севастопольской яви и истории имена. Био-

логическая станция Академии наук на берегу Артиллерийской бухты. Кто стоит у ее истоков? Миклухо-Маклай. По инициативе его, прославленного ученого и путешественника, родилась она. Знаменитая Морская библиотека. У колыбели ее — Лазарев, Нахимов, Корнилов, Истомин, Бутаков. Среди верных друзей и радетелей книгохранилища — Айвазовский, адмирал Макаров, Менделеев, Лев Толстой. Кажется, нет такой «звезды» в России, которая не подарила бы тепло свое Севастополю.

Так с детства вошло в жизнь Рюрика Тимофеева море. Да, он действительно прекрасен в ожерельях пронзительно-синих бухт, окованных белой пеной, в тревожно-дурманящем зное цветущих каштанов — Севастополь! В святом утреннем безмолвии фортов и обелисков. Но только первый луч солнца сверкнет на бронзе памятника Нахимову, камни начинают говорить. Вот отсюда, с набережной, уходил в бессмертие Шмидт. Иссечена сталью усыпальница великих русских флотоводцев. И гигантские якоря на стенках — все, что осталось от кораблей с гордыми и нежными именами, которые моряки произносят, как имя любимой. Эти корабли легли на дно бухты, чтобы преградить путь врагу. А в годы Великой Отечественной здесь гордо проносили свой флаг «Севастополь», «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Красный Крым».

Он спускается к бульвару. Море гонит штормовую волну, с грохотом и шипением ракушечника наступающую на парапет.

На Малаховом кургане горит вечный огонь. Ночью — Рюрик сам видел это — он бросает багровые всполохи на памятники и редуты. На землю, где пролилась кровь Нахимова, Истомина и Корнилова. На капониры бессмертной Матюхинской батареи.

На закате сюда приходят влюбленные. Трогают рукой холодную сталь стволов. И тогда задумчивыми становятся их глаза.

...На столе Рюрика лежал оплавленный осколок металла с мыса Херсонес. Когда за окном опускались сумерки и шумел ветер, ему казалось, он слышит глухой прибой Голубой бухты. Он трогал острые грани железа. И в памяти вставал темный силуэт Херсонесского маяка, огни кораблей у горизонта и языки пламени Вечного огня.

Лодка уже второй день стояла на воде, а необъяснимая сила тянула людей после смены сюда, к пирсу. Подходили поодиночке, группами. Рассаживались на ящиках, бухтах тросов. Пускалась вкруговую пачка «Беломора», и сам собой рождался степенный корабельный разговор.

Для каждого из них, построивших десятки больших и малых судов сам по себе новый корабль был столь же заурядным явлением, как для бондаря бочка или кузнеца поковка. Но с «этой» было связано столько легенд, предположений и споров!..

— Лодка как лодка... А на тебе — флотская революция... Стоит себе мирно.

— А как, по-твоему, она должна стоять. Изрыгать дым и пламя?

— Все это так. Здесь-то она тихая. А вот как в море себя поведет?

— Ты в чем-нибудь сомневаешься?

— Не сомневаюсь, но дело-то новое, опыта — никакого. Накладки могут быть.

— Ликвидируют.

— Оно, конечно, так, только я бы раньше времени не веселился. Когда я служил на «щуке» — а мы только что приняли ее от завода,— знаешь, сколько мелочей на ходовых пришлось доводить! Проект «щуки» был уже серийным. А здесь — первенец.

— Это еще не доказательство. Я, например, воевал на «малютках». И тоже был на новой лодке.

— Дай бог...

В этих разговорах незаметно для самих собеседников выявилось любопытнейшее обстоятельство: строили лодки бывшие моряки, принимали их люди, еще вчера стоявшие у станков. Потому и суждения были здесь авторитетно-безапелляционны, и судили обо всем с основательностью истинных знатоков.

Для всех них была бы кощунственной сама мысль, что эта лодка — какие-то определенные проценты плана, который они в зависимости от обстоятельств выполнят или не выполнят. Корабль был продолжением их морских биографий, точно так же, как море—неотторжимым звеном их рабочей судьбы.

Весь этот вроде бы хаотичный поток споров, сомнений, размышлений и категоричных выводов так или иначе

доходил до конструктора, главкома и Сорокина, считавших, впрочем, все это дело обычным и закономерным: люди болели одной заботой. К тому же человечество всегда делилось на оптимистов и скептиков, и, чтобы убедить последних, нужны были не слова, а время.

Вечером у пирса было прохладно, и заходящее солнце превращало грязную, с нефтяными пятнами поверхность моря в темное зеркало, высекающее время от времени золотые блики.

До Сорокина, разговаривающего с главкомом, долетели обрывки фраз. За огромными катушками кабеля, сложенными у кирпичного заборчика, спорили:

— А все же опасно на этой штуковине ходить.

— Почему? Все проверено. Конструктор с лодки не вылезает.

— Так-то оно так... Но дело новое. На старых как-то надежней. К тому же, кто его знает: может быть, радиация эта где появится.

— Ерунда. Замеряли уже тысячу раз. Никакой радиации на корабле нет и быть не может.

— А ты что — ученый?..

Теперь уже и главком прислушался к разговору.

— Ученый не ученый, но всякое говорят...

— А ты больше слушай. Бабок, сплетников и вообще подобных «специалистов».

— С тобой говорить невозможно. Я тебе сомнения, а ты лаешься.

— Я не лаюсь... Это вырвалось...

Главком взял Сорокина под руку:

— Слышали?

— Да.

— Ну и что?

— Мало ли что могут болтать. Вы-то сами отлично знаете, что никакой опасности на лодке нет.

— И все же — такие разговоры симптоматичны... Не только у некоторых флотских товарищей нужно менять отношение к атомному флоту... Я сам пойду на первый выход.

— Что вы, товарищ главком! Вам нельзя.

— Это еще почему?

— Мало ли что. Испытания есть испытания...— Сорокин не закончил фразы, расхохотался.— Я, кажется, начинаю сам рассуждать, как тот,— он кивнул в сторону

заборчика.— Но не в этом суть. Подвергать себя ненужному риску, даже минимальному, главкому нет абсолютно никакой необходимости. Конструктора не отговоришь — это его детище.

— Нет. Для меня все это решено. Психология у разных людей разная. Кое у кого восприятие жизни своеобразное. Если идет главком,— будут думать такие,— значит, дело надежное.

— Зачем же нам ориентироваться в работе на такие элементы?

— Дело не в этих, как вы сказали, «элементах». Определенное отношение к атомному подводному флоту,— он подчеркнул,— нужное нам отношение, необходимо утверждать с первых его шагов. У нас нет времени на раскачку, на дискуссии, мы будем иметь мощный атомный подводный флот. Иначе нас с вами следует просто гнать взашей. Иначе нас обойдут... Возвращаться к этому разговору не будем, но я на испытания иду. И точка!..

Ночью лодка отдала швартовы.

На борту находились большая группа ученых во главе с конструктором, главком и Сорокин.

2

Командир был в неповторимом и не сравнимом ни с кем положении. Все, кто даже отлично изучил механизмы, схемы и приборы атомной, смотрели на него сегодня по-особому.

«Правильно ли я действую, командир?» — спрашивал взгляд трюмного в реакторном отсеке, хотя у этого трюмного все шло нормально. «Ничего или очень плохо?» — читалось в напряженном взоре инженер-механика. Выражение лица у боцмана было такое, будто он вот-вот расплачется.

Командир понимал состояние людей. Он сам сейчас с великим облегчением задал бы каждый из этих вопросов кому-нибудь «повыше». Но «повыше» никого не было. И спрашивать было не у кого. Конструктор мог, конечно, что-нибудь подсказать по части науки. А вот насчет мореходства — здесь сам он, первый командир первой атомной, был наивысшим авторитетом и знатоком. Хотя

лодка и находилась в море всего каких-то полчаса, не более.

Неизвестность, пожалуй, худшее, что выпадает на долю первопроходца. Когда знаешь, что тебя ожидает, можешь подготовиться и встретить опасность в лицо, рассчитать силы, противопоставить опасности свою собранность и волю, а главное, психологически хоть в какой-то мере уже пережить то, что потом, пусть в большей степени и дозе, встретит тебя в пути.

Гораздо хуже, когда ты вообще не представляешь, что тебя ждет.

На многие «что», «как» и «почему» сейчас пока никто не мог ответить.

Как поведет себя лодка в море? Или пробивая ледяной купол? Выдержит ли корабль удар и какой силы он будет? Они знали: когда американский «Наутилус», совершая плавание подо льдом Арктики, пытался всплыть, на нем не заметили большую льдину. В результате страшный удар — и лодка потеряла оба свои перископа. Не дадут ли в такую решающую минуту приборы той незначительной «осечки», которая в их деле слишком дорого стоит?

За людей он не волновался — проверены в труднейших переходах. Они выдержат. Все и вся. Что бы ни случилось. Но техника есть техника. Она тем и отличается от людей, что сдает там, где люди не сдаются и готовы идти дальше.

Неизвестно, кого хотел успокоить конструктор — себя или главкома. Во всяком случае, он сказал, обращаясь неведомо к кому:

— Все в порядке. Реактор действует отлично. Выведен на полную мощность.

Сорокин взглянул на глубиномер. Стрелка прибора катилась уже куда-то за грань двухсот метров. А лодка шла так же уверенно, как будто над рубкой ее были какие-то сорок — пятьдесят, ну от силы — семьдесят метров.

Внешне глубиномер выглядел обычно: черная овальная коробка с белой шкалой. Но, приглядевшись, любой моряк еще вчера мог бы подумать, что конструкторы, создавшие прибор, решили просто подшутить над подводниками. Над делениями глубиномера красовались цифры.

Сорокину вдруг до боли ощутимо вспомнилась его служба на «малютке». Маленький дизель, один электромотор, запас электроэнергии всего на несколько десятков миль подводного хода, ручная помпа для приема балласта при дифферентовке. Механик командует: «Сделать десять качков!» А ведь все это было совсем недавно.

И как все изменилось: он — на могучем атомном корабле, для которого во всем Мировом океане не существует недоступных уголков. Удобные каюты, кино, кондиционированный воздух, хлеб собственной выпечки, свежее мясо на весь поход...

Люди не отрывались от приборов: скорость лодки приближалась к скорости курьерского поезда.

— Ну как? — спросил Сорокина конструктор.

— Поздравляю! Мы гордились нашими дизельными. Сколько они сделали! Они — целая историческая эпоха на флоте. А сейчас мы присутствуем при рождении новой эпохи.

Каждый выход в море всегда полон неожиданностей. И нежелательных и приятных. Среди последних было «открытие» Михаила Луни.

— Боцмана к командиру!—прогремел динамик, и тот, стоявший у горизонтальных рулей, бросил Михаилу: — Подмени. Только смотри мне!.. На полном идем.

— Есть, подменить.

Неизвестно, зачем понадобился боцман, только, когда он собрался снова стать к рулям, командир, взглянув на приборы, тихо сказал ему:

— Отставить... Это становится интересным. Взгляните, боцман, на шкалу.

Стрелка глубиномера стояла словно влитая — не шелохнется.

— Как по ниточке ведет. Что это — случайность? Или... Подождем немного... Посмотрим.— И тут же подумал: «А вдруг растеряется парень? Рисковать нельзя. Поход все же экспериментальный...»

— Луня, будьте внимательней!

— Есть!

Командир продолжал смотреть на курсограф и не верил своим глазам: стрелка чертила почти прямую линию.

Луня уже сам не понимал, как ему все это удается без боцмана, за широкой спиной которого всегда было как-то безбоязненно и спокойно.

— Отлично ведет! — Командир кивнул в сторону приборов, обращая на них внимание старшего руководителя похода.— Золотые руки у парня.

— Хорошие горизонтальщики на флоте всегда на вес золота,— ответил тот.

Прошла минута, десять, двадцать, час. Лодка, послушная воле Луни, шла «по ниточке».

— Хорошую смену воспитываете, боцман.— Командир улыбнулся.— Спасибо за службу.

Боцман покраснел.

— Талантливый, видно по всему, парень. Но я, честно говоря, товарищ командир, не думал, что он сразу... так... сможет.

— Сомневались?

— Нет. Просто не было случая проверить.

— Вот мы и проверили... Подмените его и попросите подойти сюда.

На лице Луни блестели капельки пота.

— Трудно было?

— С непривычки... Боялся что-нибудь упустить. Ведь очень поход ответственный.

— Хорошо вели лодку.

— Спасибо.

— Что ж, большому кораблю — большое плавание.— Один из сопровождающих главкома адмиралов крепко сжал руку Луни.— В добрый час!.. Поздравляю вас с внеочередным воинским званием старшины первой статьи...

Он не думал тогда, что пройдет совсем немного времени и история, подобная только что случившейся, повторится. На этом же самом корабле. Только роли переменятся: он, Михаил Луня, уже опытный боцман, будет смотреть, как отлично ведут корабль его, Михаила, ученики. Новое поколение горизонтальщиков. И тогда он впервые подумает, что стареет. И уже другой командир скажет ему: «Это ерунда, что ты стареешь, Михаил. Что было бы с флотом, если бы он остановился в движении своем? Просто, как поется в песне, орлята учатся летать. А нам с тобой — только радоваться этому...»

Наблюдая за командиром лодки, Сорокин видел, что труднее всех приходится сейчас, пожалуй, ему. Сам командовавший и большими и малыми кораблями, Анатолий Иванович понимал, как неуютно чувствует себя

командир, когда его «коробка» забита множеством разного начальства, не всегда единодушного в своих выводах и приказаниях.

Сейчас в походе был главком, а поход был опытным...

— Уже сейчас многое очевидно.— Командир делился своими мыслями с Сорокиным.— Возможность практически неограниченное время находиться в подводном положении, совершать плавания любой протяженности, невиданная и немыслимая ранее мощь вооружения, неуязвимость для средств поражения, огромная скорость хода, способность бить по целям, находящимся на многие сотни и сотни километров.

— Я сам не могу прийти в себя, дружище. Где это видано, чтобы под водой, где всегда берегли каждую каплю пресной воды, команда вдоволь пользовалась душем? Или кают-компания, в которой не то что можно провести приличное собрание, но и прокрутить фильм для всего экипажа?

— А камбуз! Шипят электрические плиты и духовки, жарятся бифштексы, готовятся шашлыки, торты, печется хлеб! Скажи мне еще лет десять назад, что на подводной лодке возможно такое,— засмеялся командир,— я назвал бы любого фантазером.

— Поневоле вспомнишь жюльверновский «Наутилус». Особенно его таран.

— Да, рядом с атомными торпедами выглядит он не ахти как. А они способны разнести в дым любую плавучую крепость!

— К тому же «Наутилус» был фактически слеп: на большой глубине прожектору не разогнать далеко водяную тьму.

— У атомохода более надежные «глаза» и «уши». Приборы гидроакустиков фиксируют все, что движется далеко вокруг, сверху и снизу. Чуткие эхоледомеры покажут точную толщину льда, если лодка находится под ледяными полями.

— Кибернетика, электроника, радиолокация...

— Идя со скоростью, близкой к скорости курьерского поезда, мы практически неограниченное время можем оставаться под водой: атомный реактор исключил проблему горючего, специальные аппараты — проблему воздуха и воды. Пресная вода теперь в изобилии добывается опреснителями из забортной, соленой.

— Да и чтобы поразить цель, атомной лодке не нужно выходить на дистанцию прямого удара, пробираться в порты врага через минные поля и противолодочные заграждения. Более того — ей не нужно даже всплывать. Удар наносится из глубины: ракета выстреливается на поверхность океана, и, неотвратимую, грозную, ведут ее приборы за сотни и сотни километров.

— Мы как будто рекламируем лодку друг другу.

Они рассмеялись.

— Такое видишь не каждый день.

Через несколько часов командир докладывал главкому:

— Товарищ главком! Корабль отлично маневрирует. Замечаний по работе приборов и установок нет. Расчетные скорости и глубина взяты. Можно считать, что испытания проведены успешно. Прошу разрешения лечь на обратный курс.

— Добро! — Главком обнял конструктора.—Поздравляю. От всей души поздравляю...

Ночью в Москву ушло сообщение: «Испытания прошли успешно. Первенец стал на ноги».

Среди множества других великих и малых важнейших сообщений ее выделили, чтобы срочно доложить в ЦК и Совет Министров.

На востоке страны брезжило утро. Звезды еще державно проплывали над Ленинградом, Москвой и Киевом, а флот российский встречал с этой зарей не только оплавленный диск солнца — новую эру своего мореплавания. И завтра, и послезавтра, и каждый грядущий день уже будет для флота иным, непохожим на вчерашний. Новые атомные гиганты сойдут со стапелей, и все дальше и дальше в распахнутый океанский простор уйдут подводные трассы лодок.

3

Бухту выбирали долго и придирчиво. Там, где одного инженер-адмирала, казалось бы, все уже абсолютно устраивало, начинали сомневаться другие. То, что приглядывалось морякам, вдруг не нравилось инженеру:

— Посмотрим еще где-нибудь...

В поисках этого «чего-нибудь» торпедный катер обошел сотни фиордов и заливчиков, пока и моряки, и инженеры, не сговариваясь, переглянулись и заулыбались.

— Кажется, это то, что надо...

— Лево руля,— адмирал нагнулся к командиру катера, стараясь перекричать шум моторов.

— Есть, лево руля!

Оставляя широкий бурунный след за кормой, катер уже почти по инерции шел к мокрой гряде прибрежных валунов с белой пеной прибоя.

Матросы с баграми-трилистниками стали на корме и носу и в каких-то полутора-двух метрах от берега осторожно подтащили корабль к валунам.

Инженер спрыгнул первым. За ним Сорокин.

Помимо всего прочего, бухта была сказочно красива. Черные скалы отвесно уходили в золотую на закате воду. Снег еще не сошел, и по багрово-темным проталинам важно расхаживали непуганые полярные куропатки.

Сорокин нагнулся. На приталой белизне снега яркими бусинами краснела россыпь прошлогоднего брусничника.

Худощавый военный инженер удовлетворенно промычал, показывая на сопки:

— Вот здесь мы и поставим свои игрушки. Думаю, они не испортят сей идиллической картины.

— Может быть, и не испортят,— машинально бросил зам. главкома, потому что не ответить было невежливо, а мысли его, как и Сорокина, были сейчас далеко и от ракет, и от лодок, настолько не могла оставить равнодушным никого открывшаяся перед его глазами девственно-дикая даль.

Видимо, и инженер почувствовал их состояние. Он отошел метров на десять и стал бросать в рот мерзлые, с приставшими кусочками снега ягоды.

Сорокин улыбнулся, подумав: «Интересно, где бы Лена расставила здесь свою мебель?»

Словно угадав его мысли, кто-то засмеялся:

— Здесь будет город заложен, назло надменному соседу... Впрочем, соседи ближние у нас ничего. А вот дальние... Будем считать, что назло им... Как, Анатолий Иванович?

— Все начала в этом смысле похожи друг на друга... А знаете, что мне пришло сейчас в голову? Когда чита-

ешь Закон о пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР, цифры, особенно для неспециалиста, кажутся какими-то абстрактными иероглифами. Они не имеют цвета, запаха, горизонта, рельефности, что ли. А мы вот сейчас стоим здесь — и вот эти сопки, мох, ягель, гранит — одна из этих оживающих в реальности цифр. Есть, помнится, такие строки: «Увеличить судостроение вдвое... Обеспечить строительство в СССР сильного и могучего флота. Построить для советского флота новые корабли и новые морские базы». Вот мы и строим...

— Да, в схемах и общих выкладках цифры «не смотрятся». Здесь они приобретают плоть и кровь. Отвлеченная база — это что-то умозрительное. Здесь это — и сопки, и закат, и этот залив...

— Залив и сопки — это еще не база.

— С тобой и помечтать нельзя. Сразу с небес на землю...

— Что делать. К сожалению, время на романтику у нас ограничено. Я имею в виду, конечно, сопки и закат.— Сорокин усмехнулся.— Флот и база — это ведь тоже романтика.

— Убедил. С чего же начнем?

— Обычно начинают с бараков для строителей. Нам придется соорудить еще что-нибудь для штаба. И какую-никакую конуру для конструктора. Ему, между прочим, иногда думать надо.

— Он же будет наездами.

— Наездами? Вы его не знаете. Пока лодка не войдет в строй действующих — не вылезет отсюда. И помощников не отпустит.

— На первое время спасет положение плавбаза. Поселимся там. Но строителей рядом с лодками не поселишь. Потому, как в Комсомольске-на-Амуре, придется начинать с палаток.

— Молодым не впервой!

— Это вы бросьте, Алексей Петрович! Я за другую романтику. Конечно, в безвыходном положении и палатка хороша, но только на самое первое время. У нас еще немало любителей романтики за чужой счет. А проще — безответственных и бесхозяйственных людей. Вместо того чтобы вовремя соорудить удобное жилье для рабочих, создать им элементарные условия для работы, такие предпочитают рассуждать о трудностях. В результате —

через полгода-год наиболее ценные кадры от них уходят. И я этих людей, эти кадры не виню. Когда они видят, что иначе нельзя, они хоть сто лет проживут в палатках, если это нужно для дела. Когда же они приходят к выводу, что на них определенным руководителям попросту наплевать, у них рождается и соответствующая реакция...

— Речь достаточно убедительная.— Инженер развел руками.— Теперь мне абсолютно ясно, что жить в благоустроенном доме лучше, чем в землянке.

— А ну вас,— Сорокин смутился.— Я, кажется, действительно чуть ли не парламентскую речь произнес... Короче: завтра с утра — все здесь. И — начинаем большой аврал.

Через три дня под навесом скалы, полого спускающейся к морошковому болотцу, вырос палаточный городок и наспех сколоченная из досок «Академия наук», как кто-то окрестил это хилое сооружение для конструктора и его помощников.

Наутро прибыло подкрепление. Из-за темного мыса, прозванного Медведем, показался пыхтящий буксир. На мешках, яликах, тюках, наваленных на палубе, сидели люди. В ватниках и беретах. Модных плащах и шляпах. В матросских робах и полинялых армейских гимнастерках.

— Наверное, так в старину выглядели корабли пиратов,— невозмутимо прокомментировал Сорокин эту живописную картину.— Боцману еще серьгу в ухо, капитану — чалму. А так — зрелище для богов.

За буксиром медленно тянулась плавбаза.

Приняли швартовы, и берег сразу наполнился криками, возгласами, смехом, бранью.

— Кажется, мне кто-то говорил, что здесь самое тихое на земле место.— Конструктор пожал руку Сорокину, провел платком по гладко выбритой голове.

— Абсолютной тишины нигде не бывает,— отпарировал Сорокин.— Это доказано наукой.

— А что сказано в этой науке насчет перекусить чего-нибудь?

— За этим дело не станет. Прошу! — Сорокин приглашал конструктора в «Академию наук».— Это ваша резиденция.

— Да-а!..— неопределенно хмыкнул конструктор.— Интересно, какой это стиль.

— Что-то среднее между барокко и бараком.

— Я так и понял.— Конструктор оглянулся. Строители, став цепочкой, сгружали на берег ящики.

— А этих хлопцев вы куда разместите?

— А палатки на что?

— Палатки? Нет, дорогой Анатолий Иванович! Так дело не пойдет. Я превосходно устроюсь на плавбазе. А этих ребят — в храм... Только так... Сейчас от строителей зависит все. И уставать они будут больше всех.

— Но вам же нужно работать.

— У меня уже есть по этой части некоторый опыт совместной работы с весьма беспокойным товарищем Курчатовым. Во время войны. Нас даже немножко бомбили. И ничего. Привыкли. Здесь, думаю, нас бомбить не будут?

— Вероятно, не будут.

— Вы отвечаете, как истинный ученый. Истинный ученый всегда в чем-нибудь сомневается.— И конструктор раскатисто расхохотался.

Лена приехала к осени. Она впервые оказалась на Севере, и путь до городка показался ей бесконечно унылым. Холодный дождь сек темные озера. Все вокруг приобрело белесый цвет, и неизвестно было, где кончался стелющийся над тундрой туман и начинались набухшие влагой небесные хляби.

Ей вспомнились медные сосны на желтых дюнах, густой настой хвои и йода на взморье, солнце, бьющее по утрам с высоты. Тоска усилилась, стала почти физически ощутимой.

Она подняла воротник пальто, оглянулась. Витька и Вовка спали на заднем сиденье. Им, кажется, было все равно, где спать.

«Странное время,— подумала она,— раньше люди до глубокой старости жили на одних и тех же гнездовьях. Моим ребятам — четыре и пять лет. А они уже побывали и на Тихом океане, и на Черноморье, и на Балтике. И вот теперь спокойно едут к самой кромке Ледовитого. Словно так и надо, и ничего в этом нет ни странного, ни удивительного...»

По дну машины глухо ударили камни, и тормоза резко скрипнули на повороте.

— Дороги здесь еще не бог весть какие,— прокомментировал водитель.— А здесь нужно осторожнее. Олени к реке в это время ходят...

За скалой Лена действительно увидела трех оленей. Самец с гордо поднятыми к небу рогами недоуменно посмотрел на машину и нехотя уступил дорогу. Его спутницы даже не повернулись — продолжали выщипывать ягель.

Она растолкала ребят.

— Смотрите.

Витька и Вовка, увидев оленей, мгновенно выскочили из машины.

Срывая мох, они тянули руки к теплой оленьей морде. И — удивительно — самец не бросился бежать. Втянул вздрагивающими влажными ноздрями воздух, сделал два шага вперед и... взял ягель.

— Они ручные? — спросил Вовка, когда машина перевалила крутую сопку.

— Почти,— ответил шофер.— Они из колхозных стад. И здесь на них никто не охотится. Так что они спокойны. Инстинкт опасности притупился.

Дождь уже давно кончился. Солнце оранжевым шаром висело над сопками, и блики на речушке, петляющей между камнями, вспыхивали глубоким матовым пламенем.

Они остановились передохнуть у тропки, круто уходящей в сопки. Лена сорвала на обочине дороги несколько спелых ягод морошки. Переспелые ягоды таяли во рту холодными льдинками, пахли тундрой, мхом, осенью. Южане, попробовав морошки, говорят, что у нее нет запаха. Есть. Особенно у ягоды, только что отнятой от влажных листьев, отливающей холодной янтарной желтизной,— нежный северный аромат, в котором есть что-то и от пронзительного ветра над тундрой, несущего с океана сложно замешанное дыхание темной глубины зеленых льдов и рыбацких сейнеров.

Может быть, Север на секунду таинственно приоткрыл перед ней свою душу. Только Лене стало почему-то легче, и пугающая ледяная кромка земли, которую ей многие расписывали только черными и безотрадными красками, уже не виделась безысходной тоской и мерт-

вым прозябанием вдали от привычных людей, мелодий и красок.

А далеко от этих сопок уже сходили со стапелей новые и новые атомные.

Они сидели в каюте — конструктор и замполит — и почти каждые десять минут поглядывали на часы.

— Нервничаешь? — съехидничал капитан второго ранга.

— Если я скажу «нет», ты же все равно не поверишь.

— Не поверю. Все-таки первое испытание баллистических ракет, запускаемых с подводной лодки. Любой бы нервничал.

— Чего же тогда спрашиваешь?

— Я о другом. Я моряк. И к тому же политработник. Мне этот пуск интересен не только с чисто военной точки зрения. А, так сказать, и с психологической.

— Это что-то уже новое. Интересно...

— Если говорить серьезно, Сергей, неужели тебе никогда не становилось не по себе, когда ты задумывался над тем, **что** ты создаешь? А не думать об этом ты не мог, знаю это.

— Ты не первый, кто задал этот вопрос. И вероятно, не последний. Когда речь идет о таком страшном средстве уничтожения людей, как ядерное оружие, только мерзавцы или кретины могут не думать.

— Но все же — конкретнее...

— Изволь. Когда-то Альберт Эйнштейн, работая над атомной бомбой, сказал: «Если бы я знал, что немцы не создадут атомную бомбу, я бы не сделал ничего ради бомбы». Если бы нам ежедневно не угрожали люди, во власти которых может случиться пустить атомное и водородное оружие в ход против нас, я, вероятно, тоже не убил бы жизнь на создание самого страшного оружия уничтожения.

— Трагедия Хиросимы слишком потрясла человечество. О ней нельзя думать без содрогания. И все-таки все мы помним — во второй мировой войне было убито пятьдесят четыре миллиона и ранено более девяноста миллионов человек.

— Я знаю эти цифры. И кого потрясла трагедия Хиросимы? И как? Вот тебе, так сказать, узконаправленный пример. По сему поводу у меня даже подобраны некоторые материалы. Подожди минутку.— Он порылся в шкафу, достал кожаную папку.— Вот здесь,— конструктор похлопал по обложке,— весьма поучительные материалы... В экипаже самолета «Энола Гэй», который сбросил бомбу на Хиросиму, было несколько человек. Второй пилот «Энолы Гэй» Роберт Льюис писал позднее: «Сны? Я часто видел страшные сны... Часто, когда я вижу своих детей, меня охватывает страх. Если бы только некоторые государственные деятели видели то, что мы видели тогда, они не могли бы спать спокойно ни одной минуты до тех пор, пока они не были бы уверены, что бомба никогда больше не будет сброшена». А судьбу пилота-разведчика, наводившего «Энолу Гэй» на цель, майора Клода Роберта Изерли ты знаешь?

— Потому и спросил тебя о нравственных началах твоей работы. Изерли уволили из военно-воздушных сил США с документом, где говорилось: «Психическое расстройство, связанное с пережитым за океаном». Его душили кошмары. Ночью он будил семью истерическими криками: «Дети! Дети!» Кончилось тем, что он вскрыл себе вены. Вот тебе и нравственная месть. А говорят, что это — досужие вымыслы писателей.

— Но почему-то сия, как ты говоришь, «нравственная месть» не покарала главных участников преступления. Льюис и Изерли были подчиненными. А бомбили Поль Тиббетс и Суини. Судьба их весьма любопытна. Тиббетс — генерал американских ВВС, руководитель военной миссии США в Индии. А еще совсем недавно он был начальником военного планирования объединенного военно-воздушного командования в Европе, в главной штаб-квартире НАТО. Суини — ныне тоже генерал. Так вот их почему-то не душат по ночам кошмары. Тиббетс бахвалится: «Я успешно выполнил приказ... Каких-либо личных переживаний у меня тогда не было, у меня их нет и сейчас. Если завтра будет нужно сбросить где-либо еще более разрушительную водородную бомбу, то я это сделаю точно так же». Суини от него не отстает: «Я ни о чем не сожалею. Если бы мне пришлось повторить, я сделал бы это не колеблясь».

Конструктор помолчал.

— Согласен. Не все на Западе размышляли подобным образом. Митчел Уилсон рассказал о сомнениях моих некоторых коллег. Помните роман «Встреча на далеком меридиане»?.. Ощущения физика — одного из создателей атомной бомбы. Я даже выписал кое-что: «Революция в технике воплотилась в величайший, самый испепеляющий взрыв, какой когда-либо видела земля, и одним из ее причудливых результатов было то, что Реннет из принца крохотной страны, почти неизвестной внешнему миру, превратился в пэра международной державы, ставшей во сто раз больше прежнего и в десять тысяч раз значительнее.

И все же самый миг этой революции остался в нем не только как вновь и вновь возвращающее воспоминание, но и как шрам, уродующий душу. Одно мгновение все было, как всегда, как много месяцев до этого,— обычная работа с самыми будничными на вид металлическими предметами и давно привычными кусками сероватого металла,— а в следующее мгновение то из соединений, которое так давно искали, уже пожирало землю, небеса и все лежавшие за ними пространства бело-желто-лиловым пламенем.

Подчиняясь инерции годами выработанного профессионального взгляда на вещи, он ощутил яростное удовлетворение от того, что все расчеты и предсказания его науки так блистательно подтвердились. Но одновременно это видение гибели мира поразило его таким ужасом, что казалось, до самой смерти под маской его лица будут скрыты остановившиеся глаза и разинутый от изумления рот. Перед этим видением гибели мира побледнели и сошли на нет все фантастические образы Апокалипсиса...

Даже теперь, когда он давно порвал с физикой разрушения мира и вернулся к физике созидания, в испуганных глазах своей эпохи он по-прежнему был окружен ореолом, неотделимым от проявленной им способности разрушать...» Мы такого не чувствовали. У нас не было разлада между научным поиском, созданием грозных атомных подводных ракетоносцев и совестью.

— Мы же не Суини...

— Вот именно. В этом вся суть и вся разница. Мы никогда не нападем первыми. И это знает весь мир. Грязная западная пропаганда, пугающая обывателя, не в

счет. У нас разговор серьезный. Мы не нападем. И мы никому не угрожаем. А нам угрожают ежедневно. Открой газеты. Это не мы выдумываем, и не мы пишем. Сегодня весьма авторитетный заокеанский генерал призывает забросать «Полярисами» Москву. Завтра какой-нибудь Тиббетс соберется стереть с лица земли весь Союз. И вчера, и сегодня кое-кто рвется к атомной бомбе. И все это не шалуны, не краснобаи — люди дела, обладающие колоссальными возможностями. Кто знает, какие силы окажутся на поверхности в той или иной стране в итоге сложнейшей политической игры. Мы не гарантированы от того, что где-либо к власти не придут те, кто от угроз решит перейти к делу. А из истории-то мы уже слишком хорошо знаем, что этих господ цитатами из священного писания не остановишь. Им нужно что-нибудь посущественнее. Скажем — та же водородная бомба. Только страх, что они сами прежде всего сгорят в разожженном ими пожаре, может их остановить. Так что гуманизм, мой дорогой, в наш век вещь сложная. К сожалению, его сейчас без водородной бомбы и атомной подводной лодки не защитишь. Так все сложилось на этой прекрасной планете. И от этого никуда не уйдешь.

Конструктор улыбнулся.

— Ты думаешь, я не мечтаю о временах, когда вместо ракет мы «загрузим» атомные подводные лодки только поэтами и учеными! Мечтаю, брат... Только когда это еще будет. А поставить под возможный удар наше будущее, Революцию, детей,— этого-то как раз совесть нам и не позволит. Так что, друже, с совестью у нас все в порядке. Спим спокойно...

— В принципе ты, Сергей, прав, конечно.

— Что тяжело?

— Работа твоя.

— Работа как работа. Не хуже и не лучше других... Ладно, хватит философствовать. Через полчаса — час «икс». Идем...

На чертежах все это выглядело академически спокойно и даже увлекательно: длинные сигары, красиво легшие в контейнеры. Сейчас, когда чертежи превратились в стальную плоть и с часу на час все эти бесчисленные

схемы, автоматы и устройства должны были сработать, вступили в действие необозначенные на чертежах сложные психологические комплексы, с которыми нельзя было ничего поделать.

Разрядка, конструктор знал это по опыту, наступит только после испытаний. Ранее можно не подавать виду, казаться невозмутимым, но каждый на корабле отлично понимал, что невозмутимость эта кажущаяся, что нервы сжаты до предела, и сделать тут ничего нельзя.

Там — на земле, на стендах — все казалось солидней и прочнее. Сопла ракет посылали пламя в бетонную твердь, и бушующее в дюзах пламя, способное, казалось, прожечь землю насквозь, улетало пылью, грохотом и паром, вздымавшимися под пусковым устройством. Двигатели истошно ревели на стендах, но в пространстве и широте полигона все это не вызывало ассоциаций, связанных с необычным. Сам по себе этот гул на бетонном поле напоминал привычные аэродромы, где летчики перед прыжком в высоту запускали реактивные двигатели.

Здесь все было иначе, и, наверное, не только ему, конструктору, было немного не по себе уже от сознания того, что мощные ракеты совсем рядом: стоит отдраить люк, и можно потрогать рукой холодный металл чудовищной сигары. Огненный смерч, таящийся до поры до времени в их стальном чреве, не отделен от людей мощным бетоном наблюдательных пунктов: только кажущаяся несолидной в таком деле сталь пусковых шахт должна была принять на себя и выдержать бушующее пламя. То, что при нажатии кнопки яростно вырвется на простор, не найдет простора.

Жизнь всегда вносит поправки в расчеты, и, кто знает, сколь существенными — не роковыми ли — эти поправки окажутся?

Конструктор прошел по отсекам, придирчиво всматриваясь в лица людей, словно проверяя и себя и их. Кажется, спокойны. Хотя — черта с два. Разве в таком деле можно быть спокойным? По взглядам, ненароком бросаемым на него, можно было прочесть немые их вопросы: «Ну как, товарищ конструктор, переживаешь? Уверен в своем детище? Все проверил?»

Только ответить на такое способен лишь сам пуск. И они это знали не хуже его, потому и напряглись в ожи-

дании, сжали нервы, озабоченно поглядывали на часы — сколько времени осталось до неизвестной им минуты «икс», когда ожидание кончится и наступит первая разрядка.

Звонко прогремел в динамиках голос командира:

— Боевая тревога!..

Пока боевые части докладывали о готовности, конструктор прошел в центральный пост.

Стрелка хронометра стремительно приближается к черте.

Пять секунд.

Три...

Две...

— Пуск!

Все, что создано на лодке умными руками человека, подчинено этой секунде. Все! И мастерство, сила, знание, опыт людей — тоже воплощены в ней.

Командир нажимает красную кнопку.

Вздрагивает корпус лодки.

Страшный рев прокатывается над океаном.

Электроника и автоматика — они стремительно выводят ракету на заданный курс.

Ее уже ничто не собьет с курса.

Удар ее будет неотвратим.

Удар по невидимой отсюда цели, которая находится во многих сотнях или тысячах километров от этого моря...

Когда они получили подтверждение, что цель поражена, конструктор сказал командиру:

— Устал я что-то сегодня. Пойду отдохну.

— А ужин?

— Не хочется.

— Неудобно как-то.

— Почему? Я же не голоден... И не стесняюсь...

— Я все же пришлю ужин с вестовым вам в каюту.

— А вот на это не согласен. Принципиально. Я здесь — как все. И делать для меня исключения не позволю.

— Ну, вас не уговоришь, с какого боку ни подступайся,— проворчал командир.— Счастливо отдыхать...

— Спасибо...

Городок еще спал, когда лодка возникла из мглы на линии ближайших створных знаков.

Вначале тускло мелькнули, как бы осторожно нащупывая дорогу, ходовые огни. Потом темной громадой обозначился увеличивающийся с каждой минутой силуэт субмарины, черные тени людей на рубке. И белое пятно за их спинами прояснилось развевающимся на резком колючем ветру полотнищем флага.

Поземка зло крутила по пирсу, бросая в лица людей обжигающую ледяную крупу. Небо и черная вода с сиреневой кромкой припая еще были одним туманным целым.

Офицеры поеживались от резкого ветра, неуклюже переминались, чтобы хоть немного согреться, но, когда из подъехавшей машины вышел Сорокин, кое-кто опустил воротник шинели, а кто-то поправил запорошенную снегом шапку: флот есть флот, и негоже показывать хоть минутное отступление от флотского шика, настолько вошедшего в плоть и кровь моряков, что где-то стало уже нормой поведения, несоблюдение которой, тем более при начальстве, свои же товарищи сочли бы если не бестактностью, то бескультурьем.

А громада лодки становилась все ближе и ближе. Вот уже на рубке ясно различаются знакомые лица, а на корме и носу — оранжевые спасательные жилеты матросов.

— Подать швартовы.— Команда доносится сквозь завывание ветра, надсадный стон моря.

Концы летят на пирс. Тут же подхватываются ловкими руками, намертво закрепляющими их на стальных кнехтах.

И сразу все — и отрывистые слова команд, и разбойный посвист снежного заряда, и летящий с моря гул — тонет в рванувшейся с пирса мелодии. Ее впервые слышали эти скалы, хотя и родилась она не сегодня и не вчера и каждый, стоящий сейчас и на пирсе и на рубке субмарины, с далеких огненных лет помнил слова, которые угадывались за этим торжествующим, широким, как моряцкая душа, ритмом:

Родных кораблей патриоты
Со львиной отвагой в груди.
Гвардейцы советского флота
Всегда и везде впереди...

Глава III

ЗА ГРАНЬЮ НЕВЕДОМОГО

1

Борис Корчилов прошел мимо красного кирпичного здания школы, машинально провел рукой по железной ограде — прутья отдавали влагой и холодком — и перед входом в подъезд огляделся.

Ну что же, прощай, улица Моисеенко! Страна, где он знает каждый проходной двор, всех ребят из окрестных домов и переулков, их родителей и знакомых. Это только кажется, что Ленинград большой город. Если ты всю свою, пусть небольшую, жизнь прожил на одной улице, учился в одной школе и вместе с тобой взрослели сотни ребят, с которыми ты ежедневно сталкивался в одном кино, театре, что расположен по соседству, в одном классе, на одних лестницах и площадках, ты невольно оказываешься обладателем сотен знакомств и проверенных временем симпатий и антипатий. Впрочем, антипатии в этом возрасте весьма относительны: из-за драки или недоразумения в десять — двенадцать лет не становятся врагами.

Прощай, улица Моисеенко! Разной виделась ты за эти годы. После тех жутких блокадных зим он как-то быстрее старался взбежать к себе на третий этаж. Не могло забыться, как внизу, под этой самой лестницей с витой чугунной решеткой, лежали заиндевелые свертки, в которых легко угадывались наспех прикрытые трупы. У людей не было сил хоронить близких.

К весне появился грузовик. Трупы погрузили и увезли куда-то на Пескаревку. Лишь после войны ему довелось там побывать. Он провел на мемориале почти весь день, бесцельно блуждая мимо ярко-зеленых квадратов братских могил, где лежали тысячи и тысячи его сверстников.

«Значит, мне повезло,— подумал он.— Могло быть все значительно хуже, уважаемый Борис Александрович. И ничего бы не было: ни этой весны, ни выпускного бала в Дзержинке, ни новеньких лейтенантских погон, осенивших со вчерашнего дня твои плечи». Они казались ему

своего рода пропуском в удивительный мир, к которому он шел все долгие годы. А теперь — все. Рубикон перейден, и — да здравствует море!..

Дома его ждали Виталий и Генка. Оба в отутюженных кителях, сверкавших лейтенантскими погонами. Оба со степенным видом людей, заслуженно произведенных по крайней мере в чин адмирала.

Виталька рассматривал «Огонек».

Генка сидел на подоконнике и разглядывал двор: серый угол глухой стены, прилепившиеся к ней сарайчики-пристройки.

— Наконец-то! — Генка соскочил на пол.— Где тебя черти носили? Мы тебя уже полчаса ждем.

— У нас, старик, новости. Пляши!

Борис недоуменно посмотрел на них. Какие могут быть после вчерашнего дня новости?

— Повезло тебе, Борька! Заходили сегодня в училище.

— И что же?

— А как же! Единственного с курса без дополнительной подготовки допустили прямо к самостоятельному несению службы.

— Ерунда. Несколько месяцев пролетят незаметно.

— Все это так. Но учеба, признаться, осточертела. Руки настоящего дела просят.

— Знаю, Генка, все понимаю. И если бы я изображал сейчас из себя равнодушного и спокойного джентльмена, ты бы все равно не поверил.

— Это точно... Скажи лучше, как у тебя с Нелей?

— Не знаю... Все как-то неопределенно.

— Вот тебе нà! Все думают, вы вот-вот поженитесь. И признаться, вчера на выпускном вы были парочкой блестящей. Мужики с нее глаз не сводили.

— Вот то-то и оно, что не сводили. Тебе не приходило в голову, что не всегда уютно с женой, с которой глаз не сводят?

— У тебя есть серьезные причины для беспокойства? Или какие-то подозрения?

— Так, общие соображения.

— Темнишь ты что-то, Борька, недоговариваешь...

— Тебе бы я сказал все. Но я сам еще не разобрался. А поеду на корабль не с очень легкой душой. Не уверен я в ней, понимаешь. Люблю — это точно. А вот чтобы

счастлив был — такого еще не было. Мучился, с ума сходил, ревновал... Но разве в этом счастье?

— А что такое счастье? — вдруг философски спросил Виталий.— Ты, Борис, хочешь быть спокойным, я-то уж тебя знаю. Впрочем, кому что нравится. Не-ет! Мне нужно жену, чтобы я по ней все время с ума сходил. Иначе вся эта преснятина скоро наскучит. А тогда... Тогда неизбежный конец.

— Если человек все время сходит с ума, он рано или поздно попадет в сумасшедший дом. А нам, между прочим, иногда и службу нести придется.— Борис помрачнел.— Знаешь, роковые женщины не для меня.

— И все же, как у тебя с Нелей?

— Пытался выяснить что к чему... Но разговора до конца, кажется, не получилось,—ушел от ответа Борис.— Мне кажется, она либо меня не понимает, либо не хочет понять.

— Запомни: женщины всегда все понимают. Не понимают они чего-либо только тогда, когда им это не выгодно.

— Тоже мне знаток нашелся! Насколько я знаю, ты, например, еще с восьмого класса дружишь с Валей. И больше ни с одной девчонкой не встречался.

— А зачем ему встречаться? У него все как дважды два — четыре. Вот закончит она пятый курс, они и поженятся. Правда, Виталий? А за то, что я прав, говорит весь опыт мировой истории.

— Ты похож сейчас на английского лорда, который сидит на мешке с шерстью.

— Какой шерстью?

— Картинка есть такая. В учебнике истории. Только ты еще больше напыжился.

Геннадий расхохотался и повернулся к Виталию:

— Ну, а ты, боцман, к какому берегу решил прибиться?

Виталий Гаврилин, белобрысый крепыш, прозванный боцманом за хрипловатый бас и показно-валкую, мучительно натренированную «морскую» походку, пребывал в состоянии глубокой прострации. Каждый месяц он влюблялся, и каждый раз «серьезно». Успехи его на сердечном поприще были бы феноменальными, если бы их финалом каждый раз не был «трагический конец». Виталькина доброта удивительно сочеталась с патологиче-

ской боязнью «бросить якорь не в той гавани». А ему почему-то везло на девиц, начинающих со второй встречи серьезно обсуждать проблемы их общего семейного быта. Виталька пасовал и смывался.

— Тебе, Борька, легко. У тебя все решено, все ясно. А у меня...

— Влюбился снова, что ли?

— Точно. Потрясающая девчина!

— Из университета?

— Нет, с Валей мы поссорились. Дина. Из медицинского.

— Так за чем же дело стало? Смотри, поедешь на службу холостяком...

— Все может быть... Все может быть...— Виталий рассеянно мял над пепельницей папиросу.— Понимаешь, Борька, как-то неуютно себя чувствуешь, когда тебя берут на абордаж... Боюсь я русалок с томными глазами. Потонешь. Мне бы чего-нибудь попроще.

— Что, опять тебя приглашали в загс?

— Не совсем. Но что-то около этого...

— Виталька, ты плохо кончишь. Когда-нибудь твои Вали и Дины объединятся, и ты будешь иметь бледный вид.

— Я же им ничего плохого не делаю.

— Молчи, несчастный! Ты виноват уже тем, что существуешь.

Борис подошел к этажерке, взял книгу.

— Был вчера на Литейном. Купил по случаю у букиниста. Послушай! Заголовок — как симфония: «Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны Регламент о управлении адмиралтейств и флотов».

Борис раскрыл книгу перед Виталием:

— Читай, несчастный: «Дан в Царском Селе августа 24 дня 1765 благополучного государствования Ея Императорского Величества четвертого года».

Виталий повертел в руках потертый рассыпающийся томик.

— На что тебе эта рухлядь?

— Рухлядь? Вы ленивы и нелюбопытны, сэр! А между тем Ея Императорское Величество изволила и о тебе высказаться.

— Треплись, треплись...

— А я серьезно. Тебе сколько лет?

— Двадцать два.

— Тогда точно про тебя. И про твоих Дин и Валь. Слушай и трепещи.— Борис раскрыл «Регламент»: «Пункт четвертый. О запрещении гардемаринам без указу жениться.— Запрещается гардемаринам без указу жениться, под штрафом три года быть в каторжной работе, а в Коллегии Адмиралтейской не позволять жениться ранее двадцати пяти лет, и чтоб о том было подлинное свидетельство, дабы в летах подставы и фальши не было...» Уразумел?! Мудрая была Екатерина Алексеевна. Понимала: женится такой боцман, как ты, а потом хлопот не оберешься.

— Да, строгая, судя по всему, была женщина. С таким «Регламентом» недолго и холостяком остаться.

— Ты уж останешься! Жди!

— А может быть, я «не создан для блаженства»?

— Какое уж там «блаженство». Тебе с твоим любвеобильным сердцем сидеть и сидеть на гауптвахте.

— Думаешь, жаловаться будут?

— Видишь, даже сейчас ты говоришь во множественном числе — «будут». Ты что же, на флоте гарем собираешься открыть?

Виталий тяжело вздохнул.

Борис усмехнулся.

— Ничего, Виталька, найдешь свою Полярную звезду. А на русалках жениться действительно боязно...

— Ладно, черт с ними, с девчатами. Главное — мы идем на море, Борька.

Пятнадцать человек
 на сундук мертвеца.
Ио-хо-хо, и в бочонке —
 ром,—

так, кажется, у Стивенсона? А голос у меня того... после вчерашнего... охрип.

— Еще бы! Вы с Виталькой заменяли целый ансамбль донских казаков.

— Каждый трудящийся имеет право на отдых. Тем более — на выпускном вечере, когда будущие адмиралы...

— Ишь куда хватил. В адмиралы ему захотелось...

— А что в этом особенного? Плох матрос, который не мечтает быть адмиралом. А то, что мы пока,— он подчеркнул это слово,— пока лейтенанты, еще ни о чем не говорит. Надо, Борька, знать историю. Линейным кораблем «Азов», например, командовал Лазарев. А боевое крещение на нем тогда же получили гардемарин Истомин, мичман Корнилов и лейтенант Нахимов. На бриге «Меркурий» дрался, да будет тебе известно, не адмирал Казарский, а капитан-лейтенант Казарский.

— Я как-то с этой точки зрения историю не учил. С точки зрения чинов и званий.

— А зря. Все это весьма поучительно и благотворно, прямо скажем, влияет на настроение. Начинаешь понимать, что не все так плохо, как кажется...

— Ребята, хватит трепаться,— взмолился Виталий.— Сходим в центр, что ли? Или на набережную. Надоело в четырех стенах сидеть.

— Пошли,— мгновенно согласился Генка.

— Вы идите, мне еще дома кое-что нужно сделать.

— Не темни, Борька. Скажи прямо: с Нелей встречаешься?

— Нет, братва... Действительно есть дела.

— Ну, как знаешь! Привет, адмирал! Пошли, Геннадий... Завтра увидимся.

Дел у него, собственно, не было никаких. Но бывает такая потребность побыть одному, собраться с мыслями.

Что-то случилось в его отношениях с Нелей. Отношениях, казавшихся ясными и безоблачными и вдруг превратившихся для него в нервотрепку, сомнения, головную боль. «Не хватает только коварного соперника,— с тоской подумал Борис,— а так, чем не мелодрама!»

Во всем этом нужно разобраться. Но когда? Ему осталось ходить по ленинградской земле четыре, от силы пять дней. Попробуй выяснить что-нибудь за этот срок, если за четыре года не выяснил.

Борис тяжело вздохнул, помрачнел.

Идти никуда не хотелось, и, бесцельно побродив по комнате, он снял со шкафа чемодан, набитый старыми тетрадями и блокнотами.

Сколько лет он не прикасался к ним. И улыбнулся,

читая строчки, которые дохнули вдруг далеким-далеким, уже настолько подернутым дымкой времени, что подробности сейчас были как странички не его, Бориса, а чьей-то чужой жизни.

«Дневник ученика 6 «В» класса 179 школы г. Ленинграда Смольнинского района Корчилова Бориса».

Интересно, чем он тогда занимался? Зоология — «Кровь и кровообращение». Русский язык — Упражнение 15. Немецкий — § 12. Самостоятельно читать и переводить. Рядом с графой «Немецкий» стояла пятерка и роспись учителя. История — «Византия в VIII—XI веках». Он перевернул несколько страниц. «Первое восстание в Сицилии».

Интересно, а что это за восстание? Надо же: учил и забыл! Он пытался вспомнить хоть что-нибудь из пройденного или читанного по этому поводу, но так ничего и не вспомнил.

Следующая тетрадь Дневника за девятый класс.

На первой страничке фамилии, имена и отчества преподавателей. Борис перечитывал строки и вспоминал всех их — добрых и строгих, рассерженных и смеющихся, ведущих урок и повстречавшихся на улице.

Русский язык и литература — Пасечник Анна Петровна. Алгебра, геометрия и тригонометрия — Платонова Нина Федоровна. История — Михайлова Мария Васильевна. География — Тюрикова Клавдия Васильевна. Основы дарвинизма — Ильина Зинаида Николаевна...

Оказывается, как много людей учило его уму-разуму! Он насчитал двенадцать фамилий. Двенадцать человек, которым он, Борис, портил нервы. А у них был не один он, Борис Корчилов: тридцать характеров, тридцать судеб.

Записи домашних заданий: «Отцы и дети», Чернышевский и Добролюбов, «Былое и думы», «Что делать?», «Кому на Руси жить хорошо»...

В ворохе тетрадей мелькнула коричневая обложка блокнота. А, вот где ты, старый знакомый! Борис с какой-то щемящей грустью прочел на обложке: «Блокнот секретаря комсомольской организации 179 школы Корчилова Бориса».

На зеленой бумаге — торопливые пометки фиолетовыми чернилами. Боже мой! Как давно, как бесконечно давно все это было!

Начало и конец. Вначале кажется, что между ними — огромный путь, но он пролетел незаметно, он уже позади, и круг замкнулся. Давно ли переступил порог училища, и вот, как далекое воспоминание («У него уже есть воспоминания!» — съязвила бы Неля), звучат строки записанного на первом курсе курсантского конспекта первой лекции.

Помнили ее все ребята — адмирал говорил, как поэму читал, и казался растроганным. Может быть, это волнение передалось тогда или дома хотелось похвастаться: «Смотрите, в какое училище я зачислен!», только первая лекция — Борис перелистывал тетрадь — записана обстоятельно и подробно, хотя многое в скорописи разбиралось с трудом:

«...Вы должны гордиться, что стали курсантами Высшего Военно-Морского Инженерного ордена Ленина училища имени Ф. Э. Дзержинского... Создано в 1798 году...»

Далее запись становилась совсем неразборчивой, и только на следующей странице почерк приобрел ясноразличимые очертания. Видимо, эти сведения пропускать не хотелось:

«...Гордостью училища являются выдающиеся ученые, инженеры-кораблестроители: И. Я. Осминин, создавший бриг «Меркурий», И. А. Амосов, построивший первый в России винтовой фрегат «Архимед», один из талантливейщих конструкторов надводных и подводных кораблей И. Г. Бубнов, построивший первую в мире подводную лодку «Дельфин», М. М. Окунев, В. И. Афанасьев, В. П. Костенко, академик Ю. А. Шиманский...»

Фамилии заполняли две страницы.

«...Много лет вел преподавательскую работу изобретатель радио А. Попов...»

«Более 50 питомцев стали адмиралами...»

Интересно, а кем будут лет через сорок они с Виталием и Генкой?

«Курсанты училища сражались против Юденича, подавляли мятежный Кронштадт...»

Какие бои и дороги выпадут на его, Бориса, поколение?

«За создание боевых кораблей и техники звания лауреатов Государственных премий до Великой Отечественной войны удостоены более 30 выпускников училища...»

А изобретут ли что-нибудь они? Ведь путь еще только

начинается. И опыта нет. И знаний для начала, может быть, и достаточно, а вот для того, чтобы двинуть боевую технику вперед?.. Нет, об этом мечтать еще рано.

Новая страница конспекта — иные имена. Их он знал и до училища. Только не предполагал, что и они вышли из стен теперь уже и его «альма матер»,— Каратаев, командир БЧ-5 у Фисановича, Николаенков...— сотни героев былой войны, воевавших в дни, когда он, Борис, гаснущими от голода глазами смотрел на блокадный Ленинград и мечтал быть таким, как Лунин.

Но самые длинные войны когда-то кончаются, и какие подвиги и громкие дела могут ждать его, Бориса Корчилова, в мирном море?.. Так, наверное, обычная служба. Впрочем, кто знает... Техника меняется стремительно, вводятся в строй невиданные корабли, и кто знает, что сулит завтра. В общем-то, все складывается неплохо. Училище окончено. Допустили сразу к самостоятельной службе. Так что нечего жаловаться на судьбу, Борис Александрович, лейтенант флота российского. Впереди — море. А это — самое главное...

2

Тревога — как приливы и отливы. Она крадется по земле, затаенная, как глухая злоба, лютеет на холодных ветрах, где-то неосязаемо носится в воздухе. Шелестит в выпусках вечерних газет. Рвется из приемников через синкопы джазов и благостное умиротворение рождественских мелодий. Ползет слухами, предсказаниями темных гадалок, пророчествами иссушенных годами и ненавистью джентльменов.

Ни днем ни ночью не оставляет она в покое души. Метущиеся. Сдавленные тоской и страхом. Оболваненные ложью и воинственными заклинаниями. Самая далекая глухомань прислушивается сегодня к напряженному эху морей и океанов.

Все изменилось в этом подлунном мире. Символы тишины и отрешенности от жестокой земной круговерти, обитель романтических легенд и тихих коралловых лагун, океаны стали зеркалом великого противостояния обществ, олицетворяющих вчерашний и завтрашний день планеты.

Разбитые на голубые квадраты пентагоновских карт,

они сами стали картами в большой игре, замешанной на сумасбродной идее мирового господства.

Картушки компасов вздрагивали и замирали от рева подземных и наземных шквалов, рожденных ядерными взрывами. Гордые атоллы опадали коралловой пылью в разверзшийся океан, и только через долгие годы сметенная жизнь осмеливалась тронуть зеленью оплавленные и отравленные радиацией берега.

Тревога бродит по планете. Вспарывают глубины стремительные тела ракет, идущих из-под воды на далекие пока учебные мишени, отстоящие от старта на тысячи километров. Вздрагивают гидроакустики от рева винтов громадных авианосцев, всегда торопящихся крейсеров, старающихся скрыть свой бег атомных подводных ракетоносцев и морских москитов, яд которых не менее смертелен, чем укус огромного хищника. Повидавший всякое, полюс ошеломленно затихает, пропуская в грохоте лопающихся льдов невиданные черные субмарины, стряхивающие с рубок тут же застывающие потоки. Расстояния умирают под крыльями гигантов авиации, несущих под плоскостями изготовившуюся к прыжку смерть. А ведь флот — только составная часть в формуле мощи государства, ее вооруженных сил.

Космонавты называли землю «прекраснейшей из планет». А она металась в ночах, прислушиваясь к неизвестно что сулящему ей гулу.

Белые ночи приходят в Ленинград внезапно. Правда, люди замечают, как с каждым днем все позднее начинаются сумерки. Но вот однажды, задержавшись у приятеля или возвращаясь поздно с дачи в воскресенье, они обнаруживают, что ночи, собственно, нет. Мягкая акварельная дымка делает невесомыми глыбы дворцов и башен, силуэт Петропавловки, кажется, парит над Невой, и Летний сад становится старинной литографией.

В такие ночи нетрудно представить себе Пушкина у Лебяжьей канавки, Ленина, идущего на конспиративную квартиру, крейсер «Киров», поднявший стволы в бледное блокадное небо.

Державные ночи Ленинграда. Застывшая музыка. Овеществленная легенда.

Тысячи раз проходил Борис этими улицами и площа-

дями, а только, может быть, сегодня чувствовал свою уже никогда не отключаемую сопричастность с ними. Привычка вдруг трансформировалась в грусть, и, хотя он знал, что придет сюда еще не раз и не два, ощущение того, что он уже перешагнул порог, не проходило.

Редкие парочки с любопытством разглядывали молоденького лейтенанта с пухлыми губами, словно поджидающего кого-то на набережной.

Сам по себе флотский лейтенант в Ленинграде — не редкость. «Дзержинка», училище Фрунзе выпускали в большое плавание будущих Нахимовых и Макаровых.

Во всяком случае, каждый, кто счастливо бросал украдкой взгляд на горевшие на погонах новенькие звездочки, в душе мечтал стать если уж не Макаровым, то, во всяком случае, командиром сто́ящего корабля. Большое море, хотя и были не одна и не две практики, для многих еще гремело не столько реальными штормами, сколько заманчивым гулом книжных баталий. Но это не мешало им чувствовать себя опытнейшими морскими волками, и, возможно, в этом и состоит счастье юности: смотреть на мир доверчиво и открыто. Если ты щедро даришь душу, то ожидаешь от людей и мира ответной волны доброжелательства.

Борис не был в этом смысле исключением...

Нелю он узнал издали, и, может быть, от всего этого волшебства, разлитого вокруг, от звучащей в его душе радости, она, знакомая ему до родинки на тонкой шее и каждой ресницы над всегда какими-то изумленными, влажными глазами,— она показалась ему красивой.

Только что, минуту назад, возникший в его голове и строго продуманный план серьезного разговора, кажется, опять полетит к черту. «Тряпка,— обругал себя Борис.— Вот так всегда. Таешь от одного ее приближения... Тряпка и ничтожный бесхарактерный человек... А еще, называется, моряк...»

Она перелетела горбатый мостик над Лизиной канавкой и привычно, словно отдавая дань необходимому, но не очень нужному, по ее мнению, ритуалу встречи, коснулась губами его щеки.

— Здравствуй!.. Давно меня ждешь?

— Не очень...— Он пытался взвинтить, обозлить себя.— Всего каких-то несчастных сорок минут. Ты, как всегда,— точна.

— Ну не сердись, пожалуйста!.. Пока одевалась, пока причесывалась...

— Все понятно...

— Борька, мы же договорились не дуться друг на друга по мелочам. Ты нарушаешь конвенцию... Куда пойдем?

— На набережную Шмидта. Если, конечно, не возражаешь...

Они долго молчали. Пока перешли Дворцовый мост и оказались около университета. Набережные казались пустынными. Днем люди спешат, мельтешат перед глазами. Сейчас редкие парочки были заняты сами собой, и тишина, необыкновенная тишина властвовала в городе. Был слышен даже плеск весел на лодке, медленно двигавшейся у противоположного берега.

— Значит, скоро расстанемся,— нарушила молчание Неля.— Грустно это, Борис. Мечтали быть вместе. А теперь? Мне же еще два года учиться...

Она говорила таким тоном, как будто прощалась.

— Разве два года так много? Люди ждут и дольше.— Он задумался.— Если, конечно, хотят дождаться.

— На что ты намекаешь?

— Ни на что. Тревожно, Нелька, мне как-то,— признался Борис.— С неспокойной душой уезжаю.

— Ревнуешь? — рассмеялась Неля.— Это хорошо. Значить, любишь. А насчет тех, кто дожидается, а кто нет,— это бабушка еще надвое сказала. Вот приедешь ты на Север, встретишь какую-нибудь полярную амазонку и меня — из памяти вон.

— Ерунда... Разве я от тебя раньше не уезжал?

— Уезжал. На практику. Так там, если и захочешь найти девушку, начальство не позволит. А теперь ты самостоятельный человек. Офицер. Тебе теперь все можно...

Борис насупился. Нет. Так опять серьезного разговора не получится. А сказать все, что он думает, надо.

— Я хочу с тобой поговорить серьезно. И прошу, чтобы ты меня правильно поняла. Без обиды. Все это очень сложно, но попытаюсь объяснить... Видишь ли, у людей — разные характеры. И естественно, разные чувства. Вроде бы я не имею права читать тебе нотации. Тем более спрашивать каких-либо отчетов. Ты мне не жена. Хотя, по моим понятиям, и замужняя женщина вправе строить свою жизнь так, как считает правильным.

— Не собираешься ли ты меня учить, как жить?
— Не собираюсь...
— Какое же ты имеешь право говорить мне все это?
— Только одно: я отношусь к тебе серьезно. А в серьезных делах не должно быть фальши. Так что все, что я собираюсь тебе сказать, в равной степени относится и ко мне. Вернее, к тому, как я понимаю все это...
— Скажи, пожалуйста! Корчилов стал философом. Что-то раньше я в тебе этого не замечала.
— Не ерничай. Можно хоть раз в жизни без идиотских смешков?
— Ого! Уже и идиотских. А не кажется ли тебе, что ты не очень-то выбираешь выражения?
— Послушай, я не хочу ссоры. Но мне нужно для самого себя и для тебя выяснить очень важные вещи.
— Что ж, давай. Это даже любопытно...
— Понимаешь, у нас не было откровенного разговора до конца. А он нужен. Мы с тобой знаем друг друга уже не один год. Но юношеская дружба и любовь — это все же разные вещи.
— Очень интересно. К чему ты клонишь?
— К одному. Я предлагаю тебе стать моей женой. Я люблю тебя.
— Странное объяснение в любви. С такими предисловиями!
— Я не был бы честен по отношению к тебе, да и к самому себе, если бы не высказал, как ты называешь, в этом «странном объяснении» все до конца. То, что я тебя люблю, сознайся, для тебя не было тайной. О таком догадываются.
— Ну, предположим...
— Не подумай, что я ревную, когда ты даешь надежду некоторым и другим ребятам во что-то верить...
— Почему тебе должно не нравиться, если я многим нравлюсь. Наоборот, этим можно гордиться.
— Не знаю. А ты не задумывалась, что в таком случае ты этого «кого-то» просто обманываешь? Когда человек серьезно любит, честно ли,— может быть, я прибегаю слишком к крепкому слову — плевать на это чувство. Не честнее ли прямо сказать ему о своем истинном отношении.
Неля поежилась.
— Странная у тебя философия, пустяки возводить в принцип. Да еще рассматривать с глобальных позиций.

— Не знаю, что лучше. По мне, философия честности всегда хороша. А если ее придерживаешься — требуешь честности и от других. По-моему, любовь — не разменная монета. Дело здесь не в подозрениях. Женщина может нравиться многим, но создать вокруг себя такую атмосферу, что любому станут ясны ее истинные отношения и к мужу, и к окружающим, и к тем, наконец, кому она нравится. И кроме самой женщины, этой атмосферы — сколько муж ни ревнует — никто не создаст. Короче, мне бы хотелось, я мечтал о таком, чтобы наша любовь не жила в атмосфере подозрительности. Ни с моей, ни с твоей, ни с чьей стороны.

— Значит, ревнуешь!

— Так ты ничего и не поняла. Или не хочешь понять. При чем же здесь ревность? Я просто поделился с тобой, как я представляю себе взаимоотношения людей, которые действительно любят друг друга.

— В той идиллической картинке, которую ты нарисовал, есть один существенный изъян...

— Какой?

— Так никогда не бывает в жизни.

— Не знаю. По-моему, бывает. Я знаю такие семьи. И их немало.

— Может быть, мне не повезло, но я таких семей что-то не встречала.

— Да какое нам, в конце концов, дело до каких-то семей! Речь идет о тебе и обо мне.

— Не знаю, Боря... Ничего не знаю. Боюсь, что ты хочешь чего-то неосуществимого...

Борис побледнел.

— Ну что же, тогда нам лучше по-человечески распрощаться. Я от своей, как ты ее назвала, философии отступать не собираюсь.

— Значит, не любишь.

— Это неправда. Потому, что люблю, и не отступаю. Иным я быть не могу. А мучиться, сомневаться... зачем это? Жизнь и так сложна. Тем более что я моряк. Мне и без того придется и тосковать в разлуке, и ждать... Если к этому добавить еще, что ты не будешь уверен в любимой, в самом себе, жизнь станет адом...

— Все-то у тебя расписано по полочкам. Скучный ты сегодня, Борис! Лучше поцелуй меня.

Он видел ее глаза, как два подернутых дымкой чер-

ных омута, чуть влажные губы и широкий разлет бровей, и вся только что стройно, как казалось ему, построенная философия летела к черту, не подчиняясь доводам разума и отходя на неосязаемо-далекий план, когда главным становились вот эти глаза и губы и это взбалмошное существо, без которого ему трудно было представить и самого себя и свою жизнь не только через год-два — через часы и минуты.

«Нет,— пронеслось в мозгу,— все-таки она любит меня. Иначе — зачем эти слова, и это волшебство над городом, и это звонкое ощущение счастливых перемен. А слова? Слова — пустота, дым в степи, который через секунду унесет ветер».

— Не провожай.— Она прижалась к нему.— Не провожай! Мне сейчас очень хорошо. И не говори больше ничего. Не надо... Мне нужно побыть одной.

— Но куда же ты? Сейчас же ночь.

— Шесть утра, милый.— Она взглянула на часы.— Транспорт уше пошел... Не грусти! — Неля нежно поцеловала его в губы и еще раз повторила: — Не грусти. Все будет хорошо. Все, все... Прощай!..

Она остановила летящее по пустынной ленте асфальта такси, и Борис, не успев опомниться, остался на набережной один.

Ему было хорошо и тревожно.

Город дымился голубым маревом. За углом звенел первый трамвай, а где-то у Горного института басовито поплыл над просыпающейся Невой гудок теплохода.

3

— Вот и вышли мы, Аркадий Петрович, в большой океан!

— Радуешься?

— Как будто ты не радуешься!.. Все-таки первый такой поход. В тридевятое царство, в тридесятое государство.

— Да, любопытными местами идем.— Командир лодки капитан третьего ранга Аркадий Петрович Михайловский и штурман склонились над картой.

— Знаменитые места.

— Еще бы,— Михайловский улыбнулся.— Вот здесь, на широте тридцать пять градусов северной, «гнилой

угол Атлантики». По далеко не полным подсчетам, здесь затонуло за последние четыреста лет две тысячи двести судов.

— Статистика — не на сон грядущий.

— В училище, говоря о полуострове Новая Шотландия, наш профессор заявлял: «Рассказывать о его прибрежных водах нет смысла: названия на карте говорят сами за себя: залив Обманутой Надежды, залив Отчаяния, скала Мертвого Моряка, риф Смерти, мыс Ошибки, мыс Страдания... А теперь, странно подумать,— Михайловский отодвинул транспортир в сторону,— мы все это изучаем, так сказать, «в подводной натуре».

— Освоим...

— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Я в этом смысле несколько суеверный... Для самодовольства у нас пока никаких оснований нет. А напороться на какую-нибудь неприятность здесь ничего не стоит. Вот, скажем, этот уголок океана. Ледники Гренландии, островов Канадского архипелага, Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа обильно поставляют сюда айсберги. Отсюда они подчас доходят до Азорских островов... Так что — зазевайся акустики — нам не сладко придется. Как ни говори, а работают ребята в этих условиях впервые... Пойдем пройдемся по лодке. А то на душе как-то неспокойно... Мало ли что...

— Пойдем. А все-таки, как бы то ни было, но задание мы выполнили. Можно сказать, с лупой облазили эти квадраты.

— Опять повторяю: не резвись раньше времени. Придем в базу, тогда будет время приятных воспоминаний... Пошли...

Люди привыкли видеть океан разливом голубой краски на карте. Для Михайловского и штурмана, прошедших Атлантику вдоль и поперек, мир глубин был предметным и осязаемым, как для геолога Саяны или горный Урал.

Сколько раз, затаив дыхание, Михайловский видел, как электронная аппаратура лодки вдруг делала истинные географические открытия: обнаруживала на дне океана неизвестные ранее людям пики и впадины, ущелья и долины.

Стоило ему закрыть глаза, и он мог почти зрительно представить себе необъятный в кораллах и зарослях

таинственный континентальный шельф, огромную подводную платформу, окаймляющую берега Северной Америки, Гренландии, Исландии, Европы и Африки.

Косяки невиданных рыб стелются по дну ущелий и каньонов, расселин и впадин.

Гигантской змеей извивается от Исландии к экватору огромный позвоночник океана — Средне-Атлантический хребет, прорезанный глубокими разломами и принимающий в свои отроги другие горные хребты и цепи.

Среднеокеанский каньон. Хребет Рейкьянес у Исландии, разлом Флемиш и подводный пик Майли, Североамериканская котловина и котловина Гаттераса, пик Крылова у островов Зеленого Мыса — все они были его добрыми знакомыми, и отраженные ими импульсы на экранах приборов — как приветы друзей из иного мира, которых уже знаешь и по имени, и по характеру, но никогда еще не видел лично.

Что касается характеров, то он мог поручиться, что знал их неплохо. И по «личным контактам», и по уточняемым в каждом новом походе картам и лоциям.

Знание подкреплялось историей, и для него совсем не отвлеченной картиной виделись строки морского историка о мелях, через которые он проходил: «Глубоко в песках здесь лежат остовы острогрудых судов норманнов, галионы «Непобедимой Армады», быстроходные пиратские бриги и бригантины XVIII века, английские фрегаты и барки, океанские лайнеры и транспорты. Мели не считались ни со временем, ни с размерами судов».

Он это понял уже хотя бы по тому, как мощное течение потащило здесь его лодку к поверхности, где гремел десятибалльный шторм. А ему нельзя было ни демаскироваться, ни уйти в глубину — мели они и есть мели, и потребовалось и мужество и филигранная работа всех, чтобы удержать корабль в могучих потоках на заданной глубине, не свернуть с курса и выйти точно на цель.

Акустики доложили о шуме винтов.

Лодка «слушала океан», не сбивая шорохи моря ревом собственных винтов и чутко отмечая по только гидроакустикам известным тонкостям все маневры проходящей где-то к югу эскадры.

Закрыв глаза, Михайловский почти представлял себе эти зеленые, клубящиеся вдалеке черной мглой глубины.

И жестокость холодного дыхания неизмеримой бездны, проносящейся сейчас под ними. И могучие винты, разрубающие чудовищную толщу воды, не могущую на этих глубинах раздаться пенными летящими в голубой простор бурунами.

Если бы не мощные шпангоуты, люди были бы немедленно раздавлены и смяты. Но что-то, видимо, неизмеримо большее, чем долг, заставляло человека создавать новую броню, способную защитить его от напора зеленой мглы, и снова и снова штурмовать море, год от году отвоевывая у океана новые сотни таинственных и неизведанных метров.

Как у космонавтов где-то кончается голубизна и они видят уже только черную даль Вселенной, так и для подводников призрачно-зеленое в верхних слоях море теряло на определенном рубеже даже намек на оттенки. Цветовая гамма сжималась в один цвет — черный.

— Что же, Аркадий Петрович, с тебя приходится! — Петелин обнял Михайловского.

— За что?

— Ладно, ладно, скромничать. Небось уже раззвонили!..

— Честное слово, я ничего не знаю.

— Не знаешь?

— Нет, товарищ адмирал.

Тот открыл папку и вынул телеграмму:

— Ну, ежели не знаешь — читай.

Да, телеграмма ему, Михайловскому. И чем дальше он вчитывался в строки, тем все более казалось ему, что все это адресовано кому-то другому, а не ему — настолько высока была оценка сделанного ими в этом действительно сложном походе:

«...Поздравляю Вас и личный состав корабля с успешным окончанием дальнего похода в Атлантический океан, в течение которого в сложных условиях длительного плавания личный состав проявил высокое мужество и замечательную выучку, тем самым обеспечив выполнение важного задания.

Опыт Вашего плавания послужит ценным вкладом в дальнейшее развитие и совершенствование советского подводного флота.

Одновременно поздравляю Вас, тов. Михайловский, с присвоением воинского звания...

Главком».

Глава IV

ЛЕЙТЕНАНТ КОРЧИЛОВ

1

Вся романтика, о которой Борис столько был наслышан и которую весьма смутно представлял по чужим рассказам, вся эта книжная романтика полетела к черту. Голова ныла от многочасового напряжения. В ушах звоном отдавались тугие маленькие молоточки. Веки отяжелели, хотя спать не хотелось.

Может быть, так только вначале. Потом полегчает. Спросить кого-нибудь об этом? Нет, пожалуй, нельзя. Еще подумают, что раскис вконец — тоже мне подводник. Нужно проверить самому. Другие же привыкают. Чем он хуже?

За ужином он лениво поковырял вилкой в лангете, залпом выпил кофе и сок. Ни читать, ни смотреть кино не хотелось.

Растянувшись на койке, он пытался вспомнить что-нибудь приятное. Но ничего не получалось: молоточки монотонно били по черепу и непривычная обстановка мешала сосредоточиться.

Мысли невольно возвращали его туда — в реакторный отсек. Конечно, это все проверено, и не один раз. Но, наверное, нужна привычка и определенная психологическая тренировка, чтобы приучить себя если не равнодушно, то обыденно, спокойно относиться к соседству вещества, которое в одних соотношениях и ситуациях способно разнести целые города, а здесь, смиренное людьми, послушно работает на турбины корабля.

Да и не только к этому нужно было себя приучить. От ребят он уже слышал, что их подводные «командировки» растягиваются на месяцы и что за это время они ни разу не видят белого света: лодка не всплывает, чтобы не обнаружить себя. И грусть возрастает до чудовищных размеров, и люди теряют аппетит, и приходит тоска.

Как он все это выдержит? И выдержит ли вообще? Да, такое не лекции в училище. И даже не практика. Хотя с непривычки и на ней с ребят сходило по семь потов...

«Здравствуй, дорогая мама!

Шлю тебе горячий привет. Все в порядке, жив, здоров, чувствую себя хорошо.

Из Ленинграда мы выехали в 13.32 и прибыли в Мурманск в 12 часов 1 августа. Я устроился на багажной полке и там спал две ночи. Днем спал мало, больше любовался природой.

В Карелии почти одни болота и озера, редкие низкие леса. В Хибинах есть очень красивые места: горы, озера, сопки, покрытые лесом. Погода здесь стоит для этих мест очень хорошая — 12—14° С...

Второй день я уже на корабле. Все устроились. Скоро, наверное, уйдем из базы, но в конце будущего месяца опять придем домой. Передай прилагаемый конверт Неле.

Буду ждать письма от тебя и от нее. Целую тебя крепко, всем привет. Борис».

«Нелька, родная моя!

Как говорят, во первых строках моего письма уведомляю тебя, что очень тебя люблю и очень скучаю.

Все время стоит перед глазами та ночь на набережной. И твои слова. И твой голос. Ничего я не забыл — ни самой малости. А ты?

Получила ли ты мое письмо, которое я просил маму тебе передать. Там все сказано. Во всяком случае — самое главное: я тебя жду. Я мечтаю о том дне и часе, когда ты станешь моей женой.

От тебя пока — ни строки, и, как ты понимаешь, настроение от этого не улучшается.

Напиши мне все в подробностях. Каждая твоя мелочь меня интересует: как учеба, что читаешь, как проводишь время. И главное — не забыла ли.

У меня особых новостей нет, если не считать, что был в дальнем походе.

Только теперь я понял по-настоящему, какое это счастье быть моряком. Да еще и подводником. На книжную

романтику вся наша жизнь не похожа. Но она в тысячу раз интереснее любых книг.

Корабли у нас — чудо. Ребята — замечательные. Если бы я еще получил письмо от тебя, то мог бы с полным правом сказать, что я счастлив.

Нежно целую тебя. Борис».

«Дорогая мама!

Твое письмо только сегодня попало ко мне в руки. Его уже хотели отправить назад. Меня еще не все здесь знают. А мы были в море. Теперь все уладил, все будет с письмами в порядке.

Почти все время находимся в море. Погода паршивая. Часто моросит дождь. Температура 8—10° С, так что не холодно. На берег еще ни разу не ходил, но после следующего похода обязательно побываю в Североморске. Вокруг сопки и море. Очень красивые места.

Ты сейчас самое главное — это береги здоровье. Не утомляй себя.

Письмо от Нели обязательно перешли мне поскорее. Это очень важно! Пошли его заказным.

Мама, ты ничего не пишешь, как у тебя дела с работой. Найди все же полегче себе работу и не ограничивайся только одними разговорами. Я тебе все же советую перейти работать в клинику на Греческом проспекте. Там работа много легче.

Живу я в каюте на четыре человека с очень хорошими ребятами.

Мама, купи, пожалуйста, мне в магазине технической книги на Литейном (угол Невского) книги: «Физика и расчет ядерных реакторов», «Основы теории ядерных реакторов», «Физика ядерных реакторов» и «Регулирование энергетических ядерных реакторов»...

Целую Борис».

2

Герман прилетел к вечеру.

Отряхивая на лестнице снег, облепивший его куртку, он чертыхался:

— Стоило тащиться к тебе с Диксона! У нас вчера,

можно сказать, курортная погода была по сравнению с вашей, московской...

— Ну, тебе не привыкать, старина...

— Не привыкать... Могли бы и получше встретить... Чертыхался Герман для виду. Встрече он был рад: не виделись они с Анатолием года три.

И для Анатолия он был Германом — таким же молодым, стремительным и неистощимым на выдумки, как и в те, кажущиеся недавними, времена, когда они сидели за одной партой первой мужской школы Мурманска и мучительно вспоминали, перед тем как войдет учительница литературы Мария Ивановна, фамилию генерала, за которого изволила выйти замуж Татьяна Ларина.

Для других они уже были Германом Дмитриевичем Бурковым, известным полярным капитаном, и Анатолием Сергеевичем Сергеевым, журналистом «Комсомольской правды».

Есть на Беломорье старинное русское село Патракеевка. Словно вышедшее из сказок, словно олицетворение России. У самого синего моря. Таинственно шумят вокруг вековечные леса, и уже обмелевшая речка Мудьюга несет прозрачные родниковые воды в Белое море. На песчаных косах и обрывистых берегах, как и сто лет назад, бродят по вечерам гармони, а в туманном мареве холодными огоньками салютуют суда.

Мудьюг — не просто старина. Остров Мудьюг — остров смерти, каторжная тюрьма времен интервенции.

Патракеевку хорошо знают на русском флоте. Отсюда пошли династии известных капитанов Бурковых, Капытовых, Антуфьевых и других. Задолго до революции славилась Патракеевка замечательными умельцами, смело бросавшими вызов морю. Со всех поморских сел съезжались сюда на учебу юноши. Как Ломоносов, шли они девственными лесами, в непогоду и вьюгу, чтобы через несколько лет повести в море шхуны и рыбацкие ладьи. Патракеевка была для беломорцев своего рода морским университетом. Здесь они получали штурманское образование.

У Германа Буркова по отцу и матери было два деда. Оба жили в Патракеевке. Один — Афанасий Бурков — корабельный мастер. Второй — Николай Железняков — капитан. Отец Германа тоже стал капитаном. Сын пошел по стопам отца. Долгие годы Анатолию и Герману не

удавалось свидеться. Сергеев знал, что друг плавал на «Карамзине», «Селенге», «Мсте». Исколесил весь земной шар и всю Арктику. Писал Герман редко. На штемпелях стояли названия незнакомых городов Кубы, Канады, Африки, Америки. Но чаще всего он давал о себе знать из Арктики: давно замечено, она излечивает самых ленивых на письма.

Как-то Сергеев услышал о нем разговор в ЦК комсомола. Моряки с «Мсты», которой командовал Герка, в несусветный шторм спасали гибнущие суда. На расспросы при встрече он отмахнулся: «А, была там небольшая заварушка»... Подробности Анатолий узнал из газет. Через два года из них же — о новом ордене, которым наградили друга.

Пока Герка обогревался, они молчали, словно прислушиваясь к ударам ледяной крупы о промерзшее окно.

— Ты кого-нибудь видел из наших?

— Многих. Ты думаешь, я в Арктике, так снегом зарос...

— Кого?

— Вадима Ломакина. В Мурманске. Работает на телевидении. Пишет повесть.

— А Савва Кровицкий?

— Во-первых, он не Савва, а Савелий Александрович. Известный в Мурманске лектор и общественный деятель...

— Так уж и деятель?!

— А что — заместитель директора педагогического института. Долгое время плавал. Принимал в море у рыбаков экзамены.

Анатолий пытался представить себе близорукого Савку на качающейся палубе сейнера и никак не мог.

— Вот тебе и на...

— Вот так. А знаешь где Беляев?

— Как в воду канул. Кого не расспрашивал, все руками разводят.

— Строит электростанции в Сибири. Инженер.

— А Саша Свиридов?

— Секретарь Мурманского горкома партии... Так расхваливал мне город, как будто я не мурманчанин, а заезжий турист.

— Значит, многие из наших после вуза осели на Севере.

Герка помолчал.

— Северу нельзя изменить. От него можно уехать, а он все равно будет в тебе. Ты же сам каждый год при случае удираешь туда... Север — это же не только льды или сияние... Вот я уже сколько стран излазил, а поживешь — опять домой тянет. В людях, наверное, все дело... А может, еще в чем...

— Над чем это ты голову ломаешь? — вдруг спросил Герман, увидев на столе груды книг по истории флота и подробную карту Балтики.

— Понимаешь, какая интересная история. Водолазы обнаружили на грунте подводную лодку, затонувшую в годы войны. Весной ее собираются поднимать. Есть надежда попасть в экспедицию. О погибшем экипаже пока ничего не удалось узнать. Перерыл архивы, вот сейчас смотрю книги. Самые общие сведения — не боле... Представляешь, вдруг на лодке что-нибудь сохранилось. Вахтенный журнал, дневники, письма...

— Вряд ли. По-моему, зря угробишь лето. Во-первых, еще неизвестно, удастся поднять лодку или нет. Во-вторых, в ней вряд ли что сохранилось. Двадцать пять лет не шутка... Да и потом — морская вода...

— Скучный ты человек, Герка. Я мог бы тебе привести тысячу историй. О том, например, как нашли в море бутылку с запиской, раскрывшей тайну исчезновения в океане судна «Президент». О поисках легендарного «Черного принца». О находках подводных экспедиций в Карибском море. О подъеме капитанского сейфа с затонувшего корабля «Египет»... И все это — не выдумки. Сегодняшний день... Да о чем тут говорить! Зайди в Музей Арктики и Антарктики на улице Марата в Ленинграде. Его витрины набиты документами, письмами и вещами, найденными через много лет после гибели или таинственного исчезновения экспедиций, которым они принадлежали...

Герка улыбнулся:

— Ну что ты раскричался?.. Разве я против?! Наоборот, все это очень нужно и интересно. Дай бог!.. Я и сам бы с удовольствием принял участие в такой экспедиции.

— За чем же дело стало? Махнем вместе.

— Не могу. Летом мне нужно быть на Диксоне. В штабе ледовой проводки.

— Жаль... Опять мы с тобой на год-два расстанемся.

— А ты прилетай ко мне на Диксон.

— А экспедиция?

— Ну не в этот год, так на следующий...

— На следующий я и сам к тебе собирался...

Засыпая в ту ночь, Анатолий не знал, что судьба рассудит иначе и что совсем скоро он окажется в Геркиных краях.

Но в связи с совсем другими обстоятельствами и делами.

На другой день Анатолий потащил Германа к знакомому художнику: «Тебе нужно обязательно посмотреть его работы. Они по твоей части. Даже консультантом можешь стать. И вообще, мне кажется, вы подружитесь... Родственные души...»

Герман был абсолютно свободен, а потому сопротивлялся не долго — только из приличия.

По старинным московским переулкам мела поземка. Колючие иглы забивались за воротник, били в глаза. Они видели, как человек в заснеженном пальто шел по улице, потом остановился у дома, рассматривая его номер. Когда они подошли, спросил:

— Вы не знаете, где здесь мастерская художника Маркелова?

— Мы как раз туда же. Можем вас проводить.

Когда поднимались по лестнице, Анатолий незаметно рассматривал их спутника. Лицо что-то вроде знакомое. Старался вспомнить — не получилось. «Наверное, художник... Или полярник»,— решил Сергеев. Давно зная Маркелова, он не мог предположить что-нибудь другое. В мастерскую этого человека, беспредельно влюбленного в море, флот и Арктику, всегда заглядывали на огонек то радист с дальней зимовки, то геолог с Таймыра, то известный полярный капитан, то военный моряк с Севера.

Долгие разговоры шли здесь до утра. В них снова оживали подвиг «Сибирякова», эпопея челюскинцев, легендарная атака Лунина, походы «Персея» и «Таймыра». Словно распахивались окна в мир легенды, запечатленной на холстах и гравюрах, висящих на стенах. И тогда раздавалось неизменное: «А ты помнишь, как на Новой Земле?..»

Или: «А здорово прошел тогда «Шокальский»!..»

Маркелов писал под ветрами всех широт, и даже на-

звания его работ звучат для людей, влюбленных в море и Север, как музыка: «Шторм, Гренландское море. Остров Ден-Матен», «Советский рудник. Баренцбург. Шпицберген», «Зима наступила. Экспедиция на ледокольном корабле «Таймыр», «Белая радуга. Море Баренца».

Более всех людей на свете Маркелов почитал полярных капитанов. Они были поэтами Арктики и считали, что в нее должны ходить не только моряки, ученые, но и художники. Поэтому первое место в шлюпке, которая отваливала к новому берегу, отдавалось Маркелову. Так поступал прославленный полярный капитан «Таймыра» Иван Федорович Кацов. Так делал командир «Персея». Так вел себя Сомов.

Когда бунтовали недовольные, им отвечали: «Все, что он нарисует, будет документом. Таким же, как карта. Арктике нужны люди, а его рисунки будут агитировать за нее. Кроме того, вы еще успеете все обегать, а ему нужно время».

Он понимал это: полярники дарили часы и минуты не ему, Маркелову, а искусству. И работал как зверь...

Позднее он шутил: «Кент по сравнению со мной — бедняк. У него только шлюп. У меня весь арктический флот и первое место в шлюпке».

Впрочем, в иронии было и серьезное: однажды капитан «Таймыра» два часа водил судно вокруг острова, чтобы художник успел написать бухту. «Это тоже, кстати, входит в понятие «советское искусство»,— бурчал Маркелов.

Каждому, кто приходил в его мастерскую, Маркелов зачитывал слова Кента из книги «Это я, господи»: «Ни дома, ни в других странах, куда меня заносила судьба, нигде мне не было так легко, так удобно заниматься живописью, как в Гренландии... Чудесный, несказанно прекрасный мир, и из глубины нашей взволнованной души вырывается восклицание: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» И пусть теперь наши мысли воплотятся на полотне с помощью красок и кисти». С Кентом он переписывался...

Но кто же их попутчик? Когда в передней он снял пальто, Сергеев увидел Звезду Героя и вице-адмиральские погоны.

Ну да, конечно же, это он... Как только Анатолий сразу не догадался. А еще журналист. Он видел

это лицо на снимках. Только под фотографиями не стояло тогда фамилии. Ее заменяла довольно абстрактная подпись: «Скоро командир даст команду к погружению...»

Адмирал представился Маркелову:

— Оказался случаем в Москве. Наслышан о вас. Захотелось все посмотреть самому. Будем знакомы — Сорокин Анатолий Иванович.

— Прошу! — Маркелов умел приглашать по-королевски. Ему не хватало только плаща и шпаги, чтобы стать двойником какого-нибудь знатного испанского гранда.

Как всегда, в мастерской царил бедлам.

Адмирал как-то незаметно стал «своим»: его перестали стесняться. Он долго стоял у полотна.

— «Щука»?

— Да. Это из тех времен...

— Вам бы атомные посмотреть. Когда они всплывают, скажем, у полюса... Вот где «побежденная Арктика»!..

— Кто знает, может быть, и посмотрю.— Маркелов было приосанился, а потом сник.— Правда, годы уже не те, но в Арктике всегда чувствуешь себя молодым... Это больше, чем страна,— Арктика! Это — и молодость, и мечта, и любовь...

Сорокин задумался.

— Я не предполагал, что у вас там такие крепкие корни... Не предполагал, хотя картины ваши...

— Как видите.— Маркелов смутился.— А впрочем, зачем скрывать. Я ее действительно люблю, Арктику...

— А вы как, молодой человек? — неожиданно спросил он Германа.

— Не знаю. Я об этом не думал. Но скучать скучал.

— Вот видите! — Маркелов обрадовался.—Нас мало, но мы...

— В ледяшках,— рассмеялся Сорокин.

А мастерская между тем наполнялась. Новые люди прибывали и прибывали. К полуночи со стены сняли гитару. И словно расступались стены, мансарда стала рубкой корабля, и снег за окном, казалось, падал уже не на московские дворики, а на скованную ледяным панцирем далекую Северную Землю.

Летчик смотрел на полотно, где в неистовом вихре смешались земля и небо, и тихо-тихо выводил:

Песчинки, брошенные в воду,—
Зимовки старые дома,
И нет над Диксоном погоды,
И, значит, кончилась зима.
И снова солнца слабый запах,
И — тишина, и — тишина,
И молча льды идут на запад —
Опять на Диксоне весна...
Как долго писем нет от друга!..
Морзянка мечется в тоске.
Приносит только ветер с юга
Тепло от тех, кто вдалеке...

Герка слышал эту песню на Диксоне и Новой Земле... И вот она забрела сюда, на тихую улицу... Странные бывают встречи. Как подарок. Хорошо, что он пошел с Анатолием. Любопытный народ. И художник, кажется, интересный.

Сорокина украл Сергеев. Примостившись за маленьким столиком с красками, они шептались, как заговорщики.

До Германа донеслось:

— Я человек дела, Анатолий Иванович.— Сергеев сидел раскрасневшийся. Глаза у него блестели.— Дважды вам меня приглашать не придется.

— Посмотрим,— улыбнулся Сорокин.— Я от вас не могу скрыть и другого. Пробиться к нам вам будет нелегко. Это,— он развел руками,— не в моей власти...

В ту ночь они долго бродили по завьюженной Москве, когда потоки косого снега ослепительными блестками вспыхивали в огне реклам, а звезды кремлевские пламенели, казалось, в самом небе — силуэты башен скрадывала снежная пелена.

Анатолию подумалось вдруг, что жизнь человека, особенно журналиста, в сущности, может круто измениться, пойти по иному руслу из-за сущей, казалось бы, ерунды: случайная встреча, разговор, происшествие — и вот уже все прежние намерения и планы летят к черту и тебя начинают волновать проблемы и вещи, которых вроде бы вчера ты еще и не думал касаться.

Но так только кажется. Если сердце твое глухо к морю, даже сотня бесед с моряками не вызовет в нем отклика. Анатолий не догадывался, что встреча, переворачивающая жизнь,— это как долгожданная земля после долгого плавания. Сам того не зная, ты живешь ощущением встречи, вся твоя предшествующая жизнь — под-

готовка к ней, и нравственный ход вещей таков, что достаточно искры, чтобы произошел взрыв.

Не состоись встреча с Сорокиным, была бы встреча с Ивановым или Петровым. Но она была бы обязательно. Потому что и белые ночи над Мурманском, и письма ребят из Атлантики, которые он получал, и морские книги отца, сопровождающие его всю жизнь, и щемящее чувство счастья, приходящее всякий раз, как он оказывался на берегу моря,— все это были и причины и симптомы неизлечимой болезни любви к морю и флоту. Все это постепенно и незаметно отпластовывалось в душе, чтобы однажды, получив неожиданный толчок, вылиться в иной ход обстоятельств, переводящих его любовь из созерцательной восхищенности в сферу реального действия и поиска.

Это и называется «найти себя», хотя счастье таких открытий встречается далеко не каждому: мало ли мы знаем аккуратных экономистов, которые, прояви они больше упорства, стали бы окрыленными геологами, или весьма благополучных инженеров, где-то втайне от самих себя похоронивших мечту о высоком небе.

Анатолий знал: на встречу пойдет. В «Комсомолке», где он работал, не принято возвращаться с пустыми руками. Чего бы это ни стоило.

Таковы были традиции. Освященные подвижничеством тех, кого уже нет среди нас и чьи имена, выбитые золотом на мраморе в Голубом зале редакции. Эти люди горели в танках, прыгали с парашютом в гитлеровский тыл, гибли на подводных лодках, обмораживались, пробирались на легких фанерных самолетах в самую глубь Арктики, не спали по трое, пятеро суток, когда уходили к звездам космонавты.

Измученные и ободранные, возвращались они в редакцию на улицу Правды, но предложи им другую — спокойную, тихую жизнь — они посмотрели бы на вас, как на бесконечно унылого человека.

Трое суток не спать,
Трое суток шагать
Ради нескольких строчек в газете.
Если б снова начать,
Я бы выбрал опять
Беспокойные хлопоты эти.

Такое было их верой, их сердцем, их любовью. До последнего часа, ибо настоящий газетчик, кем бы ни стал он впоследствии — писателем, дипломатом, ученым, как первую любовь, сохранит в душе годы, когда он каждый час, каждую минуту чувствовал тревожный пульс планеты. Когда слоистый дым стлался после бессонных ночей над редакционным столом, а твой очерк пах еще неостывшей типографской краской. Когда ты видел под крылом самолета сегодня Таймыр, а завтра Курильскую гряду. Когда под грохот перекрывающих Енисей самосвалов ты простуженным голосом орал в телефон редакционной стенографистке:

«Река поворачивает! Река поворачивает в новое русло!»

И был также счастлив, как те, сидящие за рулем машин. И сколько бы ни прошло лет, будет тревожить тебя по ночам гул ротационных машин, ни с чем не сравнимое счастье первого читателя завтрашнего номера газеты и эхо далеких городов и сел, услышавших твой голос...

3

Корчилов с трудом открыл глаза и посмотрел на часы. Слава богу, до вахты еще час. Нырнуть обратно под одеяло? Нет, пожалуй, все равно не поспишь. Он тронул колючий подбородок — надо бриться.

Зевнув и потянувшись, вскочил. Несколько энергичных приседаний — и сон прошел.

Взбивая пену в металлическом стаканчике, он посмотрел в зеркало и недовольно поморщился. «Мальчишка мальчишкой! Какая там «решительность в складках губ». Пухлые у него губы. Как у девчонки. И чего это я себя рассматриваю,— вдруг рассердился на самого себя.— Что я — красная девица?»

Вода была чуть теплой, и бритва больно драла кожу.

Он уже несколько раз ловил себя на том, что как бы наблюдает себя со стороны. Где-то втайне ему, признаться, очень хотелось походить на тех мужественных и обветренных людей, которых он с детства знал по многочисленным снимкам,— на Колышкина, Видяева, Гаджиева...

Но где там! Сколько еще лет должно пройти, прежде чем жизнь и море обомнут юношескую свежесть и мальчишка хоть в чем-то станет похожим на бывалого, видавшего виды моряка. Правда, особо огорчаться вроде бы было не из-за чего. Большинство в команде — его сверстники. Или чуть постарше. И на просоленных морем опытных волков тоже не смахивают. Но все же...

Борис вытер лицо полотенцем и тяжело вздохнул.

Надо было идти завтракать. А потом — долгая и совсем не легкая вахта...

«Дорогая мама!.. Опять я долго не писал. Много приходится и работать и учиться. Не было времени даже для того, чтобы черкнуть пару слов. А предыдущее письмо, я не знаю почему, ты не получила. Я писал его числа 26—28 октября. Я очень, мама, благодарен тебе за посылку. Яблоки были очень вкусные, все наши ребята остались довольны. Ты даже не забыла положить вафли, зная, что я их люблю. Все мне понравилось. Больше мне ничего не присылай. Разве что найдешь те книги, которые я просил тебя купить.

У меня все по-старому. Работаю очень много. Занимаюсь. Осваиваю специальность. По воскресеньям иногда хожу на лыжах по сопкам. Шею еще не сломал, здоровье в норме.

В отпуск меня, как самого молодого офицера, записали на ноябрь — декабрь. Так что встретимся. На днях вышлю тебе деньги. Кроме обычных — специально на новогодний подарок. Я купил бы что-нибудь, но лучше выбери сама на свой вкус.

Поздравлять меня с женитьбой не надо. Она откладывается. Мы сейчас с Нелей поссорились. Она никак не хочет понять, что я здесь сейчас не в бирюльки играю и что я себе не хозяин и не могу отлучаться, когда мне это заблагорассудится. Но со временем, думаю, она все поймет. В принципе же она хорошая. Я на день-два съезжу к ней для «уточнения обстановки».

Мама, береги себя, переходи на работу полегче. С финансами я тебе помогу. В отпуск на следующий год записывайся на август — сентябрь. Поедешь на юг. Там в это время должно быть хорошо. Отдохнешь, покушаешь фруктов.

На Новый год сделай дома небольшую елочку, чтобы чувствовать праздник. Мы тоже у себя в каюте поставим что-нибудь изображающее елочку. И достойно отметим праздник. Все ребята наши — холостяки.

Погода у нас в основном мягкая. Иногда бывает довольно холодно. Но мороз держится недолго.

В прошлое воскресенье я ходил кататься на лыжах. Вода, в смысле море, у нас не замерзает — теплое течение Гольфстрим. Часто бывает северное сияние. Акклиматизировался я нормально. Погода здесь зимой еще лучше, чем в Ленинграде. Только бывают сильные снежные заряды. Белых медведей я не видел. Видел только заячьи следы. В общем, мама, у меня пока все хорошо...»

4

В народе их зовут «моря́чки»...

Талисманы не отводят злых духов. Телепатия, рок, передача мыслей на расстоянии сгорели, как бабочки в огне, проверенные судом науки. А самые совершенные кибернетические машины не в состоянии запрограммировать то состояние души, которое вопреки самым категорическим заключениям Эйнштейна, Бора и Курчатова все же обладает таинственным свойством: трансформируется, как луч лазера, через тысячи миль. Высекает ответную волну чувств. «Цепь» работает. Как ее ни назови — фантастикой, идеализмом,— передача не прекратится. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

Прием нечеток. Сигналы доходят лишь в виде общих туманных знаков, но смысл их понимается безошибочно. И тогда человек неожиданно преображается. На угрюмых лицах появляются улыбки. Штурвал веселее ходит в руках. Быстрее кажется ход корабля.

Случается, передача затухает или исчезает совсем. Тогда появляются боль и то, что люди называют предчувствием или тоской.

Хороший командир и замполит отлично читают эти «кибернетические» схемы и вовремя находят поломку. Хотя эти схемы посложнее электронных и реакторных.

Плох тот замполит, который вовремя не заметит, как вспыхнут на линии сигналы: «Тревога!» Вконец захандривший подводник — да разве только подводник! — можно ли на такого положиться? Не допустит ли он

по рассеянности роковой ошибки? Невнимательность на лодке — слишком дорого может обойтись она людям.

У замполита появились заботы. Таясь ото всех, обходит он с комсоргом перед походом квартиры подводников. В руках у них чемоданчики.

Здесь запишет голос сына трюмного. Там — поздравление жены механика: в походе ему «стукнет» двадцать пять. В третьей пятилетняя дочь торпедиста, волнуясь и запинаясь, прочтет «дядям» стихи о коварном Сером Волке...

Столь же таинственно их возвращение на лодку. Чемоданчики прячутся в надежное, скрытое от глаз непосвященных место. Они — самое секретное оружие замполита. Самое действенное и безотказное.

И когда где-нибудь у пролива Дрейка или у полюса после вахты торпедист вдруг услышит по корабельной трансляции: «Папочка-а-а! Мы тебя любим и ждем... Сейчас я прочту тебе стихи...» — когда человек, намертво истосковавшийся по дому, вдруг услышит такое, расстояния становятся относительными, а «запас прочности» как будто и не расходовался за месяцы похода.

Когда в динамиках появляются голоса жен, люди замолкают. Не перебрасываются шутками. Это — свято...

Трансляция — не вечна. Но эхо этих голосов не гаснет в отсеках. Ни сразу. Ни через сутки. Никто не в силах прервать непрекращающийся разговор, начатый при всех и продолжающийся теперь уже в тишине кают...

По всей планете на закованных в лед арктических островах и на раскаленных мысах далеких южных морей, на серых утесах Атлантики и белых атоллах Тихого океана стоят памятники тем, кто уходил навстречу штормам и неизвестности.

Но еще нигде нет памятника Женщине, которая ждала.

Ждала, когда сходила с ума от неизвестности и тоски. Когда годами не приходили письма. Когда после всех мыслимых сроков в черных портовых и штабных книгах появлялись безнадежные строки: «Пропали без вести».

Она не верила ни официальным сообщениям, ни очевидцам, ни рассказам сердобольных спасшихся друзей. Упрямое «а вдруг...» не могло, вопреки всякой логике

разума, умереть в ее сердце. Ее веру называли «слепой», бессмысленной, но в ней часто оказывалось больше зоркости и смысла, чем у людей самых рассудительных.

Чувство, ни на чем не основанное, кроме любви. Что из того, что кругом простирался огромный мир, с тысячами, миллионами прекрасных людей, мелодий, красок. Что этот мир манил, звал, требовал дани: молодость не возвращается, и каждый прожитый день — часть отпущенного тебе короткого века. Для нее Вселенная замыкалась на одном человеке, и что толку от тысяч галактик, если все они — мертвые, холодные звезды. А та, единственно теплая голубая звезда, может быть, все-таки назло всему еще сверкнет из тумана.

Скольких спасло от гибели, беды, душевного надлома такое ожидание. Недоступное пониманию унылых скептиков, нищих, источенных, как старое корабельное дерево, душ. Человек, находящийся на грани отчаяния, не раз находил силы в чувстве, поднявшемся в эти мгновения из глубин, сверкнувшем ослепительно-ярко, как молния в ночи. Полузабытые ласки, блеск радуги на ресницах, теплота губ на рассвете, шелест колдовских слов под июльским ливнем, слезы, как удар ножа, и улыбка, как музыка. Тысячи граней Ее, трансформирующихся вдруг в отчаянную решимость выжить во что бы то ни стало, даже если летящая на тебя волна как приговор и человек кажется ничтожной песчинкой, которую через мгновение-другое сметет океан.

Но сдаться — значит погасить зовущий образ, отречься от него. А это невозможно, даже если ревет небо и разъяренный тайфун разметывает и моря, и тучи, и твердь. Человек должен выстоять. Не предать Ее веру в ожидание.

Если поражение неизбежно — это уже не его вина. Но тогда он чист перед ней: не сдался преждевременно, дошел до последней черты. Не все снова увидят родную гавань, но тот, кто возвратится, поборов ад, этим возвращением обязан не только шлюпке с поспешившего на помощь судна или случайной волне, швырнувшей его на берег. Он никогда не забудет, что собрало в кулак его волю в ту отчаянную минуту, когда все, казалось, рушилось безнадежно и окоченевшие руки отказывались двигаться.

К тому же моряки хорошо знают это, вернуться — это

еще не значит встать в строй. Те, кого не дождались, сходят с круга на земле не реже, чем гибнут в море суда.

Ей, ждущей на берегу, бывает оскорбительно-тяжело, когда кто-то, двусмысленно скривив опытные губы, бросает слово «морячка». Кто-то когда-то не дождался. Другим платить за эти грехи, чаще всего существующие в воображении тех, кто к племени морячек не принадлежит, но грешит на берегу много и охотно. Настоящему вору всегда легче скрыться, если он, указав на случайного прохожего, закричит: «Держи вора!»

Этих «кто-то» не больше и не меньше, чем в других сферах бытия. Только им — морячкам — труднее, чем миллионам женщин мира. Кто видит мужей за обедом и ужином, ходит с ними в кино и театры, может каждую минуту снять трубку телефона, чтобы услышать его голос.

Этим женщинам невдомек, что такое ледяные ночи зимы, когда радио передает, как в том или другом океане появились тайфуны с нежными женскими именами. Морячка знает: после какой-нибудь «Камиллы» или «Марианны» сотни таких, как она, станут вдовами.

Для них — жен «сухопутных» — экзотикой, щемящей сердце, кажется модная песня:

Любить человека с отважной душою,
Встречать и опять провожать.
Сегодня вернется и завтра вернется,
А вот послезавтра — как знать?..

Морячки не выдерживают: выключают приемник. Жены космонавтов, летчиков, полярников их поймут.

5

Утром городок цветами, любовью, с широкой морской щедростью встречал Гагарина, а вечером провожал его в море.

На лодку он пришел с командующим флотом адмиралом Лобовым и секретарем ЦК комсомола.

Уверенно спустился по вертикальному трапу, как будто занимался этим ежедневно, и, окинув взглядом центральный пост, весело бросил:

— Почти как дома — в космическом корабле. Только у вас попросторнее. Да и приборов у вас, пожалуй, побольше. А так — родная атмосфера.

И, шагнув к дежурному матросу, протянул руку:

— Давайте знакомиться. Гагарин. Юрий.

Внутреннее напряжение как-то сразу растворилось. Судя по всему, он был «своим», а значит, и не нужно было играть в показное гостеприимство, быть напряженным, неестественным.

Командир раскрыл свою каюту.

— Здесь вам будет удобно, Юрий Алексеевич?

— А чья это каюта?

— Моя.

— Не пойдет. Командир — главный бог на лодке. Не годится, чтобы бог был низвергнут с Олимпа.

— У нас Олимп довольно большой. Все поместимся. Я отлично устроился по соседству. У старпома.

Гагарин недоверчиво хмыкнул:

— Обманываете честную девушку? Можно посмотреть?

— Конечно.

Он придирчиво осмотрел каюту старпома и, кажется, не нашел в ней заметной разницы с командирской.

— Так я вас действительно не стесню?

— Конечно нет.

— Ну тогда добро... Я вам не буду мешать. Просто постою рядом, посмотрю, послушаю...

— Милости просим.

Он расположился в центральном отсеке. Худенький, небольшой. Одетый в такую же рабочую робу, как и все подводники. Офицерская пилотка необыкновенно шла ему, ярко оттеняя светлые волосы.

— Срочное погружение!

Цистерны мгновенно приняли забортную воду, и лодка начала проваливаться в глубину.

— Как самочувствие, Юрий Алексеевич?

— Нормально. Что-то похоже на полет.

Глаза его следили за стрелкой глубиномера.

— Это рабочая глубина?

— В зависимости от задачи. Ходим и глубже...

6

База жила ожиданием удивительных событий. В городе никто толком ничего не знал. Но чувствовалось: готовится что-то из ряда вон выходящее.

Командир не видит всех, но знает, что происходит в каждом уголке лодки.

— Все готово? — Руководитель похода адмирал Петелин озабочен.

— Можете проверить...

— Зачем будоражить людей — и так каждый напряжен до предела.

Настороженно посматривает на приборы инженер-капитан второго ранга Рюрик Александрович Тимофеев. Весь внимание — вахтенный рулевой у репитера гирокомпаса. Радиометристы застыли у экрана локатора. Гидроакустик старшина первой статьи Красовский в сотый раз перепроверил свое хозяйство: от него слишком много зависит в этом походе.

Старший помощник подошел к командиру:

— Лодка к походу и погружению готова!

Звонки заменили команды: отдать кормовой, отдать носовой!

— Руль — лево на борт!

— Малый назад!..

Они не думали тогда об этом, но атомная лодка «Ленинский комсомол» уходила в бессмертие. Первый советский подводный атомоход шел к полюсу.

Иные малосведущие люди могли сказать: ну и что же в этом особенного? Подходит лодка к полюсу, командир находит полынью и — всплытие. Но подводники-то знали, что это не так: у американцев трижды срывалась сама попытка пройти под полюсом. Трижды! Хотя американские моряки выбрали и облегченную обстановку и наиболее благоприятное для всплытия время года.

Перед Жильцовым и Петелиным стояла иная задача: пройти под полюсом, всплыть в тех ледовых условиях, которые там на данную минуту окажутся.

Да и выбрать нужное место для всплытия совсем нелегко. Для этого нужны и мастерство всего экипажа, и незаурядное мужество. Ведь шли непроторенным путем, и никто не мог подсказать, какие опасности встретятся на пути...

Жильцов чувствовал на себе испытующие взгляды команды: спокоен ли?

Жильцов и Петелин отчетливо представляли себе, что им предстоит сделать. Недаром ведь командир американской подводной лодки «Скейт» Джеймс Калверт записал

в дневнике во время похода к полюсу: «Сидя в одиночестве в своей каюте, я не мог прогнать из головы мысль о том, что с каждым оборотом винтов мы уходим все дальше и дальше от безопасного района. Далеко ли мы ушли от кромки льда? Успеем ли мы, если произойдет какая-нибудь неприятность, возвратиться к открытой воде до того момента, когда жизнь в стальном корпусе окажется уже невозможной? Я твердо решил выбросить эти мысли из головы. И все же, несмотря на огромные усилия не думать об этом, я вынужден был сознаться себе в том, в чем не признался бы никому другому. Я боялся... Как бы ни были велики мои сомнения и страх, я мог признаться в этом только себе. Я ни в коем случае не должен выказывать их на людях...»

Пассажир в вагоне никогда не привыкнет к своему купе. Он знает: это кратковременное жилище. На день-два. От силы — на неделю. Самый длинный путь в стране — от Москвы до Владивостока — поезд проходит за восемь суток. Попутчики помогают скоротать время. Ожидание рассчитано по часам. Минуты обозначены расписанием. Сроки известны заранее.

Для подводника его каюта — дом. Каюта, так похожая на купе экспресса дальнего следования, не изменится ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Все знакомо до мелочей — от узора на полированной поверхности столика до выключателя. В купе поезда можно часами смотреть в окно: картины чередуются мгновенно, как кадры занимательной кинохроники. Поля сменяются скалами. Скалы — лесом. Могучие реки — тихими осенними перелесками, еще спящими на заре озерами. Заглядывает в окно и палящее в золотой короне солнце, и звенящие в холодной ночи звезды.

В каюте подводника нет окна. Там, где его с непривычки ищет новичок,— полочка для книг, полировка с прикнопленной фотографией, схваченный цепкими зажимами графин с водой.

Сухопутные любители морской романтики, попадая на лодку, удивлены. «Айвазовский»,— боцман суммирует в этом слове все зрительно-морское,— здесь не проходит». Даже по стенам кают-компании разбрелись в тихом раздумье орловские или подмосковные березки.

Человек живет здесь не день, два, неделю. Каюта принимает его надолго. И еще неизвестно, где более дом — на берегу или здесь. Роли купе и квартиры в городе меняются. Купе-каюте, по выражению того же боцмана, «принадлежит контрольный пакет акций» над психикой и настроением подводника. В море он дома. На берегу — гость.

И пока — в кажущиеся сейчас уже далекими времена — плавание составляло от силы месяц, проблема каюты-дома, дома-корабля занимала морскую науку менее всего. В лучшем случае думали об элементарных удобствах быта. Теперь слово «быт» трансформировалось. Лодкам потребовались профессии психологов, художников, человековедов. Пока все эти профессии совмещают командир и замполит. Но им приходится думать еще о тысячах иных, не менее, если не более, важных вещей. Хотя проблема психологического состояния экипажа в длительном походе без всплытия — проблема, относящаяся и к боеспособности корабля.

И люди ищут, думают, экспериментируют.

Березки в кают-компании — не случайность. В многомесячном плавании человек тоскует больше по березам, чем по морю в бурю. Даже если оно написано кистью Айвазовского.

У Жильцова в каюте несколько любимых книг. Блок, Светлов, Уилсон на английском. В изголовье койки — карточка жены.

Про моряков когда-то пустили сплетню об их легкомысленной неверности. Любви настоящего моряка можно позавидовать. Походы и разлуки концентрируют чувство. У человека есть достаточно времени, чтобы продумать и взвесить все «за» и «против». Проверить и себя и ту, что осталась на берегу. Кто-то подсчитал: число разводов у моряков — наименьшее среди других профессий.

Каюта — она и кабинет, и библиотека, и спальня, и гостиная. Все в ней — и счастье победы, бессонные ночи, раздумья, тоска, отчаянные решения, идеи завтрашних походов. Сюда не донесется шум улицы. Не прогрохочет машина. Только скрежет льда или тихий шелест подводных вихрей проникает сквозь сталь.

Гидроакустики — те богаче музыкой моря: и дельфиний писк, и ход косяков пикши, и гул винтов — их владе-

тельный мир. Каюта лишена и этих мелодий шумящего где-то далеко наверху огромного мира.

Тишина здесь — и благо и проклятие.

Чем душевно богаче человек, тем больше незримых волн уходит сквозь толщу океана в тот далекий, с пением птиц и облаками в небе, мир. Связь эта двусторонняя: от берега в каюту идут иные волны. Передачи на этих волнах не могут засечь никакие пеленгаторы мира.

Часть океана, часть его души и часть блистающего под солнцем мира — маленькая каюта подводника.

Человек все дальше уходит в глубины. Еще неизвестные нам чудища удивленно следят за появлением в их суверенных державах гигантских стальных дельфинов. Каюта подводника становится каютой гидронавта. Время провожания и встречи — как прыжок в неизвестность. И кто знает, созвездия каких наук зажжет будущее в маленьком купе мощной субмарины, атакующей черные дали океана.

— А вы знаете, как первый командир Жильцова учил, в самостоятельный поход готовил? Сам наблюдал...

В кают-компании стало тихо. Историю первого старпома, а потом и командира первой атомной знали лишь по глухим и туманным сведениям.

— Первая атомная...— Петелин вздохнул, и все заулыбались: словно молодость адмирал вспомнил.— Первая атомная. Понимаете, какая ответственность лежала на командире. Можно сказать, всю судьбу атомного флота, темпы его развития в руках своих держал. Случись что на первенце — всю серию приостановят. Пока не выяснят, что к чему и как все это получилось.

Так вот у первого командира был свой взгляд на вещи. Он считал, что лучший способ научить человека плавать — это бросить его в воду. И в самой критической ситуации иногда так спокойно, не повышая голоса, вдруг бросал Жильцову: «Лев Михайлович. Представь, что сейчас война. Меня убили. Меня нет. Действуй!» И сколько ни вглядывайся в его лицо — ни черта не поймешь: доволен он или взбешен. Завершит лодка маневр, снова возьмет командир бразды правления в свои руки. А когда-нибудь вечерком пригласит к себе: «Пойдем, разберемся в твоих сегодняшних художествах».

Сам видел — подолгу сидели.

— Доставалось Жильцову?

— При чем здесь «доставалось», «не доставалось». Они общее большое дело делали. Учеба шла, а не разнос или курение фимиама. Сам не подозревал, как скоро все это пригодится.

— Я слышал, в тот поход (он упомянул один из дальних походов) лодку должен был вести командир.

— Да. Преглупейший случай. Из тех фортелей, что ни с того, ни с сего выкидывает иногда жизнь. Уже все было готово, а тут, за неделю до похода,— на тебе — у командира острый приступ аппендицита. Его, конечно,— в госпиталь. Как быть?

Командование решило — вести лодку Жильцову...

Отлично, надо сказать, задание выполнил.

Дверь в кают-компанию открылась. Вошел Жильцов. Все захохотали.

— Чего смеетесь, черти?

— Да вот, тебе косточки перемывали,— улыбнулся Петелин.— Как говорят, легок на помине.

— Ну и как?

— Что как?

— Насчет косточек.

— Ничего. Четыре с плюсом вроде бы поставили.

— И на этом спасибо,— пробурчал Жильцов.— Могли и двойку вкатить... Стоит на минуту выйти, на̀ тебе — уже заговор за спиной... А вы знаете, что делали в старом флоте с бунтовщиками?.. Вешали на реях.

— Ну у тебя, слава богу, рей нет.

— Ничего,— сердито пообещал Жильцов.— На перископе повешу... Или высажу на полюсе и оставлю... Тогда посмотрим, как вы запоете.

— Что же,— вздохнул Петелин.— Придется, как это ни прискорбно, бунт отставить... Так сказать, до лучших времен.

Внезапно появившиеся командир лодки и командир электромеханической боевой части Рюрик Тимофеев посоветовались вполголоса и шагнули к адмиралу.

— Неприятность, Александр Иванович.

— Что такое?

— Греется подшипник одного из насосов.

— Перед походом проверяли?

— Конечно. Насос совсем новый. Прямо с завода. Поставлен во время ремонта лодки.

— Может быть, потому и греется? Не обкатался еще?

— Рисковать здесь нельзя, товарищ адмирал.— Тимофеев говорил, как бросался в холодную воду.— Мы виноваты, мы и исправим.

— Почему же вы виноваты?

— В нашем хозяйстве накладка. Обязаны все были предусмотреть.

— Все в жизни предусмотреть невозможно. Что же вы предлагаете?

— Перебрать подшипник.

— Но это же значит остановить корабль, сорвать задание! Или возможно переключение на другую схему?

— Мы уже советовались. Переключение сделаем, ход корабля сохраним.

— Смело,— улыбнулся Петелин.— Но почему бы и не попробовать? Море смелых любит.

— Кого предлагаете в ремонтную группу? — спросил Жильцов.

— Вьюхин, Ильинов, Воробьев, Метельников, Резник. Во главе дела поставим Анатолия Шурыгина.

— Действуйте.

— А Шурыгин подходит? — спросил Жильцова Петелин, когда Тимофеев отошел.— Он же, я слышал, у вас ас теории.

— Не только... Может быть, в будущем он и будет академиком. Даже наверняка будет, думаю. Но гаечным ключом он орудует не хуже, чем логарифмической линейкой. Уж это-то я видел...

Перед ужином динамик загудел, и из него донесся голос Тимофеева:

— Товарищ командир! Докладывает инженер-механик. Все в порядке.

— Как в порядке?

— Насос опробован и работает отлично.

Петелин взглянул на часы и недоверчиво буркнул:

— Проверьте, Лев Михайлович, вроде получается, что наши рекорд поставили. В пять раз перекрыли заводские нормы. Не путают ли они там чего?

— Не должны, товарищ адмирал, Тимофеев не такой, чтобы докладывать не проверив.

Петелин ничего не ответил, нагнулся, вышел из центрального поста.

7

У Петелина был свой взгляд на роль старшего в походе, и со стороны могло показаться, что адмирал скорее внимательный наблюдатель, чем активное действующее лицо этих стремительно развертывающихся событий. Ни выговоров, ни поучений, ни ясно видимого одобрения с его стороны почти за весь поход — а прошли они уже немало — ни Жильцов, ни Тимофеев не слышали.

Пройдет по отсекам, заглянет в штурманскую, глянет на приборы, спросит как бы невзначай: «Скорость? Курс? Глубина?» — и проследует дальше.

Только раза два сказал Жильцову: «Здесь глубину увеличьте. Возможен низкосидящий лед. Я уже бывал в таких местах...» И еще — штурману: «Показания репитера проверьте. Кажется, он чуть-чуть привирает».

Проверили — точно.

И к отдыхающей вахте обратился не по-уставному: «Ну как, не поскучнели, хлопцы? Скоро поавралим...»

— Пока, товарищ адмирал, все идет как по маслу. Но дело-то новое, неиспытанное. Не кажи «гоп», пока не перепрыгнешь.

— Это все зависит от того, кто прыгает. Судя по всему, народ вы тренированный. Возьмете барьер.

— Постараемся.

Адмирал взглянул на часы.

— Зайду еще на камбуз. Посмотрю хозяйство кока. Чем он нас сегодня угостит?..

На самом деле он миновал камбуз, только на секунду задержавшись около него, и вошел в каюту доктора.

— Медицине почтение!

— Здравия желаю...

— Как ваша статистика? Никто не жалуется?

— Никак нет, товарищ адмирал. Больных нет,— огорченно доложил лекарь.

— Это же отлично. А вы огорчаетесь.

— Все люди заняты, а я вроде бы безработный.

— Грешно, конечно... Но дай бог вам всегда быть на лодке безработным...

Петелин прошел в центральный отсек.

До полюса остался один градус.

— Пересекаем восемьдесят девятую параллель.— Голос штурмана срывается от волнения.

В боевую рубку идут доклады: толщина льда 12—15 метров. Глубина — 4000 метров.

Жильцов прикидывает что-то в уме, смотрит на часы... 60 миль, 50, 40, 30, 20...

Он склоняется к микрофону:

— Товарищи матросы, старшины и офицеры! Через десять минут мы будем проходить через Северный полюс...

Семь минут, три, две...

— Товарищи! Наша лодка — на Северном полюсе! Засеките время. Мы прошли полюс в шесть часов пятьдесят девять минут десять секунд.

Мощное «ура» сотрясает отсеки.

Проходит несколько минут. На экране телеустановки вроде бы обозначается полынья.

— Стоп! Малый назад!

— Есть, малый назад!

— По местам стоять, к всплытию.

— Пост первый к всплытию готов.

— Пост второй к всплытию готов.

Готов... готов... готов...

— Стоп!

— Продуть балласт!

Всплывает многотонная громада.

Всплывает медленно, осторожно, словно нащупывая путь в ночи.

— Глубина пятьдесят метров.

— Глубина двадцать пять метров.

Но что это? Полынья на экране затягивается темным движущимся пятном.

Огромную махину лодки сразу не остановить. Медленно разворачивается стальная сигара.

Навстречу ей плывет ледяная гора. Еще минута-две, и они встретятся. И тогда...

Нет, о том, что будет тогда, лучше не думать.

Гремит корабельная трансляция:

— Стоп всплывать!.. На глубину!..

Сейчас все в руках боцмана.

На лице его выступили капельки пота. Пальцы намертво схватили рычаг.

Сейчас нет лодки и человека. Они — единый механизм.

Субмарина проваливается. Минута. Вторая. В отсеках слышат глухой гул: это где-то наверху, высоко над ними, сошлись в смертельном единоборстве ледяные поля.

Боцман закрыл глаза: он ощутимо представил, как пушечными ударами загремели сейчас в неяркой северной полынье ледяные глыбы, рухнули и ушли глубоко под воду, чтобы через минуту всплыть снова, как со стоном поползли ущелья-трещины по ледяным полям.

— Боцман, глубина шестьдесят метров!

— Есть, шестьдесят метров.

— Держать на заданной глубине.

— Есть, держать на заданной глубине!

Все это приходилось делать впервые — определять по скорости, с которой проходила на экран светлая тень, размер полыньи, мгновенно соотносить с размерами корабля, силой и направлением подводных течений. И наверное, даже старые моряки не поняли бы до конца смысла доклада, когда в центральном посту раздалось:

— Вода — сорок пять секунд!

Жильцов улыбнулся и вопросительно посмотрел на старпома.

— Кажется, опоздали! Пройдем еще немного.

И действительно, «окно» на экране мгновенно «закрылось».

— Свободной воды нет.

— Осадка льда шестнадцать метров.

— Семнадцать метров.

— Двадцать метров.

— Ого! Кажется, Ледовитый решил нас задавить...

— Ничего, как-нибудь управимся.

— Включить прожектор!

Белой молнией метнулся, разгоняя водяную муть, сноп света.

Глубина. Мерцающая, таинственная, полная неясных шорохов, за каждым из которых может стоять смертельная для лодки опасность.

— Вижу большую воду! — Напряжение требовало разрядки, и никто не упрекнул вахтенного, что он выкрикнул это так же, как, наверное, сотни лет назад прозвучало слово «земля» в устах впередсмотрящего на каравеллах Колумба или фрегатах Кука.

— Право руля!
— Стоп!
— Так держать!
— Продуть балласт!
— Поднять перископ!

Будь на теле корабля вены, они, наверное, набухли бы в эти минуты. Удивительно, как атомная махина так послушно исполняла волю человека. Сейчас, вот сейчас — сию минуту, это должно случиться ..

Долго Жильцов ждал этого часа. Когда плавал на «малютках» и «щуках». Когда в остервенении пытался выжать из их машин то, что они, по своему времени прекрасные корабли, дать уже не могли.

Это было выше их сил. А сейчас...

Вначале медленно, потом быстрее устремляется атомоход вверх. Брызнули веселыми осколками льдинки, поползли по черной палубе, скатываясь в темную, свинцовую воду. И вот на исполинской сигаре, раздвинувшей мощным корпусом ледяные поля, уже отдраивают рабочий люк.

«Ленинский комсомол» всплыл в бессмертие.

8

«Вот и все позади».— Тимофеев облегченно вздохнул. Только сейчас, пожалуй, он почувствовал нечеловеческую усталость. Нервы, сжатые в кулак в походе, расслабились, и все, что произошло и могло произойти за эти напряженные дни похода,— и злосчастный подшипник, и бессменное напряжение, и резь в глазах от неотрывного контроля за шкалами бесчисленных приборов его, как он любил говорить, «многоотраслевого хозяйства»,— все это дало теперь реакцию на расслабленность и усталость.

И эти часы после возвращения из любого похода были для него, да и не только для него, самыми тяжелыми. Ждешь-ждешь берега, и вот он рядом — до пирса пять шагов, а там — долгожданная земля и автобус у штаба. Стоит сесть в него, и, пока балагуришь со знакомым водителем, глядишь — окажешься в городе. Где по тебе истосковались. Где тебя ждут.

Он даже зажмурился, представив стол, ломящийся от яств, который наверняка успела соорудить жена. И вооб-

ще, как было бы здорово просто побродить ночью у сопок. Смотреть на звезды и ощущать под ногами не шаткую корабельную палубу, а скованный морозом, хрустящий наст...

Теперь, кажется, все. Рюрик оглядел пульт управления реактором, бросил взгляд на шкалу манометра, перелистал журнал дежурного.

— Так держать.— Он хлопнул старшину по плечу.— Счастливо дежурить.

— Вы бы шли, отдохнули. Еле на ногах держитесь.

— Вы же дежурите.

— С одной разницей. Я до вахты спал. А вы обе смены на ногах были. Так что счет два ноль в мою пользу.

— Добре. Утром я буду...

И только сейчас он вспомнил, что Петелин приказал ему сразу, как освободится, быть в базовом спортзале. Рюрик растерялся. «Как же так—там руководители партии и правительства. А я! — Тимофеев, грустно улыбнувшись, оглядел себя.— Нечего сказать — хорош. Небрит. Одет в рабочую спецовку... Возвращаться назад? — Он взглянул на часы.— Нет, не успею. А, была не была,— решил он.— Сховаюсь где-нибудь в сторонке. Авось не заметят...»

И Тимофеев пошел. Мысленно он поднимался уже по лестнице своего дома, звонил. Дверь распахивалась, и прямо с порога бросалась ему навстречу жена...

Он очнулся, когда его чуть не сбил с ног летящий ему навстречу человек, размахивающий чем-то блестящим и отчаянно жестикулирующий.

— Тимофеев?

— Да. Но, наверное, можно и осторожнее. Не обязательно людей с ног сбивать.

— Это великолепно! — воскликнул незнакомец, отскочил на два шага, и прямо в глаза Тимофееву блеснул блиц фотоаппарата.

— С вами, кажется, не соскучишься.

— Дорогой,— человек ринулся к нему с объятиями,— дорогой, не сердись. Портрет нужен. Поздравляю, ты — Герой Советского Союза.

— Такими вещами не шутят.— У Рюрика как-то похолодело в груди.

— А с чего ты взял, что я шучу? Нисколько... Прошу...

— Тихо,— сказал Тимофеев, когда они подошли к спортзалу.— Не шуметь. Не нужно обращать на себя внимание. Вы видите, в каком я фраке.— Рюрик кивнул на замасленную телогрейку.

Но спрятаться не удалось. Едва он появился в зале, по рядам прошел шумок, долетел до Петелина и Жильцова, сидевших в первом ряду, и они почти одновременно обернулись.

Петелин жестом потребовал: иди.

Рюрик изобразил нечто вроде мимической сцены: показал руками на спецовку, ткнул пальцем в небритую щеку, страшно завращал глазами.

Петелин засмеялся и снова пригласил к себе.

Делать было нечего. Стараясь казаться незаметным, низко пригнувшись, Рюрик тенью заскользил к адмиралу. Тихо сел и тут же почувствовал толчок справа.

— Что? — шепотом спросил Тимофеев.

— Ты — Герой Советского Союза.— Жильцов сжал его руку.— Поздравляю.

— Тише. На нас смотрят...

Он готов был провалиться сквозь землю, когда со сцены донеслось:

— Тимофеев Рюрик Александрович.

Жильцов подтолкнул друга:

— Иди... Да иди же... Министр зовет...

Не смотря ни на кого, Рюрик поднялся на сцену.

— Он что, прямо с лодки? — спросил кто-то в президиуме.

— Тише. Видите, он и так сейчас сгорит от смущения. В безгласый пепел превратится. Одежда солдата — лучшая одежда.— Рюрик поднял глаза и с благодарностью стал искать того, кто только что бросил ему спасательный круг. Но найти не успел. До него уже донеслись слова Министра обороны:

— ...Поздравляю вас.

Маршал быстро проколол материю, и Рюрик увидел на своей груди Золотую Звезду.

Праздники бывают не ежедневно, и совершенное «Ленинским комсомолом» уже начало подергиваться дымкой воспоминаний. Уже не одну, не две и не три новейших атомных субмарины принял флот, и нужно было обучать

команды, оттачивать мастерство командиров. Для Петелина и Сорокина отсчет времени стал похожим на взбесившийся кинематограф: дни летели так стремительно, что не только недели — месяцы казались едва различимыми мгновениями.

Потому и перемены подкрадываются незаметно, и, когда однажды Петелин сказал Сорокину: — Ну, что же, Анатолий Иванович, ты начинал, тебе и продолжать...— тот не понял:

— Что продолжать?

— Меня переводят. Заместителем командующего флотом. В командование соединением вступаешь ты. Завтра вылетаем в Москву. На утверждение. Главком тебе пару напутственных слов скажет. Смотри, какие дела начинаются! Раньше, можно сказать, осваивали атомные. Принюхивались к ним. А теперь атомный подводный флот вышел в океан. Большое у него плавание... Так что все наши дела еще раз обмозговать надо... Одним словом — завтра летим в Москву.

9

В Приморск на испытание опытной установки они прилетели вечером.

За окном лютовал ветер, и, когда просидели часа два в маленьком ресторанчике при гостинице, где кормили рыбой, неведомой из-за костлявости своей породы, и позапрошлогодними булочками, встал вопрос, куда себя девать.

— Пойду спать! — Командир решительно встал из-за стола.— Утром — работы невпроворот. К тому же нужно переварить блюда этой тончайшей французской кухни,— он кивнул на почти нетронутую тарелку с тем, что в меню пышно именовалось «караси в сметане».

— Да,— философски резюмировал Николай.— На таких карасях и на такой сметане не разжиреешь. Может, в город сходим? — Он повернулся к Борису.— В кино, глядишь, забредем. Или еще куда...

— Не хочется. Посмотри, что на улице творится... Пойду в номер. Письма напишу.

Лениво подошел официант, неопределенного цвета салфеткой смахнул со стола крошки прямо на пол и, взглянув на тарелки, деловито осведомился:

— Не понравилось?

— А как вы думаете?

— Конечно, у нас — не московский «Метрополь». Но могу предложить французский коньяк. Вчера завезли.

— Нет, отец, не надо... Поздно уже... Пусть директор этот коньяк пьет...

— И карасями закусывает,— Борис рассмеялся...

— Ну, как знаете! — официант обиделся.— Я думал, как лучше...

Он направился к соседнему столику, где восседала шумная компания лохматых юнцов и визгливых девиц.

— Зеленая молодежь гуляет! — командир кивнул в их сторону.

— Лоботрясы какие-нибудь,— Борис поморщился.— И в Москве, и в Ленинграде, и в Приморске обязательно таких встретишь. Идемте,— он встал из-за стола.— Письма, пожалуй, напишу. Все равно вечер девать некуда.

В номере уютно горела настольная лампа, и Борис, примостившись в мягком кресле, стал писать письмо матери.

Заклеив конверт, прошелся по комнате. Лечь спать? Не хочется. Пойти прогуляться? Куда?

«Ни щи не радуют, ни чая клокотанье»,— вспомнил он чьи-то строки. Что происходит с ним? Вроде бы все складывается отлично, и метаться вот так по номеру нет решительно никаких причин.

«Просто хандра, нервишки,— успокаивал он себя, раздеваясь.— А может быть, волнуюсь перед испытаниями? Но мало ли уже было этих испытаний? Несравнимо более тяжелых, чем завтрашнее. И в конце концов, что такое испытания? Просто чуть-чуть больше нервной нагрузки, чем в обычном походе. Океан — это ведь тоже не прогулка в кино. Никогда не знаешь, что он выкинет через полчаса...»

Борис уснул быстро, как засыпал тысячи раз в походе. Не мог он предполагать, что неотправленное еще письмо — последние написанные им строки и что наутро придет страшная минута, некогда будет выбирать и раздумывать, нужно будет мгновенно решить для себя вопрос — твоя жизнь или жизнь товарищей.

Это только в философских трактатах мужество измеряется протяженными во времени категориями. Бывают

мгновения, когда вся философия бытия становится пламенем, сжигающим и прошлое и будущее.

Но человек идет в это пламя, потому что не может поступить иначе.

Утром проснутся города, и миллионы людей отправятся по извечным своим маршрутам. В поездах, метро, автобусах и в самолетах зашелестят страницы свежих газет. Мир узнает, что какой-то латиноамериканский генерал составил заговор, кто-то у кого-то выиграл чемпионат по шахматам, а сборной «Динамо» предстоит весьма ответственный матч. Что в Адлере температура моря +22 градуса, а в Мурманске ожидается дождь со снегом.

О Борисе газеты не напишут ни строчки. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Такое у него дело. Такая профессия: слишком много на свете джентльменов, которые бы не пожалели ничего, чтобы хоть на миллиметр приоткрыть завесу над тем, что должно быть до срока прочно и наверняка спрятано.

Не одна весна прошумит над землей, пока не истечет этот срок, и люди, живущие в далеком северном городке на улице лейтенанта Корчилова, долго еще будут думать, что внезапно исчезнувший, посланный, видимо, куда-то по специальному заданию их знакомый лейтенант Борис Корчилов и тот, совершивший, по слухам, где-то и когда-то нечто необыкновенное, что эти два Корчилова — всего лишь однофамильцы.

Командир нервно поежился.

Что-то случилось с ним, и он знал это определенно. Теперь он уже не мог и жить и чувствовать по-старому, и прежними глазами смотреть на мир, и радоваться счастью так, как это было вчера. Такое происходит с людьми, когда они теряют самых близких. Ощущение жизни приобретает горьковатый привкус, и тень пережитой печали уже неотделима от любых движений души — будь то радость или горе, счастье или неприятности.

Может быть, мы становимся мудрее, познавая еще одну ненавистную нам грань бытия. Возможно, иной мерой измеряем степень ответственности за все, что происходит вокруг. А быть может, понимаем, что пустота, образовавшаяся с уходом друзей, невосполнима, хотя мы

и пытаемся заполнить ее своей энергией и своим трудом. Какие-то связи мира оборвались, а ушедшие продолжают жить в наших словах и поступках, потому что они — не безликая материя. Они в чем-то тоже формировали и нас, и наши представления, наши симпатии и антипатии. И этот невидимый таинственный процесс продолжается, ибо нередки мгновения, когда мы вдруг глядим на происходящее их глазами, ставим себя на их место, и пытаемся представить, как бы они повели себя в тех жизненных ситуациях, в которые попадаем сами.

Слово «опыт» здесь ничего не определяет. Человеческие судьбы высекают не только огонь, освещающий путь другим, но и сами по себе входят в нашу судьбу, в наши чувствования, в наши боль и радость.

Сейчас, когда уже ничего нельзя было поправить и невозможно было изменить решение, внутренний голос неотступно спрашивал его: правильно ли он поступил, выбрав именно Бориса Корчилова? Человека, у которого еще все было впереди — нескончаемая дорога и морей, и творчества, и просто отпущенного каждому судьбой счастья. Разве не мог послать он на этот отчаянный шаг более пожилых, кто успел все-таки кое-что и повидать на этой земле, и пережить, и насладиться жизнью.

Двадцать четыре года — это же только старт. И финиш еще не разглядишь за далью горизонта.

Двадцать четыре года — это же, по существу, ничего. Хотя некоторые успевают и к этому сроку сделать немало. Командира раздражало, когда в таких случаях вспоминали Лермонтова или Пушкина. Они — гении, и не каждому дан такой огненный смерч энергии и таланта, который выбросили их сердца. Но в двадцать четыре года человек перестает быть юношей, и что остается от человека, если отнять у него зрелость — золотую пору творчества?..

Что он знал о Корчилове? Кажется, любил девушку. Говорят, собирался жениться. Старался. Был, пожалуй, в чем-то лучше многих. Но не всех. У других было и больше опыта и больше знаний.

Почему же он все-таки послал Корчилова? Должен же был он ответить на этот вопрос хотя бы самому себе. Стоп! Пожалуй, потому, что был абсолютно убежден, что тот выполнит задание. А почему — абсолютно убежден?

Он стал перебирать в памяти все, что знал о Корчи-

лове, и, как назло, не мог вспомнить ничего конкретного, потому что обычная жизнь лодки состоит из тысяч привычных мелочей и дел, которые ничем не выделяются из других, точно таких же.

Но все же это ощущение уверенности в человеке откуда-то родилось? Здесь сплавилось, видимо, и знание характера (упорен), и оценка Корчилова как специалиста (знает отлично технику), и многое другое, что не определяется обычным термином и скорее принадлежит к области интуиции...

Мысли разрывались, становились расплывчатыми, исчезали и снова появлялись, неотвязные, мучительные, тупые. Ни заснуть, ни отогнать их он не мог.

Глава V

ГОРИЗОНТ НЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

1

Ту-104 стремительно шел на север.

Анатолию нужно было добраться до Мурманска. А там — вся надежда на военных моряков.

И хотя Анатолий Иванович дал ему один заветный телефон, который должен облегчить его странствия, он все же волновался: не каждый день случаются такие поездки... Одни хлопоты в Главном штабе чего стоили. Буквально до последней секунды он не знал, дадут ему разрешение или нет.

Он бывал и плавал на «обычных» — дизельных лодках. Сейчас он пытался представить, какие они — новые, невиданные ранее корабли, в самом названии которых угадывается страшная мощь.

Что он знал о них? Как они выглядят? Чем отличаются от дизельных — атомные подводные ракетоносцы. Детища атомной физики, электроники, кибернетики, кораблестроения — сотен и сотен наук... Фантазия подсказывала всякое, но достоверно он знал лишь одно: формула их силы складывается из многих составных. Чтобы могло состояться их рождение, прежде всего нужно было сердце — атомный реактор. И ракета с ядерной боеголовкой, способная поражать цель, отстоящую от лодки на многие сотни и сотни километров...

А внешний вид? Журналистской братии — Сергеев знал это точно — их еще не показывали.

Рассеянно вглядывался Сергеев в иллюминатор самолета.

Уже прошла срединная Русь с потонувшими в сугробах селами, с месяцем над околицей и столбами дыма в потрескивающем от мороза воздухе. Пожалуй, по времени внизу — Карелия, с застывшими окнами озер и царственными в снежном уборе лесами.

Может быть, по сходству тонов и красок вспомнилась Анатолию прошлогодняя зима, когда они с художником Виктором Сергеевичем Бибиковым были в Арктике. Картины и образы не потускнели от времени. Все было как будто вчера...

Вспомнилось, как Бибиков поднялся с валуна, смахнул меховой рукавицей снег с мешка. Ловко закинул его за спину и, не оглядываясь, перепрыгивая с камня на камень, стал подниматься к сопке.

Минут через десять он оглянулся.

Черно-свинцовое море прошивали белые нити косого снега. Ярко-алая полоска у горизонта резко обрывалась холодным, серым наплывом туч. Справа, у виднеющегося силуэтом мыска, разворачивалось к океану судно.

Надвигался шторм.

— Пожалуй, это то, что надо...— Бибиков сбросил мешок на наст.— Главное, успеть схватить. Через полчаса здесь будет черт знает что...

Быстрые струйки снега шурша обходили его унты, наметая у камней маленькие сугробы.

Бибиков открыл этюдник...

Это только не видевшему этих краев кажется, что здесь — однообразная белизна.

Белый цвет имеет тысячи оттенков, но, пожалуй, нигде, как в Арктике, каждый из них не оттенен так ярко и броско. Заполярье часто разлагает спектр на составные. Это очень тонко почувствовал и уловил Рокуэлл Кент.

Белизна варьируется на тысячи ладов, образуя сотни красочных созвучий, а потому приобретает свойства одухотворенности и теплоты, того не передаваемого на словах волшебства, которое заставляет людей, впервые увидевших Арктику, «заболеть» ею напрочно и надолго.

Кажется, это Маркелов говорил ему: «Не только на географических картах, но и в искусстве есть страна Рос-

сия. Если говорить языком художника, вся жизнь — это цвет. От темного до белоснежного. Мир, над которым светит солнце. Это оно определяет цвет. Отсюда — «пленер». Жизнь, дух человека определяют восприятие мира... Россия — страна снежная. Все в ней идет от снегов, невесомых и глубоких, в которых и чистота, и поэзия, и свет жизни. Ты скажешь, и летом Россия прекрасна! Да! Но все же, согласись, олицетворение ее — зима. Лучшие русские легенды, песни, стихи — о ней. От Пушкина до Блока».

А между тем, казалось бы, белый цвет — самый скучный. Говорят: «белое безмолвие»... В живописи самое трудное — заставить это безмолвие «раскрыться», заговорить...

Художник прав. Увидев «белое безмолвие», капитан Кук записал в своем дневнике: «Красота этих мест наполнила мою душу восхищением и ужасом».

А в «Соломине» у Кента: «В искусстве не помогает «волшебная палочка» — правила, предназначенные для того, чтобы научить сделать вещь красивой. Может быть, с красотой дело обстоит наоборот. Может быть, мы не находим ее, а она, угадав ищущих, открывает им себя...

Красота этих северных зимних дней кажется более далекой и бесстрастной, более близкой и абсолютной, чем какая-нибудь другая, виденная мною. Если мы, одухотворяя солнце, сочувствуем ему в его непрестанных усилиях заставить гармонировать между собой различного цвета предметы: озаренные багровым светом овины — подходить к летним ландшафтам; дикие розы — удачно сочетаться с лютиками,— создать гармонию там, где господствует дисгармония, то какое наслаждение... должно испытывать солнце, когда светит на снег. «Я — ничто,— шепчет скромная белизна снега.— Я приобщаюсь к тебе, милое солнце, к синему небу, на котором ты сияешь, и становлюсь прекрасной».

В Гренландии открываешь как будто впервые, что такое красота! Да прости мне бог, что я пытался эту красоту написать!..»

...Два часа — слишком короткий срок, чтобы почувствовать расстояние...

Не успел Анатолий «обжиться» в самолете, как стюардесса объявила:

— Товарищи пассажиры... Наш самолет идет на посадку!..

Наверное, и даже наверняка есть более прекрасные города. Его сердце всем иным знаменитым градам предпочитало Мурманск.

Прибывшим сюда впервые он казался хмурым и сумрачным, продрогшим на океанском ветру. Здесь трудно обвыкается: полярная ночь с непривычки кажется бесконечной, и тоскливо думается под снежные заряды, монотонно бьющие по оконному стеклу.

А потом — для одного раньше, для другого позже — начинаются открытия. Залив с пепельным блеском отраженных далеких звезд, с черными, пряно пахнущими йодом водорослями. Сопки, которые, если приглядеться, дарят тебе то снежный кальцит, то багровый отсвет гранита. Рябина, теряющаяся где-нибудь в Подмосковье, яростно распушившаяся рубиновыми гроздьями. Таинственная перекличка гудков на рейде. Замшелые якоря. Многоярусность каменных громад, степенно спускающихся к воде. Магазины — как витрина музея ихтиологии.

А потом полыхнет нестеровской бездонностью и жутью полярное лето. Сумасшедший акварелист дымкой окрасит все сущее — и дома и мостовые плывут над землей, а солнечный диск ежечасно меняет тональность, от опаловой изморози до багрово-пламенеющего огня. Когда смотрится и дышится, как в легком летящем сне. И залив полыхает приглушенно-золотым маревом, скрадывающим очертания лайнеров и делающим их многотонные громады невесомой игрой теней и бликов.

Здесь мало памятников, но почти каждая квартира — фантастическая биография, на которую лег отсвет всех морей и океанов земли. Капитаны, штурманы, боцманы, полярники, зверобои, геологи, командиры боевых кораблей, корабелы. На стенах комнат — гигантские омары из дальней Атлантики, австралийские бумеранги, японские безделушки. В тяжелых рамах или просто прикнопленные к обоям фотографии кораблей. Среди них узнаешь легендарные — «Красин», «Ермак», «Сибиряков», «Дежнев», «Персей».

Хозяева появляются дома ненадолго и при встрече степенно осведомляются: «Жив ли старый Матвеич на Северной Земле?» Или «Как ловилось ныне на Джорджес-банке?» Нестесненные в средствах, хозяйки берут

апельсины ящиками, доставляя Мурманторгу немало хлопотных часов и раздумий.

Анатолий любил этот народ — широкий, щедрый душой, талантливый, умный, как и ежедневную сводку местной газеты, звучащую для мальчишек на континенте волшебной музыкой: «...Волнение на море — шесть баллов...»

Для него за этой «географией» и баллами виделись совершенно реальные люди: Герка Бурков, торчащий где-то на Диксоне в штабе ледовой проводки, Руслан Игрицкий, кочующий по дальней Арктике на своей «Мсте», отец Дины Овсянниковой, в которую все они, мальчишки 10 «Б», были поголовно влюблены, капитан Егоров, штормующий в Атлантике, Мишка Монастырский, изобретающий какой-то неведомый людям трал. Отчаянно сухопутный Савва Кровицкий, решивший вдруг стать великим мореплавателем и бросивший вызов всем богам, отправившись на плавбазе обучать рыбаков в море логике и психологии.

Все они были неотрывны от Мурманска, как и он сам, загромоздивший свою квартиру книгами по истории Севера. Севером заболевают не сразу, но если ударила в сердце болезнь — она неизлечима.

Собственно говоря, город вырос на его глазах, и он, правда смутно, помнил деревянные бараки, где они когда-то жили, гофрированные английские «чемоданы», оставшиеся от интервенции, первые заборы еще робких каменных строек, а потом рев экскаваторов, рушащих старый хлам. И дом Междурейсового отдыха моряков, и Дом культуры, и школа, где он учился,— все росло на его памяти. А теперь и даты и времена стерлись. Попробуй вспомни, когда выросли эти каменные кварталы от горизонта до горизонта! Только одна дата несомненна: конец войны.

Тогда попался ему в руки завезенный с одним из конвоев в Мурманск американский журнал «Харпес мэгэзин». Горько усмехнулся он тогда, прочитав строки: «Нужно быть русским, чтобы оставаться здесь... Если когда-нибудь наступит мир, то пусть скорее придет он к людям Мурманска. Они заслужили его».

«Если когда-нибудь наступит мир...» Тогда действительно это казалось невероятным. Как сумасбродная фантазия. Гитлеровские дивизии рвались к Москве, а Мурманск стал грудами дымящегося кирпича...

А Мурманская судоверфь. Отец водил его, мальчишку, показывать, как пошел первый слип, вытаскивая на берег для ремонта громаду траулера, стряхивающего водяные потоки. Потом верфь разрослась, захватывая все новые и новые земли вдоль залива и гоня пирс за пирсом широченной и длиннющей полосой, легшей у самой кромки воды. А отец, как и тогда, тридцать лет назад, вставал в шесть часов утра, наскоро пил чай и торопился на работу. Все равно куда — в горком ли партии, где он работал заведующим промышленным отделом, на верфь, где он кем только не бывал — и начальником отдела, и начальником котельно-корпусного цеха, и парторгом ЦК.

Бывая иногда с отцом в его бесчисленных походах по цехам, кораблям, мастерским, литейным, Анатолий как-то почувствовал, что отец давно потерял ясное ощущение о реальной своей должности. Он степенно беседовал с рабочими — вместе закладывали верфь, вспоминал с капитаном СРТ каких-то общих знакомых, в горкоме ругался по телефону с поставщиками, а в цехе — с местным начальством, что-то вовремя не пустившим в дело и задерживающим ремонт корабля. Его знали все, и он знал всех, и было бы непроходимой глупостью кичиться кому-то перед кем-то своим служебным положением.

Вчерашние одноклассники Анатолия, закончив институт, попадали к отцу, становились вначале мастерами («Диплом инженера — это еще только диплом, а не инженер!»), как-то незаметно росли, занимали ключевые позиции, и вот уже отец на равных вместе с Сашкой Свиридовым заседал в горкоме, и по должности вроде бы Сашка был выше его, Сергея Ильича.

Его это не волновало, потому что опять же, во-первых, это было логикой времени и возраста, а во-вторых, им нечего было с Сашкой делить: оба делали одно дело, и то, что они крепко схватывались по разного свойства конкретным обстоятельствам, не мешало им любить и уважать друг друга.

Так он дожил до глубоких сумерек своей дороги, промелькнувшей как один стремительный день, и только сама мысль о выходе на пенсию казалась ему кощунственной. Наверное, в этом был и здравый смысл: оторвись он от своих забот, кто знает, может быть, болезни

свалили бы его в шестьдесят с небольшим, а не на семьдесят третьем.

Правда, последние времена он стал сдавать, все чаще не мог подняться с постели, и тогда Анатолий видел в его печальных глазах затаенное от всех предчувствие близкого конца, который не отсрочить ни врачам, ни родным.

Тогда отец, ненавидящий всякое лечение и лекарства, послушно выполнял все предписания медицины, с видом обреченной покорности пил пилюли и порошки и с надеждой справлялся у жены, о чем они шепчутся с врачом в коридоре.

Ему становилось легче, когда приходили ребята с завода и тихонько, чтобы не слышала и не выругала жена («Врачи запретили волноваться!»), вытаскивали из внутренних карманов какой-нибудь чертеж, и тут же начиналась молниеносная рабочая летучка.

Его по-прежнему приглашали на корабли, в школы и на заводы, и он, не умея отказывать и считая это неприличным, покорно тащился через весь город, чтобы рассказать ребятам о встречах с Лениным, о Кирове и 1919-м. Возвращался он тогда поздно и часто наутро заболевал: возраст давал себя знать, а медицина еще не придумала средств от старости.

Виделись они в последние годы все реже и реже, и Анатолий замечал, как от встречи к встрече тает отец. Но замечал и другое — он знал такие характеры, да и сам исповедовал те же принципы, что работа и эти встречи — единственное, что поддерживает гаснущий огонь, и оборви их — случится самое худшее.

На вопрос: «Как себя чувствуешь?» — он неизменно отвечал, улыбаясь: «Давай поборемся!», а сам видел, как все труднее и труднее ему подниматься по лестнице, когда после встречи на вокзале они шли домой.

Это, наверное, самое гнусное в жизни — чувствовать свое бессилие, видя приближающийся конец любимого человека, и он, Анатолий, не раздумывая, отдал бы свои оставшиеся годы ему. Но каждый раз, когда так думалось, становилась очевидной нелепость этих, в сущности, пустых помыслов, а что-нибудь реального, могущего помочь в таких случаях, к сожалению, никто еще на земле не изобрел.

Иногда отец, словно угадывая его мысли, начинал размышлять, что, в сущности, пожил он неплохо и инте-

ресно: видел Ленина, дрался комиссаром в гражданскую, был счастлив дружбой Кирова, воевал, строил Мурманск. «Попробуй проживи ты так»,— подзадоривал он. Анатолий где-то чувствовал, что, как бы щедро ни сложилась его судьба, такая, как у отца,— неповторима. То, что было отпущено поколению отца, в сущности,— мы редко задумываемся об этом — те самые звездные часы человечества, о которых писал Цвейг. И отблеск костров у Смольного. И завьюженные степи с летящими тачанками. И любовь, родившаяся после удара белогвардейской пули, во фронтовом госпитале.

Для отца это была жизнь. Для Анатолия — история и легенда. И в этом вся разница, потому что, сколь бы прекрасна легенда ни была, ты не творил ее собственными руками. Она пришла, как свет далеких звезд.

Звезды эти еще будут светить не одному поколению, и легенда не оборвется, если из жизни уйдет один человек.

Но это — большая неправда. Потому что все существует в конкретном, и революция — не безликий, равнодушный к каждой личности и судьбе полет. Где-то оборвется звезда, и на небе станет темнее. Потом загорятся новые всполохи. Но ведь это уже будут иные зарницы. А той единственной и неповторимой грани революции, воплощенной и вылитой в одной конкретной судьбе,— ведь ее уже не будет. И мир стал бы беднее, если бы энергия, совесть, воля и мужество павших не переходили к живым.

Какая нелепость — быть в Мурманске и даже не зайти к своим. Рисковать он не может. Редактор напутствовал его весьма недвусмысленно: «Если тебя все же туда пустят, умри, но доберись... Если тебе смогут помешать любые побочные обстоятельства — тогда ты не журналист, а ноль. Понятно?..»

Формула напутствия была достаточно прозрачной, чтобы ее нужно было расшифровывать.

2

Мария Денисовна Корчилова, наверное, уже в десятый раз перечитывала это письмо:

«Милая мама!.. У меня все хорошо... С отпуском ничего не ясно. Что-нибудь прояснится через месяц, не рань-

ше. Потому тебе подстраиваться под меня не нужно; меня не жди, бери отпуск в августе — сентябре.

Более настойчиво добивайся путевки, чтобы отпуск был полноценным.

К тебе, возможно, зайдет один товарищ мой. Вместе служим. Он будет в Ленинграде дней десять, а потом поедет дальше — в отпуск на юг. Зовут его Толя.

Два дня назад послал тебе перевод на 200 рублей.

Обо мне, если долго не будешь получать следующего письма, не беспокойся. Все нормально. После командировки сразу сообщу. А ты пиши, приятно возвратиться, а в каюте лежит письмо.

Привет всем нашим знакомым.

До скорой встречи. Крепко целую. Борис».

Что же случилось? Почему он столько времени молчит? Может быть, заболел? Или поход продолжается так долго? Хоть бы предупредил в письме осторожным намеком. «Нет. Предупредить он, конечно, не мог. Борис — человек военный.— Она понимала это и даже в разговорах с сыном никогда не переходила грань дозволенного.— Сейчас схожу в магазин и на почту,— решила она.— Возьму конвертов. И напишу ему еще раз».

Мария Денисовна порылась в буфете, отыскивая невесть куда запропастившуюся сетку, проверила, на месте ли кошелек. В последнее время она стала рассеянной: то одно забудет, то другое. Старость, что ли, подходит?

Она уже направлялась к двери, когда раздался звонок. Звонили один раз. «Значит, мне! Может быть, телеграмма от Бори?..»

Скинув пальто, она бросилась открывать.

На пороге стояло двое моряков. Один, капитан 1 ранга, спросил:

— Вы Мария Денисовна Корчилова?

— Я. Что-нибудь с Борей? — Какое-то шестое чувство подсказало ей, что с этими людьми в дом входит беда.

— Нам нужно с вами поговорить.

— Да, пожалуйста! — засуетилась она.— Что же мы стоим! Проходите. Раздевайтесь...

— Спасибо, мы ненадолго.

— Что с Борей? — почти выкрикнула она.— Что? Почему вы молчите?

— Борис тяжело заболел.— Она уловила фальшь в

тоне капитана 1 ранга и сразу поняла: ее «подготавливают».

— Его нет? — спросила шепотом, сама не узнавая своего голоса.— Я выдержу все. Я хочу знать правду.

— Борис заболел,— упрямо повторил моряк.

— Так что же мы сидим? Нужно ехать к нему. Скорее! — Она схватила пальто и только тогда сообразила: куда ехать? На Север на машине не поедешь. А он, судя по всему, там.

— Да, нужно ехать,— подтвердил капитан 1 ранга, пряча глаза.— Нужно ехать. Внизу ждет машина.

— Я сейчас, я сейчас...— Она засуетилась, оглядывая комнату, и с тайной надеждой спросила: — Что ему взять? Что привезти?

— Ничего не надо, Мария Денисовна.— Моряк, видимо, уже не в силах был лгать, и по его остановившимся, виноватым глазам — словно он казнился, что принес такую весть,— она поняла: сейчас она услышит о непоправимом, страшном...

— Его нет? — машинально повторила она. Моряк побледнел. Она скорее угадала, чем услышала его ответ: «Да, будьте мужественны, Мария Денисовна. Борис скончался...»

Она смутно помнила, что было потом. Второй спутник моряка скинул шинель и оказался почему-то одетым в белый халат. Тело ее ощутило боль — шприц неаккуратно задел кожу, и она очнулась. Потом была стремительная езда на машине, аэродром, полет, как в тумане, и снова небытие.

3

Множество раз был Сергеев на Севере. Собственно, вырос здесь, но увиденное сейчас потрясло не меньше, чем глава из научно-фантастического романа.

Когда машина вывалила из-за сопки, он подумал, что все это ему только мерещится.

После долгих часов езды по серой тундре, однообразно разутюженной древними ледниками гор, после холодного мерцания бескрайних снегов с чахлыми скрюченными ветками и карликовыми северными березками перед ним открылся московский Юго-Запад.

Ошибиться было невозможно: изящные неоновые све-

тильники расцвечивали заиндевелую землю тысячами алмазных искр. Зеркальные плоскости ярко освещенного дворца, по красоте не уступающего новейшим постройкам Москвы и Ленинграда, казались плывущей в ночи палубой океанского лайнера. «Кафе», «Книжный магазин», «Мебельный магазин» — рассказывали теплые огненные буквы. Многоэтажные дома со светящимися проемами окон приглашали в гости. Пластика и стремительная строгость современных архитектурных форм оттенялась здесь, в Заполярье, нетронутой, дикой красотой природы. Фоном домов были прекрасные в своей зимней суровости скалы.

Анатолий подумал: а какое здесь волшебство летом! Знамениты ленинградские белые ночи. Но разве сравнятся они с северными, когда солнце, совсем не уходя за горизонт круглосуточно несет вахту в бездонном небе. Когда оно пронизывает каждый атом воздуха, разлагая его на немыслимые акварельные спектры. Когда туманы становятся золотыми, а красный и янтарный цвет, словно соперничая друг с другом, щедро отдают свои тона морю, облакам, сопкам, зеркальным озерам и тихим бухтам.

Когда природа смешивает краски с палитр Кента и Рериха, Айвазовского и Нестерова, нет ни одного мгновения, похожего на другое, все ежесекундно меняется: то лиловатая дымка коснется воды, то брызнет волна темной лазурью со снежной шапкой пены.

Чайки и те — то темными силуэтами на огненных всплесках горизонта, то белой вьюгой в темно-синеющем мареве.

Сейчас почти забыли замечательного, необыкновенно талантливого русского художника полярника А. А. Борисова, патриарха северной темы. Как-то Анатолию повезло: у букиниста удалось достать первое издание путевых очерков Борисова «От Пинеги до Карского моря» с цветными воспроизведениями работ, многие из которых теперь безвозвратно утеряны. Сергеев не знал, знаком ли с творчеством Борисова Кент, но близость их восприятия Севера поражала.

«Я переживал то время,— рассказывал Борисов,— когда полночь так же светла, как и полдень... То разнообразие тонов и теней, которое является в наших широтах результатом смены дня ночью и обратно, совершенно

отсутствует. Серенький тихий день, все однообразно, все мертво. Жутко чувствуешь себя в этой безграничной пустыне, где даже не примечаешь линии, ограничивающей горизонт.

В тихий день все сливается в общем ощущении какого-то беспредельного пространства, спокойного, но холодного и неумолимого. Но стоит прорваться серой пелене тумана или сплошному однообразному слою облаков, и картина мгновенно меняется: между землей и небом устанавливается связь, и земля, одетая в белоснежный покров, повторяет то, что говорит ей небо.

В свою очередь и на облаках, парящих на далеком небосклоне, опытный взор видит отражение того, что находится на земле или на воде, далеко за пределами горизонта. На душе становится легче: исчезает та гнетущая тоска, которая окутывала душу так же тесно, как туман Землю...

В этой природе главная красота рефлексов — в тех необыкновенных нежных переливах тонов, которые только и можно сравнить с драгоценными камнями, отражающими одновременно лучи зеленоватые, голубоватые, желтоватые... Если нашу обычную природу средней России можно изобразить тонами и полутонами, то даже для приблизительного изображения Крайнего Севера необходимо ясно отдавать себе отчет даже в одной десятой тона.

Только правдой, глубокой правдой... передачей странных, порой поразительных сочетаний тонов можно достигнуть того, что через два-три месяца, вдали от мест, где написан этюд, полотно даст некоторое слабое представление о виденной картине природы: когда же смотришь на этот самый этюд рядом с природой, какой жалкою и дерзостною попыткой представляется он разочарованному художнику».

— Трудно соревноваться архитектуре с такой красотой! — Сорокин обнял Сергеева. И снова пригласил в машину.— Не устал?

— Нет.

— Тогда хочу тебе вначале городок показать. Когда мы сюда прибыли, ничего этого здесь не было.

— А что было?

— То же, что ты видишь за домами: скалы, сопки, кустарник, а дальше — безжизненная, голая тундра.

— Как-то не верится...

— И мне вначале не верилось, когда мы пригласили лучших ленинградских и рижских молодых архитекторов и как бы между прочим им сказали: «Нам нужен город... И не какой-нибудь! Красивый город... Так сказать — последнее слово архитектуры...»

— А они?

— Вначале посмотрели на меня подозрительно. Подумали — шутка. Здесь, в тундре, в заснеженных скалах — и такое... А потом увидели, что разговор серьезный, и загорелись.

— А ведь это здорово! Современный город на краю земли у океана!..

— И как видишь,— продолжал Сорокин,— кое-что уже удалось сделать.

— Хорошенькое кое-что...

Город был настолько молод, что даже не имел улиц. Вернее, улицы были, но названий им еще не придумали.

Было нетрудно догадаться, их даст сама жизнь, как дала она имена улицам собрата этого далекого северного городка — Полярного. Полярный тоже возведен моряками. Среди волшебных сопок, которые приходилось рвать совсем не волшебным динамитом. Город-матрос, город-воин, он и улицы окрестил именами своих героев: улица Гаджиева, улица Сафонова, улица Колышкина... Идешь по ним, как листаешь учебник истории.

Когда-нибудь, подумал Сергеев, пойдут в арктическом городке ребята в школу по улицам Сорокина, Петелина, Жильцова, Игнатова, Сысоева, Морозова...

— А теперь — ужинать.— Сорокин решительно взял Анатолия под руку.— А то, называется, пригласил гостя!.. Едем ко мне домой.

Раскрасневшийся с мороза Сорокин пришел наутро к двенадцати.

— Я на минутку. За тобой. Ты готов?

— Вполне.

— Ну и отлично. Одевайся. Сейчас я познакомлю тебя с очень интересным человеком. Михайловским Аркадием Петровичем. Это, видимо, то, что тебе надо... Готов? Поехали!..

У Михайловского Сергеев пробыл два часа. Он ругал себя, что украл у занятого человека столько времени.

Впрочем, он, Анатолий, не так уж и виноват. Их разговор то и дело прерывался.

Направляясь в гостиницу, Анатолий размышлял о характере Михайловского. Порывистый, весь нетерпение, динамика, страсть, воля — он казался мощным аккумулятором энергии, передававшейся от него всем, кто с ним соприкасался. Он обладал счастливым даром вселять в людей беспокойство.

Сергеев еще не видел людей, будь то капитан 2 ранга или старшина, кто бы выходил от Михайловского равнодушным. Люди появлялись на пороге его каюты озабоченными, радостными, покрасневшими, пережив крепкую взбучку, но никогда теми же, какими входили к командиру.

При всем при этом Михайловский умудрялся никогда не повышать голоса, ведя разговор таким образом, что человек должен был сам себе ответить на все то, что в данный момент Михайловского тревожило.

Нельзя было сказать, что его боялись. Худшим наказанием для людей был, судя по всему, вот такой разговор. Михайловский долго верил человеку, если тот ошибался. Солгавший единожды мог ставить на своих отношениях с Михайловским крест. Ложь он презирал: «Разгильдяя можно перевоспитать. С лгуном можно погибнуть. Обманувший единожды обязательно соврет еще когда-нибудь. А это может слишком дорого обойтись... Дело ведь в том, что лгущие заботятся только о себе, о своем мелком благополучии — лишь бы у него не было неприятностей. На других ему наплевать. Значит, он потенциальный предатель. Может быть, не в полном смысле этого слова. Предатель, так сказать, не по «злому умыслу». Но ведь людям от этого не легче. Скрытая от командира правда может обернуться непоправимой бедой для лодки, для всей команды...»

В некоторых людях резкость суждений коробит: возникает сомнение, имеет ли человек на нее внутреннее право. В Михайловском она была естественна. Беспощадный к себе — этого другие не могли не видеть,— он, когда дело касалось службы, так же беспощадно спрашивал с подчиненных, и только новичкам поначалу Михайловский казался педантом. Тот, высший смысл, который был в этой кажущейся придирчивости, скоро становился очевидным, и, как ни тяжело было вначале, такая постанов-

ка дел облегчала уже позднее: налаженное дело идет естественно и просто, без ЧП и недоразумений, свойственных штурмовщине, неритмичности, пусть временной, но расслабленности...

Они разговорились о взаимоотношениях командира лодки и экипажа.

— Вы читали роман Александра Крона «Дом и корабль»?..— неожиданно спросил Михайловский.— Отличная книга. Есть там, между прочим, такие строки.— Михайловский взял со стола книгу, открыл на закладке.— Послушайте: «Что может быть недемократичнее по своей организации, чем подводная лодка? Все слепы — вижу, я один. Все глухи и немы — только я знаю код. Я веду, я атакую, я командую — остальные слушают и исполняют. Но я бы погубил лодку, если б монополизировал право думать. А вам не приходило в голову,— он понизил голос,— что корабль может оказаться в условиях, когда земные законы практически перестают воздействовать и лодка становится похожей на снаряд, летящий в звездном пространстве? Когда смертельная опасность близка, а трибунал далеко — где-то на другой планете? Что сдержит тогда людей, чтобы они не превратились в обезумевшее стадо? Только сознание, только мысль».

Подумав, он прокомментировал прочитанное:

— Командир только тогда чего-нибудь стоит, если в случае его гибели люди будут действовать так же, как если бы он остался живым... Гениальные командиры-одиночки хороши только в кинофильмах. В жизни же уникальный командир и слепо смотрящая ему в рот команда — такого не бывает. А если и бывает, то очень скоро кончается. При первом же серьезном испытании...

Когда Сергеев поднялся от штаба на сопку, в глаза ему ударила сверкающая даль моря. Оледенелые скалы сверкали под солнцем холодящей душу белизной, прорезанной черными и алыми гранитными стрелами.

4

Север начинается с удивления.

Арктика! Если было бы дано человеку окинуть тебя сразу, одним взором... Но немыслимо даже представить бесконечные просторы твои.

Где-то солнце высекает тысячи огненных искр на аквамариновой поверхности океана. А где-то косые струи снега яростно бьют в упругую волну, и морзянка, захлебываясь в эфире, летит на Большую землю с дальних островов. Где-то с треском ломается лед, плитами и глыбами оседая на черной палубе всплывшего атомохода. А через какие-то две-три сотни километров трудяга ледокол подминает под себя зеленые льдины, прокладывая курс нетерпеливо дымящему каравану. Взвились дымки над серыми валунами припорошенной вьюгой отмели — охотники обнаружили лежбище моржей. Самолет ледовой разведки идет к Диксону, а навстречу ему торопится, выбирая дорогу в разводьях, гидрографическое судно. Долго, угрюмо провожает его взглядом белый медведь, взобравшийся на вершину тороса. Встает рассвет над могилами Прончищевых и Седова.

Как ни чист отфильтрованный воздух в лодке, его все же не сравнишь с тем, что ударил сейчас из открытого люка — словно настоянный на морозе, звонкий, пьянящий, резкий.

Необыкновенно тихо было вокруг.

Сысоев боялся хоть чем-нибудь встревожить эту тишину. Слишком редко выпадают такие минуты на долю человека. Особенно в сумасшедшей городской толкучке, где все мы куда-то спешим, со скрежетом мчатся поезда метро, автобусы и трамваи, выигрывая у времени минуты и секунды. Как будто ценны только те мгновения, когда мы летим очертя голову и наивно полагаем, что бережем время.

Но человеку нужно когда-то и останавливаться. Чтобы подумать, рассмотреть тысячи прекрасных вещей, которые пролетают мимо нас, не успев ни обогатить сердце, ни даже привлечь внимание. Но разве можно из окна курьерского поезда почувствовать волшебство летнего ромашкового луга, с теплыми волнами цветущего клевера, с пронзительно холодной водой ручья, несущего листья и сосновую хвою!

Так и Арктику нельзя понять и почувствовать только с борта судна или из иллюминатора самолета.

Арктика любит сосредоточенность.

Тогда ты увидишь и креветку на льду, и полузанесенные снегом медвежьи следы, и такую нежную здесь зелень водорослей, вмерзших в перевернувшуюся льдину.

Различишь, как акварельная глубина льда переходит в аквамарин, тронутый кое-где бледными зелеными прожилками. Заметишь, как снежинки, медленно опускающиеся на темную холодную воду, начинают смерзаться, образуя вначале мокрые комья, на которых уже через пять — десять минут снег перестает таять. Расщелина на твоих глазах затягивается, становится у́же, и вот уже поземка сгладила края льдины, сровняла плоскости. Только небольшая вмятина на целине сможет напомнить, что здесь недавно была полынья.

Да мало ли какие тайны может открыть Арктика, если к ней придет не безразличный турист, а человек с горячим сердцем.

Кто знает, где кончается в нашей жизни прошлое и начинается настоящее. Наверное, нет такой меры и таких вех. Ведь сказал когда-то Экзюпери: «Все мы приходим из далекой страны детства». Но ее сопредельная область — юность. И нет здесь пограничных столбов, лишь весьма относительные пометки в анкетах определяют человеческий возраст.

Впрочем, в анкете Сысоева об этом не было ни слова. Такое не принято писать в анкетах. А зря...

В 1944 году среди тысяч мальчишек, окончивших девятые классы в Куйбышевском районе Ленинграда, был Юра Сысоев.

— Дальше в школу не пойду,— твердо заявил он матери.

— Что же ты думаешь делать?

— Ты не беспокойся. Я уже подал заявление в подготовительный класс военно-морского училища. Там и сдам за десятый.

— Дело, конечно, твое. Но ты серьезно все продумал?

— Да! Это решено не сегодня и не вчера...

— Что же, тогда счастливого плавания! — мать улыбнулась.— Кажется, так у вас, моряков, желают...

— Ну какой я еще моряк, мама!..

Они шли залами, длинными коридорами, мимо моделей кораблей, имена и историю которых он давно знал как свои пять пальцев, просидев не одну ночь над кни-

гами о легендарных морских сражениях и флотоводцах. Со стен, с потемневших от времени полотен, казалось ему, немного удивленно и пытливо смотрели на него люди, чьи имена он произносил с благоговением. Изодранные в клочья, реяли на холстах гордые паруса, пылали в предсмертной агонии корабли, дымились пушечные порты.

Неужели ко всему этому он хоть когда-нибудь, хоть отдаленно, будет причастен?

Капитан 1 ранга улыбнулся. Кто-кто, а он-то отлично понимал, что сейчас творится в душе его подопечных. Давно это было, но и он точно так же, затаив дыхание, проходил впервые этими коридорами.

— Вы должны гордиться, что будете учиться в этих стенах,— начал он рассказ.— Многих замечательных людей видели они.

Когда в Северную войну 1700—1721 годов был создан русский Балтийский флот, очень остро встал вопрос о подготовке национальных офицерских кадров. Петр I и основал в январе 1701 года первое в России военно-морское учебное заведение — Навигацкую школу. «Школа оная,— говорилось в указе,— не только потребна единому мореходству и инженерству, но и артиллерии и гражданству к пользе».

И уже в Северной войне многие фрегаты и скампавеи вели в бой воспитанники этой школы — впоследствии Морского кадетского корпуса. На всех картах мира, во всех учебниках истории обозначены имена его воспитанников: Степана Малыгина, Алексея Чирикова, Алексея Нечаева, Харитона Лаптева, Семена Челюскина. Русский флот прославили его выпускники Крузенштерн и Лисянский, совершившие кругосветное плавание на шлюпах «Нева» и «Надежда». Беллинсгаузен и Лазарев, командовавшие первой русской экспедицией в южные широты на шлюпах «Восток» и «Мирный» и открывшие Антарктиду и многое, многое другое.

Не нужно говорить, что значит для истории России имена адмиралов Ушакова, Спиридова, Сенявина, Лазарева, Нахимова, Корнилова. Все они вышли из этих стен...

Ребята слушали затаив дыхание. Было так тихо, что из-за закрытых окон доносился звон трамваев, идущих у Невы.

— Среди воспитанников корпуса,— продолжал капитан 1 ранга,— композитор Римский-Корсаков, писатель Станюкович, ученый Даль, художники Боголюбов и Верещагин, изобретатель первого в мире самолета капитан первого ранга Можайский.

Восстание на крейсере «Очаков» возглавил выпускник Морского кадетского корпуса лейтенант Шмидт...

— А кто из выпускников училища сражался в Отечественную войну? — спросил кто-то тихо.

— Все сражались... Я вам назову только несколько имен: Колышкин, Фисанович, Иосселиани, Стариков, Осипов, Кесаев, Кочилев, Грешилов, Гаджиев... О боевой истории училища вам еще много раз подробно расскажут преподаватели...

Долго не мог уснуть в тот вечер курсант Юрий Сысоев. В голове все как-то плыло и путалось: Ушаков и Можайский, кабинеты, сложнейшие электронные приборы, электрические схемы и штурманское оборудование, смонтированные на панелях, кабинеты мореходной астрономии, автоматы и реле...

Разве можно освоить всю эту премудрость? И море казалось ему еще дальше, чем вчера.

— Юрка, как тебе все показалось?—словно угадывая его мысли, шепотом спросил высунувшийся из-под одеяла приятель.

— Трудно будет...

— Да, это тебе не книжки о путешествиях читать.

— Надо выдюжить.

— А кто говорит, что не надо?!

Решив таким образом основной мучивший их вопрос, они, вздохнув, заснули.

Нудный балтийский дождь барабанил по стеклу, глухо ворчала за окнами осенняя Нева, а где-то высоко-высоко за тучами горели в небе звезды.

Далекие, как их будущие голубые дороги. Кто из них, ребят, мог тогда знать, что и их имена когда-нибудь с гордостью назовут в этих прославленных стенах?..

В 1949 году на подводную лодку пришел молодой штурман, выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе Юрий Сысоев.

5

Во второй половине сентября 196... года они двинулись в путь. Было тихое, ясное утро. Моряки шутили:

— Сам Нептун за нас! Дает «добро» на поход...

Надрывается ревун.

Мгновенно опустел мостик. Задраили люк...

Наутро следующего дня адмирал Касатонов собрал командиров в кают-компании. Впрочем, понятие «утро» было для них весьма относительным — лодка шла в подводном положении, и днем и ночью одинаково ровным светом мерцали матовые плафоны. Определить время суток можно было лишь по корабельным часам да четким сменам вахт.

— Я вызвал вас,— начал адмирал,— чтобы более обстоятельно определить задачи похода. Он не похож ни на один из предшествовавших не только потому, что нам, морякам, доверена высокая честь впервые в истории отечественного флота покорить полюс из глубины — всплыть точно на широте девяносто градусов.

Вы знаете, как давно и тщательно ведется наступление на Арктику, исследование ее.

Возможности, которые дают и науке и мореплаванию такие корабли, как ваш, воистину безграничны.

На корабле впервые установлены новейшие гидроакустические и гидрологические системы и комплексы. Мы несем новое оружие. Потому-то так много среди нас ученых, конструкторов. Наша задача — создать им по возможности идеальные условия для работы.

Кстати, среди наших коллег-ученых я вижу и тех, кто уже не впервые придет на полюс. Будем брать пример со сторожилов...

Когда командир лодки Сысоев раньше пытался представить себе все это, ему казалось, что минуты, связанные со штурмом полюса, будут особо торжественными.

Наверное, все мы ошибаемся в таких предположениях: истинный подвиг небросок. Во всяком случае, он приходит без театральных эмоций и жестикуляции.

Если бы репортер решил описать все, что происходило в эти минуты на лодке, ему пришлось бы туго.

Не было ни восклицаний, ни объятий, ни восторга. Не было ничего такого, что в плохих газетных материалах относят к понятию радости.

Люди молчали. Они стояли у приборов и механизмов, собранные, как сжатая пружина. И только короткие команды и еще более короткие «есть» нарушали тишину. Вернее, не тишину, а тот особый звуковой мир, который складывается только на подводной лодке: мягкий шорох воды за бортом, приглушенный гул винтов.

Лишь для акустиков океан жил своей неповторимой жизнью в тысячах шорохов и шумов, плеске водяных струй и еле различимом дыхании океана. Да еще подобие далекой морзянки — стаи рыб стремительно уходят прочь, увидев надвигающуюся тень атомохода.

Скрип, скрежет льда.

Это только несведущему человеку может показаться простым такое всплытие. Тысячи опасностей подстерегают лодку и ее экипаж. Ошибка в расчете — врежешься в паковый лед. Промедлишь минуту — полынья окажется где-то сбоку или сзади, и тогда нужно с не меньшим риском повторять все маневры сначала. Не скоординируешь время и выкладки — удар корабля придется по многометровым льдам, а это чревато катастрофой. И было бы большой неправдой сказать, что они, стоявшие сейчас рядом,— Сысоев и командующий Северным флотом адмирал Касатонов, решивший самолично возглавить этот трудный и опасный поход,— были спокойны.

Штурман, деловито посапывая, склонился над картой. Спокойно лицо вахтенного. Только глаза моряков выдают волнение.

Касатонов знал, что они волнуются, как и он, но скрывают это, ибо все эффектно-показное глубоко чуждо морским традициям и сложившимся на лодке правилам.

Прошел день, второй, третий.

29 сентября Сысоев подошел к полюсу.

Он посмотрел на часы. 6 часов 45 минут утра.

— Включите прожектор!

— Есть, прожектор!

Свет выхватил из темноты неровные края огромной льдины.

— К всплытию...

— Отдраить люк!

Вот он — полюс!

Начался уже тот период на Севере, когда солнце не всходило над горизонтом. С 25 сентября оно начало кружить где-то за ним, почти поднимаясь к заветной

черте, но уже не находя сил взять вверх еще несколько километров, чтобы послать своими лучами привет полюсу.

По всем календарям Арктики полярная ночь уже наступила. Но поскольку солнце еще бродило где-то очень близко за горизонтом, оно превратило дали в бледно-серые дрожащие марева. Ни день ни ночь. Сумерки.

Облака низко стелились над ледяными полями, затянув небо сплошной пеленой. Время от времени сыпал мелкий сухой снежок.

— Температура?

— Минус шестнадцать...

«Ну что ж,— подумал Сысоев,— как в Подмосковье. Жить можно».

Он огляделся. Удивительно ровное ледяное поле окружало лодку. Только на горизонте виднелись торосистые нагромождения льда.

— Команде с Государственным флагом Родины и Военно-морским флагом—на лед! Свободным от вахты разрешается сойти с лодки...

Государственный флаг СССР и Военно-морской флаг были водружены в точке с географической широтой 90 градусов.

6

Только моряк по-настоящему поймет, что это значит для командира — прощаться со своим кораблем. Рабочий, навсегда уходящий с завода, слышит по утрам его приветливые гудки. Он может в любой момент, когда ему вздумается, подъехать на метро или троллейбусе к знакомой проходной и снова увидеть родные лица.

Пути моряка и его корабля редко перекрещиваются после расставания. Человек уходит на другие моря, и в океане слишком много дорог, чтобы судьба подарила еще одну негаданную встречу.

А ведь командир и корабль — одно целое. Больше того, каков командир — таков и корабль. Мертвый металл одухотворяют люди, и гвардейские или краснознаменные флаги, бьющиеся на тугом ветру,— это свидетельство мужества команды, смелости и мастерства того, кто стоит во главе ее.

Командир чувствует корабль, как врач больного. По неуловимым для постороннего шумам он мгновенно оп-

ределит, что начинает хворать дизель. По нагреву маленькой трубки, нагреву почти нормальному, поймет: нужно проверить трубопровод. Он каждый день касался этого металла рукой, и колебания температуры здесь — как собственный пульс.

Корабль живет для него тысячами невидимых для других граней, звуков, температур, шорохов, красок. Он — часть его «я», его внутреннего мира. Он и дом, и судьба, и счастье, и тревога — все в нем, в корабле, на котором пройдены и счастливые, и горестные мили. Кружили созвездия в небе, пролетали штормы, открывались неведомые берега и глубины — он дарил людям это ни с чем не сравнимое счастье первооткрывательства, как счастье первого свидания и первой любви.

Сысоев последний раз обходил отсеки и чувствовал, что эти мгновения, как острым ножом, отсекают уже неспособные повториться минуты, часы и годы.

Что же — будь счастлива, лодка! Ты была верным и умным другом. Ты растила нас, а с нами стала легендарной. Отъединить друг от друга нас невозможно: каждый миллиметр стали твоей согрет человеческой теплотой, без этого ты была бы куском мертвого железа. Мы вместе делили риск и удачу. И нахлобучки и почести. Когда к матросским фланелевкам прикрепляли ордена, далеко в Москве думали, каким орденом осенить и твою боевую сталь. У нас все было пополам, все поровну.

Сысоев специально выбрал время, когда на корабле остались одни вахтенные. Прощаться с каждым было выше его сил. По крайней мере, сейчас, в эти мгновения. Потом будет торжественное прощание, там легче: определенный ритуал сдержит чувства. Но и он же не дает возможности вот так, как сейчас, остаться с кораблем один на один, без лишних свидетелей и слов, пусть искренних, но иногда менее нужных человеку, чем молчание.

Соколов понимал состояние Сысоева и, отстав на три шага, старался по возможности снять уставную атмосферу докладов в отсеках.

— Отставить,— тихо командовал он, прерывая рапорт.— Командир прощается с кораблем.

Люди понимали с полуслова. Рапорт обрывался на полуслове.

В центральном посту Сысоев рассмеялся.

— Что-то уж очень торжественно, Николай! Не на пенсию же вы меня провожаете! Мы еще с тобой повоюем. Правда,— тоска послышалась в его голосе,— не на этом корабле... Не на этом корабле,— повторил он машинально, для самого себя, и вдруг неожиданно скомандовал: — Поднять перископ!

Стальная труба с мягким шорохом поползла вверх, и, когда окуляр оказался на уровне глаз Сысоева, он откинул ручки. Потрогал их черную теплую насечку, повернулся к Николаю:

— Мне одного хочется пожелать тебе... Знаю, с командованием лодкой справишься. Знаний и моряцкой хватки тебе не занимать... Но вот чтобы почаще эти глаза,— он тронул рукой линзу,— видели то, чего до вас никому не посчастливилось увидеть.

— Спасибо!..

— Понимаешь, я долго размышлял над тем, что называют «удачей». И пришел к выводу: сегодня, в наши дни, она не «счастливый случай». Понимаешь, какая тут цепочка получается. Если корабль отстает, если на нем не все в порядке, если на него нельзя абсолютно точно понадеяться — я имею, конечно, в виду команду,— его никогда не пошлют на выполнение ответственного задания. Тем более туда, где предстоит встреча с неизвестным.

Значит, и удачи не будет. На проторенных легких дорожках она не встретится.

Все эти разговоры — одному повезло, другому не повезло — поверь, Николай,— чушь. Везет тому, кто оказывается на уровне времени и задач, стоящих перед флотом. Черта с два нас послали бы на полюс, если бы эта лодка плелась где-нибудь в хвосте соединения по всем данным. Или хотя бы по некоторым из них.

Дело здесь не во мне. Ты не подумай: вот, мол, расхвастался Сысоев, поучает. Не я вывел корабль в передовые. Каждый матрос здесь, и ты очень скоро убедишься в этом, живьем съест соседа, если увидит, что по его вине мы начинаем сдавать темпы. Важно уберечь, сохранить такую атмосферу на лодке. Это уже вроде бы область психологии. Но это только так кажется. Стоит исчезнуть взаимоответственности — все пойдет прахом. Будут и отличники, и прекрасные специалисты — все будет. А корабля не будет.

— Я понимаю, Юрий Александрович.

— Где-то я читал,— Сысоев говорил тихо, чтобы его слышал только Соколов,— об одном директоре крупного предприятия. Он специально отправлял начальников цехов куда-нибудь подальше: либо в отпуск, либо в командировку. И наблюдал, как работает цех во время отсутствия руководителя. Если хорошо, значит, начальник на высоте, сумел создать коллектив, не нуждающийся в ежедневных няньках, окриках, понуканиях. Значит, механизм цеха отработан до совершенства. Значит, люди здесь выросли настолько, что каждый видит и понимает свою задачу, умеет решать ее самостоятельно.

— А у тех, у которых с их отъездом дела шли хуже?

— Тут дело было ясное. Очевидно, что такой руководитель кадры не растил, не приучал к самостоятельности, не развивал в людях инициативу. Кому нужен такой руководитель?

— Но это же не означает, что такой человек бесталанен, глуп, не нужен?

— Почему? Смотря какой участок он возглавляет. На флоте, например, по моему мнению, такие командиры попросту вредны. Представь себе корабль в бою. Командира убили. Что же будет, если весь внешне слаженный механизм корабля вдруг расстроится. Это же смерть и верная гибель всех. И наоборот, люди, воспитанные для самостоятельных действий, не боящиеся взять на себя ответственность, спасут положение и добудут победу. Только так, Николай.

— Пожалуй, вы правы.

— Почему «пожалуй»? Проверь все это на себе. Возможностей таких у тебя будет предостаточно. А у нас, к сожалению, не перевелись еще командиры, которые считают, что корабль держится лишь на их мощных плечах. Они резки, стараются лезть в каждую мелочь, хоть, например, общеизвестно, что, скажем, акустик или инженер-физик лучше разберется в своем хозяйстве, чем человек пусть не посторонний, но не знающий дела в тонкостях. А развей у этого акустика инициативу, он выжмет из своей техники все, что возможно. И даже сверх того...

К тому же командир, как и все люди, человек. Он неожиданно и заболеть может... Да мало ли чего не бывает на море!.. А задача должна быть выполнена на «отлично» независимо от здоровья или нездоровья одного человека. Даже командира...

Сысоев посмотрел на часы.

— Заговорились мы... Вот я тебе тут целую лекцию прочитал...

— Все это очень интересно.

— Не знаю. Просто прорвалось как-то. Нелегко, Коля, с кораблем прощаться. Столько здесь пережито.

— Я понимаю.

— Ну, ни пуха тебе, ни пера, Николай! — Сысоев обнял Соколова.— Держи флаг высоко и никогда ничего не бойся.

— Вроде бы не из пугливых, Юрий Александрович.

— Знаю. Потому и верю. Пойдем...

На пирсе Сысоев, уже отойдя от корабля шагов на пятьдесят, оглянулся.

Хмурой, насупившейся стояла лодка, тяжело вдавленная в черную воду. А может быть, это ему показалось: просто тучи, набухшие дождем, опустились почти до рубки, хмарь приблизила громады сопок. Да еще заунывно пел в вантах плавбазы холодный норд.

Глава VI

ПОДАРИ СЕРДЦЕ АРКТИКЕ

1

Значит, вот он какой — Север!

Валерий подхватил чемоданчик и перешел улицу. «Гастроном», «Книги», «Дары моря» — память машинально фиксировала вывески магазинов, залепленных талым, мокрым снегом.

Город стремительно взбегал по сопкам вверх, и за первой линией восьмиэтажных домов открывались вторая, третья, четвертая террасы. Справа в ущельях улиц проглядывал залив с множеством кораблей и черно-белыми сопками.

Перед стадионом Валерий остановился. На гранитном постаменте в крылатой плащ-палатке застыл в последнем смертельном броске бронзовый солдат.

«Анатолий Бредов»,— прочел он на тусклой омытой снегом бронзе.

Где-то уже Валерию приходилось слышать эту фамилию. Нужно будет при случае порасспросить знающих людей.

На противоположной стороне улицы из здания горкома партии выходила группа моряков в черных блестящих плащах.

«И в горкоме море»,— отметил Валерий.

Еще два десятка шагов, и необычным величием поразила его глухая стена высокого дома. На глыбах красноватого в лучах заходящего солнца гранита стоял огромный якорь. Таких больших якорей Валерию видеть еще не приходилось. Над якорем — гигантское мозаичное панно: ледокол крушил льды. На бронзовой доске выбито: «Ермак — дедушка русского ледокольного флота».

Валерий видел памятники людям. Но чтобы памятник кораблям... Впрочем, ему это понравилось. А почему бы и нет?! Это даже здорово — памятник кораблю. Ведь «Ермак» — это и подвиг адмирала Макарова, и вся наша полярная молодость.

«Такой памятник мог поставить только моряк и полярник,— с неожиданной нежностью подумал Валерий.— Деляга этого не сделает, ясно...»

Концом своим улица упиралась в сопку, и, посмотрев на часы, Валерий повернул обратно. Хотелось взглянуть на город сверху, но, пожалуй, не успеть — до катера часа два. Если, конечно, не подвернется попутная машина.

Снова потянулись уже знакомые теперь вывески: «Гастроном», «Аптека», «Детский мир», «Дары моря».

Заметив выбежавшего из магазина старшину, Валерий подошел и, не веря, конечно, в удачу, спросил:

— Вы не из хозяйства Сорокина?

Старшина обернулся.

— А тебе что надо?

— Добраться. Назначение туда получил.

Старшина какое-то время пристально рассматривал его.

— Покажи документы.

— А ты что — патруль?

— Патруль не патруль, а надо знать, с кем говоришь.

Валерий усмехнулся и вынул из кармана командировочное предписание.

— Ну что же, можно, конечно, и подбросить. Только туда на машине не доедешь. Путь долгий и сложный. Но

до бухты могу... Ты постой здесь. Мне в книжный магазин на минуту. И — поедем.

Валерий обошел машину, начал рассматривать обложки книг, выставленных на витрине. Внимание его привлекла мемориальная доска, прибитая слева на стене дома: «На этом месте стоял дом, где находился первый Совет рабочих и солдатских депутатов, объявивший Советскую власть на Мурмане...»

Город вроде бы молодой, а на каждом шагу — история...

Старшина вернулся минут через двадцать, держа под мышкой объемистый сверток...

Машина сильно взяла с места.

— Что за книги?

— «Мореходная астрономия», «Навигация». Здесь с этим неплохо. Город морской, и у букинистов иногда кое-чем удается разжиться...

— А зачем тебе?

— Через год демобилизуюсь — пойду в мореходку.

— Готовишься?

— Не то что готовлюсь, а почитываю.

— Может быть, познакомимся? Как-никак служить вместе будем.

— Николай.

— Валерий. Розанов. Слушай, а кто такой Бредов?

— Памятник видел?

— Да.

— Его мать до сих пор живет в Мурманске. Мой кореш с судоверфи с ней знаком...

— Мурманчанин, значит.

— Бредова здесь каждый мальчишка знает. Даже корабль такой есть — «Анатолий Бредов»... С Мурманской судоверфи он. Рабочий. В войну стал сержантом. Командовал отделением. В сорок четвертом он со своими ребятами дрался с гитлеровцами, отступающими на Печенгу. Ну и, понятное дело, пришлось им несладко.

— Убили?

— При чем тут убили? Убивали многих. А Бредов — один...— старшина сердито посмотрел на Валерия.— Двое их осталось... Остальные полегли. Последнюю гранату Анатолий оставил себе. Да и прихватил с собой на тот свет с десяток гитлеровцев. А всего они положили тогда более двухсот фашистов.

Николай рассказывал, как будто видел бой собственными глазами.

— Можно подумать, что ты там был.

— Был не был, а комиссар подробно рассказывал. Он в том же полку воевал...

— Какой комиссар?

— Много будешь знать, скоро состаришься,— Николай рассмеялся.— Ты не обижайся, кореш... Мы ведь только что познакомились, и, куда тебя направят служить, я еще не знаю...— Он минуту подумал и веско пояснил: — А лишнего нам, людям военным, говорить ни к чему...

— Ясно,— протянул Валерий.— Военная тайна...

— А ты не иронизируй... Не куда-нибудь едешь служить. На самые что ни на есть современнейшие корабли. Там с этим не шутят.

— С чем?

— С военной тайной, понятно...

Валерию вдруг стало скучно и одиноко. И еще обидно. Подумаешь, заладил: «военная тайна», «военная тайна»... Маленький он, что ли!..

Он сделал вид, что задремал.

— Сморило, кореш?

— Не спал ночь.

— А ты подремли,— предложил старшина.— Путь у нас, ох, какой долгий! Сто раз выспаться успеешь... У КП я тебя разбужу... Все будет в полном порядке, не сомневайся...

2

— Новенький?

— Вчера прибыл.

— У командира был?

— Еще не вызывал.

— Вызовет,— убежденно прокомментировал боцман.— Вызовет обязательно. У нас, браток, такой порядок... Со всеми лично знакомится...

Подошедший инженер-лейтенант окликнул Луню:

— Старпом приказал показать Розанову корабль. Поясните ему для начала что к чему.— И, неожиданно подмигнув Валерию, добавил: — Боцман у нас на весь

флот известен. Когда на полюсе всплывали, на рулях стоял. Так что, брат, в надежные руки передаю...

Луня поморщился:

— Зачем это, товарищ инженер-лейтенант?

— Ладно, ладно... Я же ничего особенного не сказал. Так, общая информация.

Луня решительно не походил на прочно сложившийся в Валеркином воображении классический образ боцмана. У Луни не было ни одного из профессиональных знаков боцманской доблести: ни бросающей в дрожь свирепой наколки на запястье, ни то что серебряной, но и самой завалящей дудки. Ни солидной кряжистости в фигуре. Ни хрипловатого баса, аккомпанирующего крепкому, соленому словцу.

К тому же боцман без усов виделся Валерию несолидным нарушением всех и всяких флотских традиций, с которыми, судя по всему, невесть что произошло.

Вопреки сведениям, сообщенным довольно известным маринистом, на округлом лице Луни не «витал гнев». Глаза не исторгали «неумолимую строгость»: в темных зрачках, скорее, светилось любопытство и еще жила неуловимая смешинка, то исчезающая где-то в глубине, то совсем откровенная. Мол, хоть на тебе, брат Розанов, и матросская роба, но моря ты, друг, еще не видел, и получится ли из тебя моряк — бабушка еще надвое сказала.

— Значит, адмирал, вместе служить будем.

Неизвестно, был ли здесь вопрос или неопределенное сомнение. Валерий подумал: стоит ли обижаться на «адмирала»? Явного подвоха в словах Луни не обнаружив, буркнул на всякий случай:

— При чем здесь «адмирал»?

— А ты, кажется, из обидчивых... Так дело не пойдет. Знаешь, что с одним обидчивым на соседней лодке произошло?.. Обиделся он на кока и вот уже полгода принципиально не обедает, не ужинает. Командир и команда в смятении: не знают, что делать. Корабль в море выводить боятся: вдруг человек с голоду помрет. Так у пирса полгода и стоят...

Валерий невольно улыбнулся.

— А вот так уже лучше. Ведь улыбка — это флаг корабля. Так, кажется?..

— Мне бы лодку посмотреть.

— Сейчас и посмотрим. Хмурым мы корабль не показываем. Опасно. Нейтроны в реакторе скиснут. А на простокваше далеко ли уйдешь?

Обижаться на Луню было решительно невозможно.

— Итак, морской волк, откуда курс держишь?

— То есть?

— Ну, где призывался?

— В Астрахани.

— Добро! — резюмировал боцман, и было непонятно, одобряет он сие обстоятельство из Валеркиной биографии или нет...— Хороший, говорят, город. А вот бывать не бывал. Хотя астраханскую селедку и пробовал. Впрочем, сейчас она уже не та стала. Верно?

— Может быть.

— Не может быть, а точно... Когда говорит боцман, он не ошибается. Ему виднее. Ясно?

— Ясно.

— Ну то-то... Пойдем.

Они спустились по вертикальному трапу вниз, и Валерий с тоской подумал, что ему, для того чтобы так же стремительно, как Луня, научиться буквально проваливаться в этот узкий люк, понадобится, наверное, не день и не два.

Познакомились они на Севере. Но толком поговорить тогда не удалось: ночью Игнатов уходил в море.

Вчерашняя встреча на Невском для обоих была неожиданной.

— Какими судьбами, Николай Константинович? — Сергеев искренне обрадовался встрече.

— В отпуске. А какой-же отпуск без Питера?! А ты?

— В командировке. Но два денька сумел выкроить для себя. Я же здесь, в Ленинграде, учился...

— Завтра в городе будешь?

— Да.

— Тогда давай встретимся. Сейчас мне нужно в гидрографию забежать. А поговорить надо.

— А где?

— У Крузенштерна...

— Старые тропки?

— Да. Заодно и прогуляемся. Ленинградом подышим.

— Договорились.

Здесь прошлое сошлось с настоящим.

Переменчиво ленинградское небо: то в неясном сумраке белых ночей, то в огненных полосах заката, прорезавших черноту набухших предгрозовых туч.

Тени ложатся вечером на глаза бронзового мореплавателя. Видели они и фрегаты, и шлюпы, опаленные пороховым дымом сражений и овеянные ветрами далеких южных широт. И тяжелая блокадная зима проходила по этой набережной, и невиданные ракетные корабли качала здесь на темной волне Нева...

От Морского музея Игнатов пошел мимо Университета, Дворца Меньшикова, Академии художеств и сфинксов, привезенных из Древних Фив и ставших неотъемлемой частичкой ленинградского волшебства.

На переходе через трамвайные пути Игнатова окликнул Сергеев. Некоторое время они шли молча, каждый размышлял о своем.

— Вот как ни приеду в Ленинград — волнуюсь.— Игнатов остановился, закурил.— Как перед первым свиданием. А ты?

— Тоже. Во всяком случае, для меня это праздник.

— Что у тебя нового?

— Нового много. Но об этом не расскажешь. Вот разве такой был любопытный случай: на одной из зимовок случилась беда — полярника серьезно ранило. Пробиться к ним ни самолеты, ни корабли не могли. Поймал я радиограмму о помощи. Запросил штаб.

— И что же?

— Разрешили.

— Пробились?

— Да. На лодке и операцию делали. Наш доктор — виртуоз. Ему бы где-нибудь главным врачом быть в столичной клинике. Но его от нас никакими посулами не выманишь.

— Поподробнее бы узнать об этой истории.

— Поподробнее сейчас нельзя... Через годик-два, может быть, расскажу...

— И на том спасибо.

— Пожалуйста.

— Может быть, наконец ты расскажешь о себе? Мне же для дела, для книги нужно.

— О себе — не знаю. Вот об отце рассказать стоит...

Отец был для него всем, и целый легион воспитателей не сделал бы для Николая столько, сколько он. Хотя его уже давно не было и уже много лет плыли облака над честной солдатской могилой.

Отец не мог, да и не хотел, учить сына «умеренности и аккуратности». Сын отлично знал, что батя, когда ему было одиннадцать лет, удрал в 1914 году на фронт, стал разведчиком и получил солдатского Георгия. А потом дрался с басмачами, плавал комиссаром подводной лодки на Тихоокеанском флоте, как заместитель начальника политотдела Пинской флотилии, участвовал в 1939 году в освобождении Западной Белоруссии. И в 1941 году пал под Киевом...

Был он живой легендой для сына, и потому в тот же горький сорок первый Николай ушел добровольцем во флот.

Потом об Игнатове говорили: «потомственная жилка». Тогда он не думал об этом, перед глазами стояло лицо отца, и мальчишка мечтал об одном: отомстить. И еще думал, как бы батя поступил на его месте.

Но так или иначе, жребий был брошен. И вот он, курсант Тихоокеанского морского училища, на боевом корабле первый раз идет в бой.

Впрочем, долго сражаться не пришлось, война с Японией закончилась быстро, и он ушел в высшее военно-морское училище. Много плавал на различного типа лодках. С отличием окончил академию...

Он множество раз всплывал и погружался в самых разных точках Мирового океана — капитан 1 ранга Николай Константинович Игнатов.

И все же свое первое всплытие у полюса забыть не может.

— Что поразило меня тогда? Необозримость завьюженной снежной равнины. Сказочная красота паковых льдов. И все это никак не ощущалось как «белое безмолвие». Может быть, здесь дело в человеке, в его восприятии.

Никому из нас не приходили в голову тогда высокие слова, но кто-то сказал: «Братцы, что же вы смотрите, ведь мы дома! Айда на лед!»

— «Мы дома!» Вдумайся.— Игнатов даже остановил-

ся, взяв Сергеева за лацкан пиджака.— «Мы дома!» В этих словах огромный психологический сдвиг в сознании людей. Раньше слово «Арктика» было принято ставить рядом с самыми страшными, леденящими сердце и ум эпитетами. Арктика была врагом, с которым нужно было драться. И порою не на жизнь, а на смерть. И вдруг — «мы дома». Значит, своей, нашенской стала Арктика. Почувствовали люди, какая огромная сила стоит за их плечами. Да что тут чувствовать, каждый мог оглянуться и увидеть рубку атомохода. На таком «кораблике» можно плыть хоть на край света.

Когда кто-то предложил сыграть на льду в футбол, предложение было принято «на ура». Погоняли мы мяч между торосами, разогрелись.

Но нужно было возвращаться на лодку. Посмотрел я и еще раз поразился, с какой ювелирной точностью мы всплыли — корпус атомохода еле-еле «вписывался» в полынью, затянутую льдом.

И вообще, будь я художником, я бы обязательно написал такое. Это удивительное зрелище, когда раскалываются льды и всплывает черный гигант. Сколько в этой картине мощи, силы, символического воплощения могущества человека. И еще что трогает — нежное, бережное отношение наших людей к жизни в Арктике. Проявляется оно порой, казалось бы, в незначительных мелочах.

Игнатов помолчал.

— Всплыли мы как-то среди льдин. Матрос увидел живую креветку на льду. Взял в руки и бережно опустил в полынью. Я вопросительно посмотрел на него.

— Живое существо! В Арктике встречаешь его не так уж часто. Нехай плавает...

Они перешли мост лейтенанта Шмидта. Мимо Медного всадника, Исаакия, «Астории», прошли на Невский. Поужинали в «Кавказском» ресторане и расстались где-то около двадцати трех часов.

Прощаясь, Николай вдруг погрустнел и неожиданно спросил Анатолия:

— Ты умеешь хранить тайны?

— Кажется, да... А что?

— Я никому еще не говорил об этом... Но знаешь, кажется, я, вообще-то, отплавался...

— Как так?

— Врачи нашли что-то в легких. Я и на курорт ездил, и лечился... Улучшений нет. Возвращаюсь на лодку, а на душе кошки скребут... Я никогда ничего не боялся... А вот предстоящей медицинской комиссии боюсь до чертиков. Ужас! — Он поежился. Анатолий хотел что-то сказать, но Николай жестом остановил его: — Не надо, Толя... Не говори ничего. Я знаю, как ты ко мне относишься. И у меня — не минутная слабость. Пойми — это дело всей моей жизни. Ее смысл. И утешать меня не надо. Я достаточно сильный человек, чтобы встретить любую беду. Прощай, друже!.. До встречи.

Когда Анатолий отошел на несколько шагов, Николай окликнул его:

— Ты особенно-то не переживай... И пусть тебе ничего не мерещится... Я так просто не сдамся... Я еще драться буду... Зубами и ногтями... Насмерть!..

Через два месяца медицинская комиссия решила: самым категорическим образом служба на подводных лодках контр-адмиралу Н. Игнатову воспрещается... Решение было окончательное и обжалованию не подлежало.

В таких случаях человеку всегда бывает немного не по себе, но, увидев вокруг доброжелательно-любопытные улыбки, Валерий несколько успокоился.

— Расскажи о себе,— секретарь было сел, но, подумав, добавил: — Это не потому только, что положено по уставу. У нас так принято... Подводная лодка есть подводная лодка... Так что хочется знать, с кем спишь рядом, с кем в поход идешь... Потому такой разговор — не праздное любопытство. И стесняться здесь нечего.

Валерий встал.

— А что рассказывать? — он развел руками.— Биографии, собственно, никакой еще нет. Биография только начинается.

— Вот об этом и расскажи.

— Родился в 1944 году в Астраханской области. Окончил в Астрахани школу имени Ленинского комсомола...

Ребята зашумели, замполит заулыбался:

— Выходит, у тебя название «Ленинский комсомол» фамильное. Школу окончил имени Ленинского комсомола. Служить пришел на лодку «Ленинский комсомол». Неплохо...

— Я тоже думаю, что неплохо...

— Продолжай.

— Да я, собственно, уже все и рассказал. Окончил в Астрахани техникум.

— По какой специальности?

— Техника-строителя... Вскоре был призван во флот. Потом — учебный отряд.

— Ясно.— Теперь встал секретарь.— Какие к товарищу Розанову будут вопросы?

— Общественной работой занимался?

Валерка усмехнулся: совсем как в техникуме. И ребята примерно того же возраста. И вопросы, как на собрании строителей.

— В школе был членом комитета комсомола. В техникуме секретарем комсомольской организации группы.

— Хватит вопросов,— крикнул кто-то с заднего ряда коек.— Все ясно.

— Садитесь,— разрешил секретарь.

Не думал Валерий, что через месяц сам станет секретарем комсомольской организации атомной подводной лодки «Ленинский комсомол».

Старшина команды торпедистов Александр Николаевич Крикуненко, прямой и въедливый «шеф» Розанова, по этому поводу высказался весьма двусмысленно:

— Боюсь, Валерка, что быть тебе при таких взятых темпах через год премьер-министром.

Валерий уже знал: обижаться на шутки нельзя. Иначе — пропал. И потому промолчал.

Глава VII

ТРЕВОЖНЫЕ МИЛИ

1

С Валеркой Анатолий познакомился в Москве.

Море знамен плыло над Красной площадью. Торжественным голосом репродукторы известили:

— Сейчас мимо Мавзолея проносят флаг советской атомной подводной лодки, обошедшей под водой вокруг света.

Словно выдохнула тогда Красная площадь:

— Ур-ра-а-а! Да здравствуют советские подводники!..

Гордо реяло на ветру белое полотнище с синей каймой, звездой, серпом и молотом.

А потом они встретились в ЦК комсомола. Ребята фотографировали нашего прославленного снайпера Людмилу Павличенко у Военно-морского флага...

— Ты интересовался комсоргом с «Ленинского комсомола». Пойдем познакомлю.— Секретарь ЦК взял Анатолия под руку и подвел к стоящей у окна группе моряков.— Валерий, можно тебя на минутку!

Из группы вышел стройный худощавый парень со старшинскими нашивками на погончиках.

— Познакомьтесь. Валерий Розанов.

— Анатолий Сергеев. «Комсомольская правда».

— Газету вашу на лодке любят.

— Спасибо на добром слове. Как бы нам поговорить?

— Давайте в следующий перерыв.

— Отлично.— Анатолий улыбнулся.— Встретимся на этом же месте.

Прямо из ЦК они поехали в редакцию «Комсомольской правды».

— Когда еще увидимся! — Анатолий что-то подсчитывал в уме.

— Думаю, не раньше чем через месяца три. А ты к тому же можешь оказаться в походе. Я, правда, сегодня дежурю по отделу. Поговорим. Ну, а если текучка засосет, после дежурства поедем прямо ко мне.

— Добро.

— А по площади ты шел молодцом.

— Волновался очень.

— Почему?

— Не каждый день по Красной площади тебе доверяют пронести знамя.

— Это верно.

— Так что это даже хорошо. Пока ты дежуришь, я немного отойду.

— Не думаю.

— Почему?

— У нас несколько шумно. Народ разный...

— Это и интересно. Потом ребятам расскажу...

Пока они не уехали из редакции, поговорить так и не пришлось.

2

Всегда полусонный, Юрка оживлялся только в мгновения, когда перед ним оказывалась тарелка с ароматным флотским борщом или приличным куском бифштекса.

— Эх, забодай меня комар,— потирал он руки,—одно у нас, подводников, отлично — это харчи. В ином ресторане так не пошамаешь.

— Слушай,— беззлобно парировал боцман,— если у тебя есть фонтан, заткни его. Надоело. Тоже мне подводник. Каким тебя ветром к нам занесло, уму непостижимо. Позор!..

Боцман в чем-то преувеличивал: служил Загоруйко неплохо. Специальность знал. Но его раздражающий беспросветный практицизм действовал на всех, как красная тряпка на быка.

Вот и сейчас Загоруйко философствовал, сопровождая неподражаемым комментарием только что переданную по трансляции беседу замполита. Юрка обладал неувядаемым талантом выворачивать удивительным образом наизнанку смысл вещей и событий.

— Эка загнул! — Рыхлое, с глубоко посаженными глазами под безбровными веками лицо его заколыхалось.— Вот загнул, забодай его комар! Это Северный-то путь — дорога жизни? Сплошное кладбище! Куда не ткни перстом в карту, одни кресты да могилы. На Новой Земле — Седов. Неподалеку — Прончищевы. На Диксоне — Тессем. Еще восточнее — Русанов, Лонг. Правда, могилы Русанова нет. Как говорят, труп «пропал без вести». И всех сих мертвецов достаточно венчает Беринг. Ареопаг! Мавзолей! Всемирная усыпальница. Любить ее — нет, благодарю покорно.

— Пошляк ты, Юрка!

— Почему пошляк? Вот я назвал только знаменитых. А другие? Тысячи. Тысячи тысяч могил. Вот довелось мне до службы быть в бухте Варнека. От нечего делать — стояли двое суток — зашел на кладбище. Ветрище! Снег! Бр-р! На всю жизнь запомнил. Читаю надписи: «Львов Алексей, матрос». А кто этого матроса, извините, знает и помнит? Ага, молчите! Или «Леднев Александр Иванович, старпом с парохода «Правда». Ну, сослуживцы еще туда-сюда, помянут добрым словом. А кто ещё, как зам-

полит только что говорил, в веках славить будет? А?

— Гнилая душа у тебя, Юрка. И слова липкие какие-то. К чему прикоснутся, словно прошелся в грязных калошах.

— Ну ты, полегче на поворотах.

— При чем тут «повороты». Вот рассуди сам, умная твоя голова.— Валерий начинал сердиться.— Георгий Ушаков кем был? Начальником экспедиции на острове Врангеля. Первый с Урванцевым нанес на карту Северную Землю. Это не каждому в жизни дано — стереть белое пятно с карты земли. Да еще какое пятно! Архипелаг. Далее, он был уполномоченным правительственной комиссии по спасению челюскинцев. Начальником первой высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко». И как говорилось, «и прочая, и прочая, и прочая». Такой человек памятник в Москве заслужил. А он завещал похоронить себя на Северной Земле.

— Блажь.

— Не блажь. Именем Ушакова названы остров на севере Карского моря, мыс на острове Врангеля, ледник на Северной Земле, поселок Ушаковский на берегу бухты Роджера, где в 1929 году высадились первые поселенцы острова Врангеля, горы в Антарктиде на Земле Эндерби...

Юрка слушал уже заинтересованно.

— А ты откуда все это знаешь?

— Это сейчас не важно. Суть в другом. Ушаков вернулся к себе домой. К земле, которой отдал всю жизнь, весь свой талант.

— А как это происходило?

— Что?

— Перенесение праха Ушакова на Северную?..

— Жена Ирина Александровна, дочь Маола, сын Борис и друг Ушакова старый полярник Борис Александрович Кремер доставили урну с прахом Георгия Александровича на Северную Землю. Здесь на острове Домашнем и поставили памятник... Вот ты, Юрка, все время брюзжишь. А на кого?

— На кого хочу, на того и брюзжу. Тебе что от этого — жарко или холодно? К тому же, что я должен восхищаться, если вижу что не так...

— Почему? Без трудностей, ошибок и неприятностей вообще нет жизни. Любой. Рай еще на земле не изобре-

тен, и не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. А беспредметное брюзжание — какая ему цена?

Вечером в каюте замполита разговор, начавшийся за обедом, неожиданно продолжился.

— То, что ты мне, Валерий, рассказал,— размышлял замполит,— не так все просто. Дело не только в брюзжании.

— А в чем же еще?

— В складе души, характера.

— И в отношении к своей профессии. Быть подводником или полярником — не газированную воду продавать. В Арктике человек должен быть романтиком. Иначе грош ему цена.

— Дело здесь не в профессии. О какой романтике может идти речь, если у сотен и сотен вполне здоровых людей жизнь замкнута в неизменный круг: работа — курорт, курорт — работа. Причем часто и курорт-то выбирается один, полюбившийся. Что же, спрашивается, такой человек может увидеть? С какой романтикой, какими приключениями, с чем необычным встретиться? С какой опасностью помериться силами? Путь его — укатанная, остолбленная со всех сторон асфальтовая дорожка. Даже простудиться на ней невозможно — сразу к услугам огромный штат врачей.— Замполит задумался, потом с тоской бросил: — Люди эти потеряли, на мой взгляд, самое ценное в человеке—неуспокоенность, любопытство, стремление узнать, что там — за чертой горизонта, злость на себя за то, что ты не видел еще тысячи тысяч изумительнейших на свете вещей.

Поверь мне, люди эти обкрадывают сами себя, свою душу. Я знаю, не все разделят такую «философию», но, ей-богу, стоит, скопив денег, махнуть в тайгу или на Сахалин, чем на эту же сумму купить блистательный гарнитур. Гарнитур можно, кстати, купить и через несколько лет. А вот сможешь ли ты просто из-за состояния здоровья через десять — пятнадцать лет махнуть на Курилы — это еще неизвестно. И будут стоять, как называет их мой друг, «дрова», сверкая своей полировкой, а ты так и не испытаешь счастья от восхищения сиреневым сумраком над вечерней Сеной или от нежных отблесков просыпающегося утра на вершине Ключевской сопки.

А ведь, в сущности, что такое жизнь? Чем полнее, богаче, разностороннее она,— тем, значит, больше ты взял от отмеренного тебе судьбой срока.

Знаешь, почему я ненавижу пьяниц? — Неожиданный ход мысли удивил Валерия. Он, казалось, никак не вязался со всем сказанным до этого.— Потому что человек, в сущности, живет очень немного. А планета, мир, бытие подарили ему такое великое множество прекрасного — встреч, впечатлений, книг, раздумий, симфоний, путешествий, битв, что даже люди, живущие полной жизнью, не успевают познать и тысячной доли этого богатства. И вот приходит в жизнь человек, который ради водки добровольно отказывается от всего этого. Добровольно — пойми, как это кошмарно! Так, спрашивается, стоило ли ему вообще появляться на свет? Этому нищему? Разве его жизнь — жизнь? Венец творения природы! Мыслящий тростник! И добровольно посадивший себя в грязную яму, в которой ему нравится.

— Это бывает сложнее, Николай Васильевич. И хорошие люди спиваются.

— Это уже особая тема разговора. Согласен — здесь и воля нужна, и многое другое. Но одно тебе скажу: человек жадно ненасытный к жизни — этот не сопьется. У него не будет времени на такое.

— Это вы говорите уже о разных точках зрения на жизнь.

— Ты читал, вероятно, «Чайку» Николая Бирюкова.

— Конечно.

— Бирюков был разбит параличом. Не мог двигаться. Но заставил себя на носилках везти в Среднюю Азию. Не для лечения, нет. Ему позарез хотелось осмотреть один из заводов. Так на носилках и путешествовал по цехам. А мог бы ведь спокойно жить в своей расчудесной Ялте... Но не мог. Характер!..

Замполит, казалось, убеждал Валерия в чем-то.

— Но, Николай Васильевич, какой смысл убеждать ленивых и нелюбопытных в том, что они скверно живут? Разве их исправишь? К тому же человек сам волен избрать себе путь. Один хочет умереть в постели. Другому обязательно нужно свернуть себе голову где-нибудь на испытаниях или в ледниках...

Замполит пожал плечами.

— А убеждать людей нужно. Жизнь нелюбопыт-

ного человека — обкрадывание самого себя. Дело даже не в его общественной ценности. С точки зрения самой личности. Тусклое прозябание — большая ли это радость?.. Многие понимают это уже поздно — к концу. А жизнь, к сожалению, дважды не повторишь... У Загоруйко, мне кажется, больше шелухи, чем убежденности. По молодости парень рисуется... Но если сейчас ему кое-что не растолковать, это может со временем перерасти и во что-то серьезное. Так что подумай над этим, комсорг. Обязательно подумай...

Валерий вышел из каюты замполита с чувством злости на самого себя. Как-то просто у него все получалось раньше. Здесь — белое, там — черное. А тона эти могут так причудливо переплетаться, что сам черт ногу сломит. Черт сломит. А он не должен. Наломать дров или осудить человека — дело нехитрое. Но кому все это нужно? Разве ему, Валерию? Или замполиту?.. Но прежде чем учить людей, нужно для себя понять что-то очень важное. А пока, пожалуй, он искал на ощупь. Не станет же Юрка иным, если к нему относиться просто несерьезно, с насмешкой. Озлобится только. Уйдет в себя... Нет, здесь нужно что-то совсем другое. Но что?..

Может быть, ты, Арктика, действительно стылая, отторгнутая от людей страна крестов и могил, где отчаянным чудакам и фантазерам снились несбыточные сны и виделись призрачные миражи, согревающие надежду? И как торосы, громоздятся рухнувшие иллюзии, обманутые ожидания, леденящие душу трагедии. И право же, нет числа безвестным холмам и великим могилам, видимым опять же чаще на скрещении штурманских координат, чем на бескрайних, кажется, до белесых небес занесенных снегом равнинах и скалах.

Но возможно, ни в каких других широтах планеты не всходило столько ослепительных звезд. И сгорающих в последнем пути своем, и мерцающих через столетия, и пролетевших где-то за невидимой кромкой горизонта.

Слава Нансена и Седова — какая разная она, эта слава! Один осуществил почти все, что задумал. Другому, кажется, судьба отвалила неведомо за чьи грехи полной мерой — и одиночество, и лишения, и отчаяние, и боль, которых хватило бы с избытком на сотню-другую самых мужественных людей.

И неизвестно, в чем еще больше подвиг Седова: в отчаянном рывке к полюсу или в стойкости, которая сумела противостоять воинствующему равнодушию и презрительному непониманию его без того неимоверно трудных шагов...

Холодные слова Загоруйко оскорбили не его, Валерия... В конце концов, черт с ним, с собственным самолюбием. Но пожалуй, впервые в жизни ему стало обидно не за живых, а за тех, кого уже нет и кто сам не мог произнести ни слова в свою защиту. Хотя, размышлял Валерий, нуждались ли они в этой защите? Наверное, нуждались, ибо, пока на свете существует хоть один скептик, эта обида живет и тревожит душу.

3

«Дорогой Валерка!

Получила твое письмо. Ты пишешь, что скоро снова в командировку. Я уже научилась угадывать: если командировка — не жди месяц, два, а то и три писем. Не думай, что я сержусь, понимаю, что иначе нельзя.

Но как ум ни понимает, сердцу — не прикажешь. Все равно трудно. Порой до чертиков хочется тебя увидеть. Но — мечтай, не мечтай — это неосуществимо.

Знаю, что тебе труднее, чем мне.

Я очень тебя люблю и всегда жду.

Валя».

Телеграмма

Валерии К.

«Прибыл из командировки. Очень скучаю. Люблю. Целую.

Валерий».

«Дорогой Толя!

Ты, наверное, очень сердишься на меня за столь упорное молчание. Не буду оправдываться, скажу просто: когда было время, писать было не о чем, а когда стало о чем писать, времени не стало.

Но вот я сел и решил написать обо всем, что помню. Я сейчас взглянул на почтовый штемпель твоего пись-

ма — 25.II. Времени прошло довольно много. Вот основные события за этот период.

Во-первых, конечно командировка. Но о ней — при встрече.

Во-вторых — приезд первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Нам сообщили, что к нам на корабль прибывает делегация ЦК ВЛКСМ. Естественно, пришлось поработать немного, чтобы привести корабль (а ты знаешь, что у нас за корабль) и кубрик на базе в образцовое состояние...

После осмотра корабля все эти товарищи прибыли к нам на базу. Здесь состоялась очень откровенная беседа. Первый секретарь спрашивал о наших делах, мы его — о работе ЦК ВЛКСМ. Интересный был разговор...

В частности, секретарь ЦК спросил: «А как у вас с занятиями спортом во время походов?» Ему отвечают: «Занимаемся в это время силовыми видами спорта: растягиванием эспандера, приседанием на одной ноге, подтягиванием на перекладинах и т. д.» Он: «А кто у вас чемпион по растягиванию эспандера?» Поднимается парень, покраснел и смущенно отвечает: «Я». Секретарь: «Сколько раз растягиваешь?» — «57(!)» — «Это такой — на трех резинках?» — «Да нет, у меня другой, на пяти стальных пружинах». Хохот в кубрике. Секретарь: «Пожалуй, я бы и пяти раз не вытянул»...

На память подарили нам вымпел ЦК ВЛКСМ. Сейчас им награждается лучшая боевая часть или подразделение.

На комсомольском собрании меня избрали в бюро, а на бюро выбрали секретарем.

Должность, конечно, очень почетная, но требует полной отдачи, очень много времени, которого у меня просто в обрез. На вахте приходится стоять очень часто. Вот такие-то дела, старик!..

Валя ругает меня за то, что редко пишу. Ты-то знаешь, могу ли я писать часто!

И в море жизнь не затихает! Однажды у нас вспыхнул спор. Одни утверждали, что сейчас время, мол, не то, что было раньше. Нет никаких героических дел, где можно было бы показать себя. Другие, наоборот, утверждали, что время наше самое подходящее для этого. Особенно мне понравилось высказывание одного парня: «А то, что мы здесь вытворяем, разве не настоящая

жизнь?! Мы, конечно, все уже привыкли к этим делам, все кажется обычным, а ведь взгляни человек со стороны, и его очень поразят и жизнь наша и наши дела».

А ведь он, пожалуй, прав. Разбираясь объективно, если бы с нами каждый раз в море выходил корреспондент, то он бы был обладателем величайших сенсаций Союза и мира. А для нас все порою сводится к одному простому слову: служба.

Да, я недавно отметил сотые сутки под водой...»

Телеграмма

Розанову.

«Почему молчишь. Беспокоюсь. Немедленно телеграфируй здоровье. Обнимаю. Целую.

Валя».

«Толя!

...Я иногда задумываюсь над одним примечательным обстоятельством. У всех у нас бывает разное настроение и разные периоды жизни. Кто не проходил через неудачи и разочарования! В жизни бывает всякое. Иногда мы ворчим, кого-то критикуем, жалуемся на несовершенство мира.

Наверное, такими же были молодые и перед Отечественной войной. Юность всегда юность. Но вот пришло большее, чем личная судьба каждого из нас,— нависла смертельная опасность над Родиной.

И кто тогда — если, конечно, он был настоящим человеком — думал о мелких обидах или личных неудачах. Все это ушло на невидимо-далекий план. Осталось главное: каждый должен был ответить не для кого-то, а для себя на вопрос: быть или не быть? Быть или не быть Советской власти — главному в каждом из нас.

Двух ответов не было.

И наши ребята, если придет час испытания, ответят, я верю в это, на этот вопрос только однозначно: «Берегите Советскую власть. Защищайте Революцию...» Это не высокопарность! Это то, без чего существование каждого из нас будет просто бессмысленным...

Жизнь, не имеющая цели, не может иметь и смысла. Поэтому такой бессмысленной, обедненной оказывается

жизнь некоторых героев Ремарка, не нашедших высоких идеалов, которым стоило бы посвятить свои жизни. Они живут как бы по инерции, не понимая, что делать, к чему стремиться. А для тех, кто не знает, куда плыть, не существует попутного ветра...

Видишь, как расфилософствовался! А впрочем, сам виноват: прочел присланную тобою статью и захотелось высказаться...

Обнимаю

Валерий».

«Если ты думаешь, что я буду писать тебе, не получая ответа, каждый день, то ты глубоко ошибаешься.

Вообще я не понимаю тебя: здесь мне наговорил всякого, а чуть с глаз прочь, выходит,— из сердца вон. Как-то это не вяжется с моими представлениями о тебе.

Если еще неделю не получу письма, писать не буду. С какой стати я должна унижаться!..

Валя».

«Толя!

Зря вы затеяли в газете эту дискуссию. По-моему, это не дискуссионно. Те, что при словах «комсомольская работа» кривятся, что они знают о ней? Скорее всего, этим людям просто не повезло, и судят они о комсомоле по хилой, засушенной, заканцеляренной и похороненной в курганах никому не нужных протоколов тягомотине.

Я не знаю, кто был тот, кто где-то вынул из ребят живую душу и попытался всунуть вместо нее «согласованную», расписанную по всем пунктам скуку. От таких грибов-поганок, пустоцветов все и пошло: и скепсис некоторых ребят, и встречающееся еще неверие в наши возможности, и непонимание некоторыми самого смысла существования комсомола.

А ведь комсомол по самому своему существу — антипод скуки и бюрократизма. Если ребятам дать стоящее дело, они горы свернут. И не надо их уговаривать: молодость всегда легка на подъем, и упорства ей не занимать. Найди цель, и, когда люди сердцем почуют, что за нее стоит идти хотя бы на смерть,— пойдут. Этого бюрократам никогда не понять. А бумажками и протоколами —

ими кого же вдохновишь?! Сомневаюсь, чтобы и взрослые, пожившие люди с радостью бежали бы на пустопорожнее собрание...

Другое дело, как стать настоящим комсоргом. Наверное, здесь нужен талант. И психолога и командира. И конечно, убежденность. За комиссарами в гражданскую как шли! А почему? Видели, что эти люди ничего не ищут для себя. Все только для Революции. А это, наверное, очень трудно: ничего не искать для себя. Хотя бы самого малого. Времена ведь изменились. И глупо сейчас проповедовать аскетизм. Значит, дело не в аскетизме? Не в отрешенности некиих святых? Тогда в чем же? Может быть, в душевном «стержне» человека? Время дало свои напластования, но все же никого не обманешь, люди всегда рано или поздно почувствуют, что в тебе главное. Для чего ты живешь? Чтобы создать благоустроенный домашний рай для себя или для того, чтобы Революция жила, продолжалась, крепла...

Ты, наверное, тоже скажешь: митингую, как на собрании. А я совсем не митингую. Не один я об этом раздумываю. Посмотри себе в душу: уверен, так или иначе, и тебя это тревожит, требует ясного ответа...

А я — какой я еще комсорг! Так — салака!

Обнимаю

Валерий».

«...Только два дня назад послала тебе страшно «сердитое» письмо, а сегодня получила твое.

Валерик, милый, не обижайся, на меня, дуру. Будем считать, что этого письма не было. Ладно?

Просто я еще никак не могу освоиться с тем, что твои «командировки» так продолжительны по времени. И в голову лезет всякое...»

Уже в штабе соединения член Военного совета почувствовал, что какая-то неотвязная мысль не дает ему покоя. Словно забыл что-то важное, но что? Он стал перебирать в памяти час за часом весь день, и наконец сфера поиска сузилась. Да, то, что его сейчас беспокоило, началось на «Ленинском комсомоле». Но что это могло быть? Разговор с командиром лодки? Нет. Просмотр вахтен-

ного журнала? Там, кажется, все в порядке. Планы замполита? Интересные планы. Надо посоветовать на другие лодки распространить. Кое-что там найдено действительно новое.

Наконец — вспомнил. Точно: лицо старшины. Оно показалось ему знакомым. Напоминающим что-то бесконечно далекое, полузабытое, от чего повеяло юностью, ушедшими в небытие годами. Зря он не спросил у него фамилию. Впрочем, ощущение это пришло, когда он уже сошел с корабля, спрашивать было некогда. Но при чем здесь его юность? «Вздор какой-то,— пробурчал он, успокаивая сам себя.— Как могут быть связаны этот парень и мое прошлое? Ему же от силы двадцать два года... Простая схожесть с кем-то. Но с кем?»

Этого адмирал так и не вспомнил.

4

«Товарищ командир!

Получил Ваше письмо. Большое спасибо!

Рад, что мой сын служит хорошо. Спасибо вам за него.

Очень тронут я и тем, что в День Победы вы не забыли и нас, ветеранов, бойцов гражданской...»

Николай Васильевич Розанов положил ручку на стол. О чем еще написать?

Но разве расскажешь в коротком письме все, что ему вспомнилось сейчас, когда он написал это выплывшее из далеких времен слово — «гражданская»!..

Вспомнились ему завьюженные балки в степи, храпящие кони, сшибающиеся в смертельной схватке, стремительные атаки. И еще — объявление на придорожном камне. Белые торжественно обещали за его, Николая Васильевича, голову, голову живого или мертвого командира партизанского отряда в Калмыкии, круглую сумму... Как давно это было.

Не заметил, как состарился, как сын Валерка стал взрослым и ушел по дальним голубым дорогам...

В 1964 году из Кронштадта он прислал стихи «Сверстнику — другу». Были там и такие строки:

И если со мною случится беда,
То знай: я не струсил в бою.
Унес я как гордость с собой навсегда
Матросскую юность свою...

Значит, полюбил парень море...

Сегодня действительно день воспоминаний. Надо ответить и другу Валерия журналисту Сергееву. Зачем ему понадобилась моя биография?..

Впрочем, невежливым быть неприлично. Нужно ответить.

«...Вы просите меня рассказать о себе. Попробую это сделать, хотя, признаться, мысли в голове сейчас другие. Но раз надо,— значит, надо.

Большую часть жизни я провел в селе. С детства во мне родилась ненависть к кулакам, богатеям, жандармам. Чувство это — не из книг. Сама жизнь формировала его. Часто через наше село проходили закованные в кандалы партии политкаторжан. Их гнали и в зной, и в слякоть, и в пургу, и в морозы.

Я спрашивал у старших: «Чем и перед кем провинились эти люди?» Мне ответили: «Перед царем и богом».

Но мне повезло — я узнал правду. Судьба столкнула меня с замечательным человеком — политическим ссыльным Прижибильским, находившимся тогда под надзором полиции. От Прижибильского я услышал первые рассказы о народовольцах, большевиках, Ленине.

Выбор был сделан. «Вот подрасту,— думал я тогда,— буду с теми, кого гонят на каторгу».

Жизнь ускорила события. Не успел я стать совершеннолетним, как произошла Февральская революция.

Мы, мальчишки, бросились к Прижибильскому. Оказалось, что он большевик. Он поручил нам читать неграмотным крестьянам газеты, листовки, воззвания.

Прошел над страной Октябрь. Для защиты молодой Советской власти у нас на селе организовались отряды Красной гвардии. Как я ни просился, меня не принимали: «Мал еще. Подрастешь, тогда приходи!»

Но я не хотел ждать.

В 1918 году в Астрахани белогвардейцы подняли мятеж. Он был подавлен. Я помогал тогда разоружать белоказаков. Один карабин с патронами и саблю решил припрятать для себя: мысль о вступлении в Красную Армию не оставляла меня.

Случилось так, что мечта моя сбылась. Правда, при несколько трагических обстоятельствах. В 1919 году село наше внезапно заняли белогвардейцы. Началась дикая расправа над коммунистами и ранеными пленными.

Я скрылся на баз, где обнаружил двух спрятавшихся красноармейцев. Перевел их в более безопасное место, а потом вывел из села.

Оврагами и балками мы добрались до передовых разъездов красного отряда, действовавшего в калмыцкой степи в тылу у белых. Так я стал красноармейцем. Около четырех месяцев наше соединение совершало боевые сокрушительные рейды по тылам врага, пока в 1920 году нашим отрядом не пополнили тридцать восьмой кавалерийский кубанский полк Буденновской армии. С этим полком я прошел весь боевой путь от Волги до Азова...

Кончилась гражданская война. Я стал учителем. Партия послала меня в село на борьбу с безграмотностью. Возглавляю отряд по борьбе с бандитизмом, а потом штаб культармейцев. Председательствую в группе бедноты... Вот, пожалуй,— самое интересное...»

5

Да, кажется, для него круг замкнулся.

Николай Игнатов невесело усмехнулся, оглядывая коробки и чемоданы — нехитрые пожитки моряка, подолгу не задерживающегося на одном месте, а потому не успевшего обрасти житейским хламом.

На столе лежал огромный атлас. «Пожалуй, подарю Сергееву. Надо же ему оставить что-нибудь на память о встречах на Севере». Взглянул на модель парусника. «Эту возьму с собой. Отходил на лодках, буду хоть мысленно плавать на каравелле. Как мальчишка...»

Провел рукой по корешкам лоций на полке, вздохнул, сел на диван.

И вспомнилось то, давнее, что, наверное, не забыть, не погасить в сердце.

...Они ушли с выпускного вместе с Борисом. Пожалуй, раньше многих, потому что в актовом зале еще кружились пары, а в окнах дрожала бледная петроградская ночь. Город забылся в неверном сне. Пронзительный шпиль Петропавловки резал высоту, и вздыбленные поднятые мосты пропускали тихие караваны с Ладоги.

Он ясно различал их сейчас — двух новоиспеченных лейтенантов, торжественно плывущих по набережной, Самонадеянных и счастливых. До блеска отлакированных.

Николаю стало жалко этого лейтенанта. Паруса всех фрегатов мира полоскались тогда над их головами, и гром петровских и екатерининских баталий витал в ту ночь над Невой для них, окрыленных гремящей славой флота и призванных продолжать — это было даже представить сладостно и страшно — путь Ушакова и Нахимова, Макарова и авроровцев.

Нева виделась тогда штормующим океаном, а набережная — командирским мостиком идущего в атаку корабля.

Что же, был и мостик, были и моря, и айсберги. И лихие швартовки. И Золотая Звезда на его груди. И адмиральскими погонами не каждого жалуют в сорок лет. Но разве это может утешить моряка, если у него отнимают и штурвал, и дрожащую в шторм корабельную палубу, и вечно меняющееся небо над океаном.

Скверно, Николай! Глупо. Он бы уговорил кого угодно. Но разве уговоришь медицину!

Завтра в этой комнате поселится новый жилец. Жена будет провожать его и в ночь, и на рассвете. А через несколько месяцев он снова появится здесь на пороге. Истосковавшийся и счастливый. И они будут укладывать чемодан, собираясь в отпуск. А он, ежели и приедет сюда, будет только гостем.

Звонок в передней захлебнулся. Так мог звонить только Володька.

Но когда дверь открыли и Николай увидел заполненную гостями и площадку и часть лестницы, он испугался: «Куда же я их всех рассажу? И чем угощать буду?» Он хотел уже шепнуть жене, чтобы та побыстрее, захватив Лену Сорокину, бросилась в магазин спасать положение, но Морозов все угадал.

— Коля, ничего не надо. Мы все захватили. Посмотри.

Стол на кухне был уже весь завален пакетами. Кое-где бумага прорвалась, и серебристые горлышки шампанского вылезли наружу.

— Здесь хватит на дивизион! Но зачем все это? Что, я сам бы не мог? — Теперь Николаю стало обидно и стыдно.

— Да? А в другое время мы бы не смогли собраться все вместе. Готовиться встречать гостей, Николай,— анахронизм. Самые лучшие встречи — это доказала история — экспромты.

Через полчаса бокалы сдвинулись, со звоном сошлись над столом, а Сорокин, обняв его, сказал:

— Мы с тобой не прощаемся. Провожаем на новую службу. Люди мы, Николай,— военные. И приказы не обсуждаются. Нам только хотелось сказать тебе: сделал ты для атомного флота много. Дай бог каждому столько сделать. А сделаешь еще больше. Опыт у тебя огромный. Вот придет к нам молоденький лейтенант, скажет: «Я учился у Игнатова». За такого можно будет не волноваться: Мы знаем, твоя школа — школа отличная.

— Преподавание, Анатолий Иванович,— это не море.

— Понимаю, Николай. И был бы неискренним, утешая тебя в этом. Но ведь все мы, как говорится, под богом ходим. Медицина — наука безжалостная. Всем нам придется — одному раньше, другому позже —расставаться с морем. Но согласись, тебе грех жаловаться на судьбу. Ты сделал в море столько, повидал такое, чем не каждый проплававший всю жизнь моряк может похвастать.

— Кто знает, где «много», а где «мало», когда речь идет о главном в жизни.

— Главное — флот. Ты будешь продолжать работать для флота.

— Это, конечно, так...

— Без всяких «конечно». Отставить хандру. Смотри на дело объективней: одно задание выполнено. Начинается выполнение следующего. И не менее важного.

— Слушаюсь, товарищ адмирал!

— Давай без официальностей. Мы не в штабе, и здесь не доклад. За удачу, Николай!

— Какая может быть удача или неудача на кафедре! — Боль продолжала грызть его, помимо сознания и воли, и с этим нельзя было ничего поделать. Непросто и нелегко ломать сложившуюся судьбу и начинать испытывать новую, к которой еще не привык и где-то в тайниках души немножко побаиваешься.

— Очень даже может быть. Особенно если ты предстанешь перед коллегами законченным ипохондриком.

Все рассмеялись, потому что ипохондрик и стремительный во всем и вся Игнатов были явлениями вряд ли совместимыми.

Разговор, как это всегда бывает в многочисленных компаниях, разбился на периферийные очаги — каждый со своим центром.

Володька взял гитару и, примостившись на связанных в кипы книгах, медленно, прислушиваясь к самому себе, стал выводить:

Ты помнишь, товарищ,
Как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза

Песня пришла неожиданно из полузабытой юности, но почему-то она тревожит людей самых разных. Наверное, в самых затаенных уголках души подслушал когда-то Михаил Светлов ее тихие слова, вместившие боль и твоего, и моего, и непонятно шумливого юного поколения.

Для одних она как отсвет далеких пожарищ под Царицыном и в донских степях. Для других воскрешает чадящие развалины Берлина. Для третьих говорит просто о разлуке и о том, что уже не вернешь.

Ты помнишь, товарищ?..

А разве забудешь—мглистый рассвет у полюса, когда на рубке лодки играла рубиновая заря. Рев тех первых уходящих из-под воды в зенит ракет. Или швартовку в промозглом тумане, когда не видно ни пирса, ни воды, ни неба и отличительные огни зелеными и красными бликами тускло мерцают в снежных зарядах...

Глава VIII

ПУТЯМИ СЕДОВА И НАНСЕНА

1

Стремительная, как бег подводных потоков, уходила лодка в тишину черного безмолвия. Солнечные лучи, бившие с далеких высот, бессильно отступали перед глубиной. Нежная акварель поверхности переходила в зелено-синие тона. Их трогала неяркая дрожащая тень бездны. Летящие в белой пене волны гасили здесь свой упругий напор. Наконец свет отставал, оставаясь где-то далеко наверху, и таинственная темнота растворяла гигантский силуэт субмарины.

Только здесь, когда над рубкой ее лежали сотни метров воды, а под ней на километры и километры разверзлись океанские галактики, ход ее можно сравнить с полетом. Она шла над могучими подводными хребтами. Не уступающие Монблану кряжи проносились далеко внизу, и расцвеченные кораллами плоскогорья, способные вместить на своих просторах не одну великую державу, остались за ее кормой.

Нептуну, вздыбившему гривастых, пенных коней, не угнаться за ней на своей легендарной колеснице, и последние тайны океана уходят на последние, до поры оставленные им человеком, глубины.

— Когда-то, в отчаянном сорок третьем, с Дальнего Востока на Мурман шли пять подводных лодок под командованием Героя Советского Союза Трипольского.— Михайловский показал Бевзу на карту.

— Сейчас находятся люди, которые при словах «дизельная лодка» морщатся. А они достойны монументов. Это они, дизельные, добывали победу в годы Великой Отечественной войны. Это на них совершены подвиги, навсегда вошедшие в историю. Да и что бы мы все знали без боевого опыта, добытого и добываемого на них...

Сергей Семенович Бевз шел с подводниками в первый дальний арктический поход. Правда, опыта ему было не занимать. Но кто знает, что может случиться в таком плавании.

Когда в перископ Михайловский увидел сползающие в воду зеленые ледники мыса Желания, он чуть слышно выдохнул, обращаясь неизвестно к кому:

— Ну вот и Карское...

Помощник не понял, радовался ли командир этому обстоятельству или нет: лицо Михайловского было хмурым, отчужденным.

А «разная всячина», как Михайловский ее называл, действительно проносилась в голове командира.

Примерно через час они всплыли. «Ни в одном море, кажется, моряк так не зависит от ветра и погоды, как в Карском море».— Слова эти неотвязно вертелись в мозгу, и Михайловский не мог вспомнить, где он их вычитал. Кажется, в старой лоции, когда готовился к походу.

Впрочем, лоция не врала: случалось, что и в августе ветра сплошь забивали море льдом. Знаменитый натуралист Карл Бэр назвал Карское «ледяным погребом».

Едва был откинут люк и Михайловский, одетый в теплую черную кожанку с капюшоном, поднялся на рубку, холодный северный ветер чуть не вырвал из его рук бинокль.

Где-то в туманном мареве на западе остался мощный барьер Новой Земли. Живительные, теплые потоки Гольфстрема не прорываются в Карское, разбиваясь о черные подводные гряды Новой. Полюс, Восточно-Сибирское море, Енисей и Обь гонят сюда ледяной пак, спаивающийся в причудливые поля и торосы.

Кто знает, откуда пришла эта голубая махина, распластавшаяся на палубе лодки. Может быть, от полюса, возможно, от Вайгача.

— Как по-разному складываются судьбы человеческие!

— Ты это к чему? — Михайловский удивленно взглянул на помощника. — На философию потянуло?

— Нет. Вспомнилось разное... Карское исследовали Баренц и Пахтусов, Брусилов и Норденшельд, Русанов и Вилькицкий. Одних люди вспоминают с благодарностью. Памятники им ставят. В школах изучают. А другие...

— А что другие?

— Другие... Например, вице-адмирал царского флота Колчак.

— Тот самый?

— Тот самый. Палач. А в молодости это был способный моряк и гидрограф. Даже сделал попытку разыскать останки экспедиции Толля. Изучал движение льдов в Карском. Кстати, измерил ширину берегового припая в зависимости от глубин.

— И каков же результат?

— В смысле научном—от двух до сорока пяти миль... В политическом это всем известно: расстрелян сибирскими рабочими в 1920 году. До сих пор его поминают не то что добрым словом — проклятиями. Он сам в глазах моряков зачеркнул свое научное и морское прошлое.

— Да, революция обнажила души людей. Сразу стало ясно, у кого какой путь.

Они замолчали, но каждый, видимо, думал об одном и том же, глядя на бесконечные торосистые поля, изрезанные глубокими трещинами: на вид пустынная, никому не нужная равнина. А сколько подвижничества, трагедий,

истоков самых разных человеческих судеб здесь, где люди не раз и не два мерялись силой с Арктикой.

— Думаю рассказать ребятам об истории Карского. Кстати, в Морской библиотеке нашел я любопытный древний акт. Описывается в нем плавание по Карскому морю где-то около 1584 года.

— И что же?

— А вот послушай.— Помощник вынул из кармана записную книжку: — «А в прежние-де годы блаженные памяти при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси ходил москвитянин Лука гость с товарыщи проведать Обского устья тремя кочи, и те-де люди с великов нужи примерли, а осталось тех людей всего четыре человека...»

— Занятная грамота...

— Загадочная она штука — история. Знавал я одного матроса, для которого имена Прончищевых, Пастухова, Седова ровно ничего не говорили. В одну из навигаций прошел он на лесовозе почти весь Северный. После возвращения спрашиваю его: «Ну как? Что видел?» — «А что там смотреть: один лед. Тоже мне зрелище!» Мне тогда даже обидно стало: сколько мальчишек мечтают хоть единожды взглянуть на эти места. На экскурсии, которые недавно организовало Архангельское пароходство в Арктику, невозможно достать путевки. А он — «что там смотреть»!

Скучные, ленивые и нелюбопытные люди. Вот мы идем в Арктику, а кажется, и Седов и Прончищев смотрят на нас из-за горизонта. И себя и нас пытают: стоило ли жизнь отдавать за эту белую глухомань? И на душе у них становится спокойнее: стоило.

— Встречаются и такие, как твой матрос. А я вот в последний приезд в Москву познакомился с Буториным.

— Это который ходил на «Щелье» в Мангазею?

— Он самый. Познакомился вначале на квартире Анатолия Сергеева. Журналиста, который, когда я был на другой лодке, с нами ходил... Так вот Буторину далеко за пятьдесят. И чего только он в жизни не повидал! Бил зверя в Арктике, исходил ее вдоль и поперек. Одно воскрешение Мангазеи — подвиг. А ему неймется. Знаешь, над чем они тогда у Анатолия мудрили?

— Собирались бежать на край света?

— Не смейся. Там был еще Константин Бадигин. Ка-

питан «Седова» во время исторического дрейфа этого корабля. Так вот они обмозговали ни много, ни мало, как пройти на древней поморской ладье в одну навигацию весь Великий Северный морской путь. Бадигин тогда размахивал руками и утверждал, что такой поход докажет, в какой степени освоили наши пращуры побережье Арктики, откроет новые древние поселения... Всего я не запомнил.

— А Буторин?

— Он готов был выйти в море хоть завтра. Задерживало его лишь то, что экспедицию такую в день-два не подготовишь. А еще жены побаивался. Каждое утро она подозрительно смотрела на «старика» и спрашивала: «А не пора ли тебе, Дмитрий Андреевич, угомониться?»

— И чем это все кончилось?

— Не знаю. В последний раз я видел эту троицу в Главном штабе. Брали моряков на абордаж: карты, мол, нужны, рация...

— А штаб?

— В штабе же не бесчувственные люди! Тебя бы такая идея разве не увлекла? Обещал помочь!..

Ветер жесткими пушечными ударами бил по рубке. С левого борта проходило сверкающее холодным блеском ледяное поле. По краям его мерцали на темной воде белые буруны. Впереди бугрилось крошево и снежное сало.

— Долго мы в надводном положении не пойдем.

— Пока лед не очень мощный.

— Кто знает? Мы же видим от силы одну седьмую плавающей в воде глыбы. А толщина льда в Карском море нередко даже летом 5—8 метров. Да еще ветер. Здесь только зазевайся.

2

Это только кажется, что Арктика безлюдна. Пройди над ней на скоростном самолете полярной ночью: тысячами алмазных огней ударят тебе в очи россыпи далеких портов, становищ, зимовок. Эфир заполнен своей жизнью: кого-то запрашивает Москва, кому-то шлет привет Ленинград, летят сводки погоды, донесения, приказы.

Вроде бы это вчера записывал Седов в дневнике о Ледовитом океане: «Многие путешественники плавали сюда

для отыскания свободного морского пути на восток, многие — для открытия Северного полюса, чтобы разъяснить мировую загадку как со стороны научных полезнейших наблюдений, так и со стороны открытий. Человеческий ум до того был поглощен этой нелегкой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. Здесь, помимо человеческого любопытства, главным руководящим стимулом являлись народная гордость и честь страны...

Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявились еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор... Мы пойдем в этом году и покажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг».

Великий Северный!..

Я знаю — мог бы сказать здесь автор,— не только для меня — для тысяч и тысяч месяцы, годы, часы и дни, проведенные на твоих берегах и островах, на кораблях, в белой пене идущих навстречу белому безмолвию и разбивающих могучими форштевнями ледяные поля,— эти месяцы и часы — самые счастливые в жизни.

Я видел там настоящих людей, по своему большому счету имеющих право называться гордым именем Человека.

Как никакие другие края, сам воздух Арктики противопоказан эгоизму и мелочности. Он—для широкой души и верного товарищества, для самоотречения ради идущих рядом. Тогда и ты дойдешь, твердость и мужество других станут твоими.

Не только для меня — для тысяч и тысяч, сколько бы ни прошло лет, где бы ты ни был, будут приходить по ночам видения срезанных пиков Северной Земли, зеленоватое волшебство ледников Шпицбергена, белая сказка пронизанного солнцем тумана над припаем Таймыра...

Торпедист Володя Скрягин, сдав вахту и перекусив, разбирал тетради своего дневника. Этот блокнот — о прошлом походе.

«14 сентября. Идем Карским морем.

15 сентября. Ребята поручили сделать доклад о тех местах, где мы служим. В принципе это правильно. Стыдно плавать морями, историю которых знаешь только понаслышке или из школьного учебника.

После вахты «погружаюсь» в книги — благо в кора-

бельной библиотеке эта литература представлена довольно богато. Делаю выписки.

Раньше история представлялась мне чем-то довольно абстрактным. Списком имен и дат из школьного учебника. А недавно, когда мы стояли в базе, приехал представитель Центрального Военно-Морского музея. Попросил реликвии с лодки, фотографии людей. Выходит, мы тоже причастны к истории.

Да и прошлое сейчас воспринимается иначе. Особенно здесь, на Севере. Одно дело прочитать в книге о подвиге Прончищевых. Другое — вот так, тихо постоять у их могилы, когда поземка наметает сугробы у низенькой ограды и крест черным силуэтом на огненно-кровавом закате, перечеркнутом белыми струями косого снега.

Куда ни посмотришь на карту Арктики или Антарктики, всюду русские имена.

К югу от Фольклендских островов — острова Анненкова, Лескова, Завадовского. Остров Анненкова назван в честь второго лейтенанта шлюпа «Мирный» экспедиции Беллинсгаузена 1819 года. Один из островов группы Де-Траверсе — остров Лескова — в честь третьего лейтенанта шлюпа «Восток». Остров Завадовского — по имени первого лейтенанта шлюпа «Восток». Архипелаг Паулюту. Новое открытие, и Беллинсгаузен называет острова именами героев Отечественной войны 1812 года. Группа Маничики — небольшой лесистый островок, названный в честь шлюпа «Восток». Мель Берегись, острова Шишкова, Михайлова, Мордвинова, Ватерлоо, Лейпциг, Полоцк, Смоленск, Бородино, Петра I, Земля Александра, мыс Демидова...

В конце концов наш опыт сложился из их опыта, опыта наших предшественников. Сколько выпало на их долю!

Даже Кук, храбрейший из храбрых Кук, записал в своем дневнике: «Опасности так велики, что я осмеливаюсь сказать, что никто не рискнет зайти дальше меня».

Наверное, и дневники наших современников покажутся через 50—100 лет наивными. Но смешными они никогда не будут.

Зимою 1892 года, возвращаясь домой после заседания в Географическом обществе, адмирал Макаров доверительно сказал своему спутнику Ф. Ф. Врангелю: «Я знаю, как можно достигнуть Северного полюса, но прошу вас об этом пока никому не говорить: надо построить ледо-

кол такой силы, чтобы он мог ломать полярные льды. В восточной части Ледовитого океана нет льдов ледникового происхождения, а, следовательно, ломать такой лед можно, нужно только построить ледокол достаточной силы. Это потребует миллионов, но это выполнимо».

Однако это сделалось возможным спустя много лет: в Советской России построили атомоход «Ленин». Создали «Ленинский комсомол». Да разве их одних! А слова Макарова волнуют сегодня так, словно они написаны вчера».

Володе вспомнился музей Арктики и Антарктики на улице Марата в Ленинграде.

Под стеклом витрин лежат там предметы погибшей экспедиции Толля, найденные на острове Бенетта в 1937 году, часть снаряжения отряда Прончищева, штурвал с «Таймыра», бывший на нем во время экспедиции 1910—1915 гг., столб экспедиции Русанова на «Геркулесе», найденный в 1934 году гидрографической экспедицией на одном из островков в шхерах Минина. Тогда и назвали остров, где нашли столб, островом Геркулеса. Рядом — часть предметов погибшей экспедиции Русанова 1912—1913 годов. Найдены в 1934 году гидрографами на острове Безымянном, приютившемся в восточной части шхер Минина.

Идешь дальше — обрывки веревки и меховой одежды, найденные на мысе Борок Земли Франца-Иосифа, на месте предполагаемого захоронения Седова, скончавшегося 5 марта 1914 года на пути к полюсу на 82° 5′ северной широты. Здесь же древко флага, который Седов предполагал водрузить на полюсе, обнаруженное на далеком северном мысе в 1938 году сотрудниками полярной станции острова Рудольфа.

Часть доски с надписью — от креста, стоявшего на могиле Тессема, участника экспедиции Амундсена на «Мод». Тессем погиб в четырех километрах от острова Диксон.

Володя снова вернулся к тетрадям. Любопытная это штука — дневник. Пишешь сам, а читаешь — словно с другим человеком знакомишься.

«20 сентября. Готовлюсь к сообщению. Интересно, как бы повели себя мы, окажись в положении Седова. Повернули обратно бы? Вряд ли. Когда шли к полюсу, трусости у ребят я не замечал. Наоборот, подъем был на лодке необычайный. Каждый вкладывал в дело душу.

Настоящие полярники не отступают. На мысе Колумбия — памятник профессору Марвину, спутнику Пири. Роберт Пири четыре года подряд пытался пробиться к полюсу. Отчаявшись в своих попытках, он писал: «Игра кончена, приходит к концу моя шестнадцатилетняя мечта. Я боролся изо всех сил. Думаю, что все, мною сделанное, сделано хорошо. Но я не могу совершить невозможного».

А потом при 50-градусном морозе 6 апреля 1909 года водрузил на полюсе свой флаг.

Почему он не сдался?

«Велика и необычна притягательная сила Севера,— говорил Роберт Пири.— Не раз я возвращался из великой замерзшей пустыни побежденный, измученный и обессиленный, иногда изувеченный, убежденный, что это моя последняя попытка. Я жаждал людского общества, комфорта, цивилизации и покоя домашнего очага. Но не проходило года, как меня снова обуревало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Цивилизованный мир терял всю свою прелесть. Меня невыразимо тянуло туда, к безграничным ледяным просторам; я жаждал борьбы с застывшей стихией; меня привлекали долгая полярная ночь и нескончаемый полярный день... меня манили молчание и необъятность великого, белоснежного, одинокого Севера. И опять я устремлял туда свои шаги, все снова и снова, пока наконец мечта моей жизни не претворилась в действительность».

Можно понять Пири. Ребята, прослужившие долго на Севере, с болью покидают его, не хотят менять Арктику на самые заманчивые города и веси.

Удивительно и другое свойство человеческого сердца у людей Арктики: то, что принято называть полярным товариществом.

Вспоминается крест на Американской горе в дельте Лены: «Памяти 72 офицеров и матросов с американского полярного парового судна «Жанетта», умерших от голода в дельте Лены в октябре 1881 года». Здесь поисковая партия нашла труп Де Лонга, мечтавшего о полюсе. А через три года эскимосы с Южной Гренландии нашли на льдине часть записок и имущество экспедиции.

Позднее стали известны слова Лонга: «О зимовке в полярном паке хорошо читать у камина в уютном доме, но перенести такую зимовку — этого достаточно, чтобы преждевременно состариться».

Но люди не отказывались от задуманного. Снова и снова бросали вызов льдам.

Мы бегло пробегаем хронику газет, не задумываясь, что многие из этих сообщений будут когда-то вырезаны и помещены под музейное стекло.

Написал домой. Эх, позавидуют мне ребята! Жаль, что о многом нельзя рассказывать. А все-таки это здорово — ленинградский токарь, молодой парень, решительно ничем не примечательный, ходит к полюсу, забирается в такие широты, о которых мальчишками мы только мечтали, читая Жюля Верна и Нансена».

Володя со вздохом отложил тетрадь. Жалко, что дневник ведется время от времени. Сейчас все кажется обычным. А пройдут годы, каждая минута прожитой сейчас жизни будет вспоминаться... И захочется хотя бы мысленно ее повторить...

3

Атомоход шел в надводном положении.

Михайловский поежился и плотнее надвинул на лоб капюшон кожаной куртки. Трудно было определить, какое время года хотела показать им Арктика: впереди по курсу шли большие и малые льдины, вроде бы подмораживало, а с неба сыпал густой мокрый снег. Но, касаясь свинцовой, темной воды, он не таял. Казалось, лодка идет в ледяной каше.

Густо-темные тучи обложили весь горизонт.

— Близко Диксон,— заметил старпом.— Была бы ясная погода, его очертания проглядывались бы.

— Черта с два разглядишь в такую муть.— Командир наклонился к микрофону: — Штурман, координаты...

Старпом не слышал ответа, только увидел, как улыбка исчезла с лица командира. Оно посуровело, тени легли под глазами.

— Это как раз здесь. Включить трансляцию!..

В отсеках услышали, как неожиданно донеслись из динамиков какие-то шумы с мостика... Потом раздался голос их «шефа»:

— Товарищи подводники! Мы проходим сейчас координатами, где героически сражался и погиб в неравном бою с гитлеровским линкором наш полярный «Варяг», прославленный «Сибиряков». Почтим память героев.

Застыл у рулей глубины боцман.

Встали торпедисты в своих отсеках.

Электрики, только что перебросившиеся шуткой, молча смотрели на шкалы приборов.

Штурман пометил на карте крестиком точку, которую пересек курс корабля...

Тишина.

Только с шорохом проходит вдоль корпуса гигантской субмарины лед.

А «Сибиряков» лежал на грунте, накренившись на левый борт и зарывшись носом.

Лежал развороченный, в страшных ранах своих, затянутых песком и водорослями. А люди там, наверху, помнят о нем. Помнят, как в голодном 1921-м пробивался он через немыслимые льды из Архангельска в сибирские порты за хлебом. Как выполнил он труднейшее правительственное задание — пройти от берегов Белого моря в Тихий океан Северным морским путем за одну навигацию.

В 1932 году это считалось невозможным. Он сделал невозможное. На мостике его стоял тогда прославленный капитан Воронин.

Много раз выходил он из страшных ледовых переделок, но такой, как последняя, у него, конечно, не было...

Гитлеровское командование, решив разом покончить с караванами, идущими Великим Северным, его зимовками и станциями, послало в высокие широты мощный линкор «Адмирал Шеер». «Сибиряков» тогда встал на его пути.

— Что за судно? — запросил «Сибиряков».

Линкор молчал.

— Передайте на Диксон: «Вижу крейсер неизвестной национальности»,— приказал капитан Качарава.

На флагшток неизвестного корабля пополз американский флаг.

«Сибиряков» — Диксону: «Военный корабль поднял американский флаг. Идет прямо на нас».

Диксон — «Сибирякову»: «В данном районе никаких американских судов быть не может. Действовать согласно боевой инструкции».

— Тревога!

Линкор запросил ледовую обстановку в проливе Вилькицкого.

«Сибиряков» молчал.

— Приказываю остановиться! — Одновременно с сигналом линкор опустил американский флаг и поднял полотнище со свастикой.

— Фашисты!

— К бою!..

Что мог он сделать, старенький ледокольный пароход, вооруженный тремя маленькими пушчонками, против закованного в броню гиганта? «Адмирал Шеер» имел скорость хода 28 узлов, шесть 280-миллиметровых орудий, восемь 150-миллиметровых, шесть 105-миллиметровых, восемь 37-миллиметровых, восемь торпедных аппаратов и два самолета.

Что оставалось делать «Сибирякову»?

Отступить? Но тогда линкор разнесет порт Диксон, зимовки, потопит стоящие в порту суда. Его нужно задержать. Задержать во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. Задержать, чтобы приготовились к бою товарищи, чтобы подоспели наши корабли и самолеты.

Задержать!..

— Принимаем бой! — сказал Качарава комиссару.

В подобных обстоятельствах так мог решить только капитан, абсолютно уверенный в своем экипаже. Уверенный в том, что этот экипаж не может думать иначе.

«Всем, всем, всем! — полетело в эфир открытым текстом.— У Диксона фашистский рейдер... Всем, всем, всем!..»

Яростно заклокотала вода за кормой, и ошарашенные гитлеровцы, привыкшие, что перед дулами их орудий почтительно спускали флаги не такие корабли, увидели, как этот сумасшедший русский корабль, вопреки всем законам и нормам войны, пошел на них в атаку.

Пошел на смерть.

Они были опытными моряками и знали, что значит принять бой в таких условиях.

— Бронебойными!

Нет, сибиряковцы не думали о победе. Нет!.. Только бы успеть попасть... Попасть как можно больше раз, пока заговорит главный калибр пирата.

Мощные смерчи воды вздыбились у ледокола.

«Сейчас все»,— мелькнуло у Качаравы.

— Огонь!..

Рушились, пылали палубы, мачты, надстройки, шлюпки.

— Огонь!

Обливаясь кровью, падали люди.

— Огонь!

Осколки фугасных снарядов кромсали тело корабля.

— Огонь!

Рвутся бочки с бензином!

— Огонь! Огонь! Огонь!..

Стрелять уже нельзя. «Сибиряков» тонет.

— По шлюпкам!

Но уже мало было тех, кто мог выполнить эту команду.

Уже с воды оставшиеся в живых увидели высоко задранную корму корабля, изрешеченный осколками боевой флаг и комиссара Элимелаха, держащегося за флагшток. Казалось, он поднимает моряков в атаку...

Море принято сравнивать с пустыней.

Море — не пустыня.

Глубоко под водой здесь лежат в ракушечнике и водорослях гордые корабли: «Сибиряков», «Пассат», «Туман», подводные лодки.

К ним не придешь на поклон, не принесешь цветы, не постоишь в молчании. Каким подвигом, какой ценой завоевана победа! Корабли Краснознаменного Северного... Пусть не все они вернулись на базы, но они — в сердце.

Они — в сердце.

Только на штурманских картах помечены координаты их могил.

4

— Аркадий Петрович, по времени должны быть на месте.

Михайловский буркнул:

— Может быть, так оно и есть... Но над нами — сплошной пак. Что на эхоледомерах?

— Пятнадцать метров.

— Должна же быть здесь хоть какая-нибудь трещина!

— Какая-нибудь нам не подойдет...

Лодка вздрогнула. Ее стало сносить влево.

— А это еще что за новости? Боцман, на рулях!

— По-видимому, сильное течение, товарищ командир.

Михайловский склонился над картой.

— Все ясно как божий день. Мы же идем рядышком с подводным хребтом Ломоносова. Течения переваливают через гребень. Вот нас и несет.— Он помолчал.— Задачка! Всплывать-то ведь нам нужно будет быстро. Иначе лодку просто снесет под лед. Или ударит о край полыньи. Тогда...

— «Тогда» не должно быть.

— По идее, не должно. А вот практически... Давай снова поищем. Всплыть на 30 метров.

Дрогнули и пошли влево стрелки на шкалах глубиномеров.

— Кажется, есть, Аркадий Петрович!

— Право руля!

Теперь могучая субмарина принимала потоки на нос. Корпус еле слышно вибрировал, как будто корабль проходил через упругую стену, которая всеми силами стремилась отбросить его назад.

Кажется — пора.

— Всплываем!

— Поднять перископ...

Зеленое пятно в окуляре светлело от минуты к минуте, и вот Михайловский увидел день.

Слева, справа, сзади и спереди — необозримое море торосов. Окуляр вдруг стал туманиться, а потом по нему, как по заснеженному окну зимой, брызнули причудливыми узорами белые цветы, в какие-то считанные минуты приобретавшие законченную форму фантастических растений.

— А за бортом мороз, Аркадий Петрович, и кажется, изрядный.

Лодка никак не выравнивалась. Нос корабля застрял подо льдом. А за кормой оставалось всего каких-нибудь метр-полтора дымящейся от мороза воды.

По опыту Михайловский знал, что пространство это немедленно затянется и лодка, лишенная возможности всякого маневра, окажется пленницей льдов.

Нужно все начинать сначала.

— Погружение!

Цистерны мгновенно приняли забортную воду.

Метрах на пятидесяти Михайловский прекратил погружение, выровнял корабль и снова подвсплыл.

Эхоледомер равнодушно показывал недоступную толщину ледяных полей, и только минут через десять появилась надежда: лодка проскочила полыныю.

Отработав задний, Михайловский завис над столь трудно найденным окном, еще раз сориентировался и скомандовал всплытие.

Когда был отдраен люк, он убедился, что «окно» достаточно широко и лодке ничто не угрожает.

Над торосами металась пурга. Корпус лодки мгновенно из черного стал серебряным, а потом белым. По стали градом секла поземка, и тучи снежной пыли и водяных брызг стояли над полыньей.

Казалось, пурга стихала: около корабля еще крутили буруны, а на севере небо уже прояснялось. Невидимый золотой луч играл на кромке далеких облаков, высекая ослепительные вспышки света.

Но вот они погасли, и новый шквал ветра сотряс лодку. По лезущим друг на друга небольшим льдинкам у кромки поля Михайловский видел, насколько стремительное и сильное здесь течение. Да и нос корабля уже снесло метров на пятнадцать.

— Право руля.

Лодка развернулась. Но и это не помогло: теперь потащило влево корму.

Михайловский лихорадочно искал глазами расщелину в ледяном поле. У него уже мелькнула мысль: закрепить, как на якорях, нос корабля в выемке, стабилизировать положение корабля. Но выемки не было. Словно срезанный огромным ножом край льда отливал зеленым разломом, кое-где припорошенным снегом.

Первое впечатление оказалось обманчивым: горизонт снова затянуло. Золотой луч сверкнул последний раз и погас, и, как это часто бывает в этих широтах, мощный снежный заряд ударил по торосам.

Пурга лютела с каждой минутой, льды угрожающе потрескивали, и уже стала неразличимой в снежном вихре зеленая кромка «окна». Все вокруг приобрело безлико-серый цвет.

Треск усилился. С грохотом откололась и пошла к кораблю глыба ледяного поля, таща перед собой сотни больших и малых осколков ледяного крошева.

Слева в вихре нарастал гул: видимо, началось торошение.

С этим не шутят. Нужно уходить, иначе можно погубить и лодку и людей.

В последний раз он взглянул на жестокую, но в чем-то могуче прекрасную схватку разгневанного неба с полярным океаном, улыбнулся помощнику:

— А все-таки и в таких условиях мы всплыли...

5

— Слышим «шумилку»,— доложили акустики.— Это станция «Северный полюс», товарищ командир.

— Ну что же, отлично... Боевая тревога! Приготовиться к всплытию.

Колокола громкого боя встряхнули и без того напрягшихся людей.

Михайловский хотел подать уже следующую команду, когда увидел вдруг совсем рядом побледневшее лицо невесть как возникшего в центральном посту доктора.

— Что такое? — Сердце Михайловского сжалось от дурного предчувствия.— Что случилось?

— Беда, товарищ командир! У Василькова приступ аппендицита.

— Операция необходима?

— Безусловно. Иначе я ни за что не поручусь.

— Погружение. Рулевым быть особо внимательными, точно держать глубину.— И повернулся к доктору: — Вам нужны помощники?

— Ванин, Сергеев, Поляков.

— Ванина, Сергеева, Полякова в кают-компанию! — Динамик на этот раз умолк уже надолго...

Около двух часов, ориентируясь по «шумилке», ходила субмарина на глубине в районе станции.

Когда Михайловскому доложили, что операция проведена успешно, он зашел в каюту доктора, куда уже был перенесен больной.

Васильков лежал на подушках. Осунувшийся, с глубоко запавшими глазами. Увидев командира, нахмурился.

— Виноват я, товарищ командир.

— Чудак вы,— Михайловский присел на край кой-

ки.— Ерунду вы говорите. Во-первых, при чем здесь вы? Такое может случиться с каждым. А во-вторых, ничего вы не сорвали. Так что все в порядке, дорогой... Поправляйтесь, не нервничайте...

Гриша Соколов, по его собственному признанию, был иногда «скептиком». Доподлинно неизвестно где, кто и когда заронил в его душу колючие семена вечного недовольства всем на свете, только разрослись они столь буйным чертополохом, что порой Гриша сам себе был в тягость от дремуче-бессвязных мыслей, осенявших время от времени его далеко не светлую голову, и от сознания своей избранной исключительности.

На свежего человека он мог произвести впечатление: изысканно-интеллигентная манера разговора с мягким грассированием, тонкое лицо, всегда бледные холодные руки. Витиеватый смысл его размышлений доходил до слушателя не сразу, и нужно было немалое время, чтобы понять, сколько в сих размышлениях просто желания покрасоваться.

Для своих на станции Гриша давно не был загадкой, и даже не обижался на прочно приставшую к нему довольно невежливую кличку «трепач». Впрочем, словесные упражнения его носили вполне безобидный характер, и кое-кто из полярников в долгие вечера, когда стены домиков дрожали от ударов ледяного ветра, сам иногда делал первый ход в игре:

— Так, значит, Гриша, с космосом, ты говоришь, все это преждевременно.

— Безусловно,— поднимал перчатку Соколов.— На земле еще столько дел, а мы гоняемся за жар-птицей. Я, собственно, был бы не против этого, если бы космическая программа не стоила бешеных денег.

— А ты откуда родом?

— При чем здесь это?

— Все-таки.

— Из Сибири. Недалеко от Братска.

— Телевидение там есть?

Гриша еще не видел расставленной ему ловушки.

— Только начинается. С помощью спутников связи.

— Так. Один ноль в мою пользу. Борька,— Викулов тащил с койки радиста.— Борька, засеки!..

— Отстаньте, балабоны!..— Борьке не хотелось отрываться от книжки.

— Кстати, что это мы читаем? Опять «Трех мушкетеров»? Прелестно. Скоро ты их выучишь наизусть, бросишь Арктику и подашься на эстраду читать отрывки.

— Может быть, и подамся... Отстань.

— Есть, отстать. Когда люди занимаются самообразованием, мешать им не следует... Итак, сэр, о чем мы спорили? О спутниках?.. Так вот, они, к вашему сведению, ведут за собой такую цепную реакцию открытий и исследований в кибернетике, механике, ракетном деле, физике, электронике, химии, что «плоды» сии уже зримо видны во всех буквально областях промышленности и хозяйства.

— Не видел.

— Значит, плохо смотрел.

— Возможно.

— Это точно...

— Слушай, отстань ты со своими спутниками. Вот я читаю книгу Стила «Морской дракон».

— Ну и что?

— У американцев атомные лодки ходят в Арктику, всплывают во льдах.

— И у нас, вероятно, ходят и всплывают.

— Вероятно. Ты сам своими глазами видел когда-нибудь нашу атомную?

— Нет, не видел.

— И я не видел.

— В газетах писали об одном походе...

— Мало ли о чем в газетах пишут. А потом неизвестно — что это за лодка. Может быть, обычная, дизельная.

— Может быть, конечно... Но, не думаю...

— Ага, доказать не можешь. Один ноль в мою пользу, сэр!.. Борька, засеки, как выражается этот почтенный джентльмен.

— Я говорю, отстаньте... А то...

— Что «то»?

— Слезу с койки и намылю вам шею.

— Попробуй.

— Дождешься ты, Гришка... Ну пошел бы потрепался с кем-нибудь... В кают-компанию, что ли. Ну что тебе стоит, Гришенька?! Ну пожалуйста!

— Презренный книжный червь...

Соколов не успел развить свою ядовито-убийственную мысль.

Дверь в тамбуре резко хлопнула. На пороге без шапки стоял запыхавшийся, красный от мороза гидролог Попов.

— Ребята, скорей!.. Такого в другой раз не увидишь!

— Что случилось? Льдина раскололась? Так мы все это, милый, уже не раз видели.

— Потом жалеть будете! Ну — ваше дело. А я—бегу.

Он исчез, даже не притворив дверь.

— Пойдем посмотрим, что ли,— протянул Гришка.— Все равно скоро на вахту заступать. Разомнемся немного.

— Айда,— поддержал Борис.— Посмотрим, что там за невидаль такая.

Только они открыли дверь тамбура, как жгучий ветер с мельчайшими крупинками промерзшего снега ударил в их лица. И прежде чем они огляделись, нахлобучивая капюшоны канадок на самые глаза и надевая сразу застывшими пальцами темные очки, прошла минута-другая.

Они увидели, как все население станции бежит по направлению к ветряку. Впереди всех — начальник станции.

«Черт побери, что-то действительно стряслось»,— подумали они одновременно и стали догонять людей. Ноги проваливались в наст, и бежать было трудно. Скоро все запыхались. Мороз не так чувствовался бы, если бы не свирепый ветер.

Завернув за торос, на вершине которого стоял начальник станции Иван Андреевич и нелепо махал руками, Соколов, пораженный, остановился.

Всего каких-нибудь в тридцати — сорока метрах от них словно впаянная в снег, с палубой, покрытой льдинами, стояла гигантская, невиданная ими никогда ранее ни в кино, ни в журналах лодка. На рубке, необыкновенно огромной, заиндевелой и покрытой, как панцирем, прозрачными потеками ледяной пленки, рвался на ветру флаг.

Высоко поднятые мощные трубы перископа и других выдвижных устройств еще более увеличивали размеры и без того немалого корабля.

Человек на рубке поднял руку, что-то прокричал, но слова его отнес ветер. И почти в то же самое мгновение

в, казалось бы, монолитно-однородной громаде рубки красным суриком полыхнула на солнце открытая дверь, встал, поеживаясь от мороза, рядом с нею автоматчик, и на лед стали спрыгивать люди в тяжелых черных куртках.

«Ура!» — завопил неожиданно для себя Гришка во всю мощь своих легких и бросился навстречу морякам.

Адрес Бевз зачитал после импровизированного банкета, устроенного полярниками в маленьком домике, который они пышно именовали кают-компанией:

«Славным советским полярникам от моряков-подводников в день замечательной встречи во льдах Арктики».

Бевз читал медленно, торжественно:

«Дорогие друзья! Ваше мужество и бесстрашие, ваша трудная и героическая работа, так нужная стране, наполняет наши сердца радостью и гордостью за нашу Родину, за героизм ее замечательных людей...

Пусть факел дружбы, зажженный нашей встречей в этом безмолвном ледяном крае, будет всегда символом единства армии и народа, символом верности Родине!..

Экипаж атомной подводной лодки».

Может быть, только в эти минуты многие и поняли, что встреча эта — не из обычных. И кто знает, подарит ли им судьба еще когда-нибудь такое же повторение пронзительных мгновений сопричастности с высокой историей.

Глава IX

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

1

Свет ночника погружал каюту в мягкий синий сумрак, и с верхней койки казалось, что между Юркой и сладко посапывавшим внизу трюмным электриком Васильевым лежит невесомая толща удивительно прозрачной глубины.

Загоруйко взглянул на светящийся циферблат. До вахты оставалось еще два часа. Он вздохнул, повернулся к переборке, попытался заснуть. Но сон не шел. Что-то мешало Юрке забыться, несвязные мысли, как толкущиеся облака, проходили в сознании.

Юрка повернулся на спину и стал изучать подволок— матово блестящую в темноте белую полировку. Сон совсем ушел, и он, стараясь не разбудить ребят, осторожно спустился вниз, приоткрыл дверь, только успел проскользнуть в коридор, как столкнулся с замполитом.

— Что так рано, Загоруйко? До вахты еще далеко.

— Не спится что-то.

Замполит улыбнулся, отчего его обычно строгое лицо стало каким-то добрым, домашним.

— «И сны зловещие мне душу растравили?..»

— Это откуда?

— Не помню.— Волков задумался и неожиданно признался: — А мне тоже не спится...

— Почему?

— Скоро будем на месте гибели «Щ-421».

— Видяевской?

— Точно. Федора Александровича.

— Но он же тогда не погиб!

— Не погиб... А лодки не стало... На ней дружок моего бати служил.

— Я смутно помню эту историю.

— Сегодня буду рассказывать ребятам. Когда придем на место...

Неожиданно для себя, пожалуй первый раз в жизни, Юрка вдруг почувствовал, что душа у него не на месте. Он испытывал потребность что-то сделать, сказать, предложить... Неизвестно, откуда пришла эта тревога, но ему вдруг показалось кощунственным, что они — молодые, здоровые парни — почти в комфортабельных условиях пересекают океан, который, как и во все времена, конечно, может показать себя по-разному, но сейчас не грозит им ни притаившейся в глубине миной, ни хищной торпедой со стороны, ни глубинными, ни какими иными бомбами, коими гитлеровцы «салютовали» видяевцам изо дня в день, из месяца в месяц.

«Конечно,— подумал Юрка,— и у нас служба не из легких... Но те годами ходили как по лезвию ножа, и каждый неосторожный шаг означал в те страшные годы попросту смерть... Самую реальную смерть, кажущуюся сейчас Юрке почти нереальным, мифологическим понятием. Мы сейчас рядом,— размышлял Юрка.— В тех же водах. А вахта спокойно спит, и, может быть, только одному ему, Загоруйко, пришли сейчас в голову все эти

сумбурные мысли, требующие какого-то действия... Но какого?»

— Что задумался, Юрий? — Замполит внимательно смотрел на него.

Они перешли в другой отсек, и замполит открыл дверь своей каюты.

— Откуда это, Михаил Александрович?

Весь столик в каюте был заставлен горшками с живыми цветами.

— С базы. Так и храним.

— Для чего?

— Для видяевской лодки... Так решили ребята. А это уже в походе сделали.— Волков достал из-за цветов матово-блеснувшую пластинку.

Юрий взял ее в руки и прочел черную вязь гравировки:

«Команда АПЛ салютует доблестной «Щ-421».

Вечная слава героям-североморцам, павшим в боях с фашизмом за честь и независимость нашей Родины».

— Кто писал текст?

— Валерий.

— Розанов? — машинально переспросил Юрий.

— Он самый. А что?

— Нет, ничего... Хорошо сказано,— вслух ответил Загоруйко, а про себя подумал: «Зря я к нему все время придираюсь... А что, собственно, сделал мне Валерка? И что я перед ним?.. Он и здесь заранее обо всем подумал».

— В твою вахту как раз все и произойдет,— донесся до Загоруйко усталый голос Волкова.—Отдадим «Щ-421» почести. По-морскому. По-североморски...

Юрий уже заступил на вахту, когда в динамиках корабельной трансляции раздался голос командира:

— Внимание! Мы приближаемся к месту гибели прославленной подводной лодки «Щ-421». Слово имеет заместитель командира по политической части капитан 2 ранга Волков.

Динамики на минуту умолкли, потом из них донесся всем знакомый хрипловатый басок замполита:

— Товарищи! Близится момент, когда наша атомная окажется в координатах, где лежит на грунте «Щ-421». Когда она вышла в последний свой боевой поход, то име-

ла замечательный счет: восемь потопленных фашистских кораблей водоизмещением 49 000 тонн. Лодкой командовал Николай Александрович Лунин.

А в новый поход «Щ-421» вел другой замечательный подводный ас Федор Александрович Видяев. Уже в море, когда «Щ-421» потопила еще один большой транспорт, радист принял радостные для экипажа вести: указы о награждении корабля орденом Красного Знамени, а бывшего командира Лунина — званием Героя Советского Союза.

Но экипажу так и не довелось поднять над рубкой гордый краснознаменный флаг. Корабль подорвался на мине и стал проваливаться в глубину.

В этих жесточайших условиях началась битва за жизнь лодки. В дело шло все — бушлаты, одеяла, матрацы. Вода била через пробоины, через крышки развороченных взрывом торпедных аппаратов. Экипажу удалось поднять лодку на поверхность моря, поставить на перископ паруса. Но корабль несло на вражеский берег, и, когда в небе появлялись самолеты противника, паруса срочно убирались.

А в это время на выручку «Щ-421» шла подводная лодка «К-22» под командованием капитана 2 ранга Виктора Николаевича Котельникова.

Встретились лодки во время шторма. И здесь, перед ежесекундной угрозой гибели, моряки еще раз попытались спасти «Щ-421», отбуксировать ее на базу. Сделать это не удалось: волна разводила корабли, буксирные тросы рвались, как нитки. Тогда командующий флотом приказал покинуть «Щ-421». Видяев и находившийся с ним в походе комдив Колышкин последними перешли на борт «К-22», а «Щ-421» была потоплена торпедой «К-22»...

Голос Волкова в динамике замолк. Только слышалось в напряженной тишине легкое потрескивание репродукторов. И вот все снова услышали голос командира:

— Сейчас мы находимся над местом гибели «Щ-421». Приказываю отдать воинские почести прославленному кораблю.

Ночью Загоруйко снилась обвитая водорослями, развороченная взрывом боевая рубка лодки. Плавно пока-

чиваясь в подводных потоках, легли на стальную палубу цветы. Стремительно прошла стая рыб, и кто-то хриплым голосом скомандовал:

— Залп!..

«Залп!.. Залп!.. Залп!..» — эхо катилось по скалам, обрывам подводных хребтов и замирало где-то далеко-далеко. Может быть, под самым сердцем Юрки, а возможно, там, где синева океана переходила в тревожную черноту.

2

«Завтра поговорю с Загоруйко. Судя по всему, парень мучается. Сам себе надоел. Но самолюбивый, черт!.. Как-нибудь поделикатнее надо... А может быть, наоборот: сказать все прямо, что о нем думается. Надуется, попыжится, а в общем, наверное, поймет. Не может не понять...»

Странно все на свете устроено. Его учат. Он учит. А какое право, собственно, он на это имеет? Что знает сам? Тоже мне многоопытный отец — наставник! Первый раз столкнулся со сложным человеком и не знаешь, с какого боку к нему подойти. Нет, все же надо посоветоваться с замполитом. Чего доброго, наломаешь дров, оттолкнешь парня. А тогда уж какой там «разговор по душам»! Пошлет тебя к черту, и все тут...

А почему он, собственно, должен переживать за Юрку... Мало ли людей встречается в жизни! Ну, прослужат вместе годика два. А потом — прощайте скалистые горы! С приветом, дорогой товарищ Загоруйко... Живи как знаешь.

И тут же поймал себя на мысли, что ему будет обидно, если Юрка будет жить «как знаешь». Не посторонний он ему. Что-то симпатичное бродит в парне. А вот «наружу» показаться боится. Ему же только помочь надо. Сделать первый шаг. А потом? Потом он пойдет. Он сильный, с характером, не слизняк. Многое сможет.

Валерий взглянул на часы. Шестнадцать сорок. Нужно торопиться: поверка в восемнадцать ноль-ноль.

А спешить не хотелось: закат был удивительным. Даже книжным, напоминающим гравюры старых мастеров. Свет и тень резко контрастировали. Сумерки густели, наливаясь пронзительным сиреневым светом. Почти черные облака золотились по краям. Багрово-малиновые

лучи косым дождем падали в озеро, и в темной воде вдруг появлялись таинственно-прозрачные всполохи, отражавшие смутные очертания скал.

«Завтра надо написать письмо Вале. Через неделю-другую поход. Кто знает, когда еще удастся подать весточку. И фотографии домой не забыть отправить».— Валерий улыбнулся, вспомнив открытку матери: «Разве можно так! Кругом снег, а вы с ребятами в плавках!» Она никак не могла представить себе, как это летом, в двадцатипятиградусную жару, на земле может лежать снег. А он здесь в расщелинах держится до следующей зимы. Север!

Он не заметил, как дошел до складов. Приземистые бетонные бункеры лепились у подножия отвесной скалы, неприметные постороннему глазу. Мох и скрученные стволы кустарника уже успели скрыть строительный мусор, и только зеленая сторожевая будка с маленьким окошечком преграждала путь к массивным железным дверям-воротам.

Вначале он ничего не заметил, только всем существом ощутил неясное, смутное состояние тревоги. Что-то происходило рядом, какой-то незнакомый штрих появился в тысячу раз виденном и как бы сфотографированном памятью пейзаже.

Послышался звонкий треск лопнувшего стекла, и, оглянувшись на звук, Валерий увидел, как огненный сноп искр вырвался из зарешеченного окна бункера. Видимо, охрана тоже заметила беду: звонивший по телефону матрос с автоматом бросил трубку и метнулся к кованым воротам.

«Здесь же баллоны,— сверкнуло в мозгу.— Сейчас взорвется один, а тогда...»

Фейерверк разростался. Теперь уже окошко выкидывало клубы желто-черного дыма, стелющегося у самой земли.

— Дверь! Открывай дверь! — Валерий перепрыгнул канаву и, больно ударив ногу о валун, прихрамывая побежал к автоматчику, уже направлявшему в окно струю летящей из огнетушителя пены.

— Что же ты смотришь! — заорал он вдруг каким-то хриплым, чужим голосом.— Открывай! Отсюда не погасишь!

Едва створка ворот отошла по рельсу — полукружию,

в лицо им ударил обжигающий воздух и на фланелевке вспыхнули едва заметные пляшущие светлячки огня. На руках засаднило кожу.

— Баллоны! Выкатывай баллоны! — Валерию уже было ясно, что произошло. Наверное, один из баллонов дал утечку. Спрессованное сотнями атмосфер содержимое, вырвавшись на волю, тут же превращалось в пар, способный натворить многое, если сейчас же, сию минуту, не погасить пламя. Видимо, где-то заискрил контакт — крохотной незаметной вспышки было достаточно, чтобы воздух в бункере стал пороховой бочкой.

Так и есть. Баллон в углу уже раскалился до малинового зловещего цвета. Обжигая руки, уже не чувствуя их от адской, пронзающей все тело боли, они свалили его на бетонный пол и покатили к выходу.

Пламя уже распалось. Казалось, горел сам воздух: огненные шары и струйки как бы сами собой возникали в углах, на потолке, посередине бункера. Лопались, распадаясь сотнями искр и вновь соединяясь в жгуты ослепительного света.

Когда баллон покатился под уклон, зажигая на своем пути мох и разбрасывая бледные язычки пламени по стволам низкорослого кустарника, Валерий обернулся и увидел уже сплошную ревущую стену огня.

— Ложись! Ложись, говорю! — донесся до него ошалелый крик матроса.— Сейчас... все полетит к черту! Ложись, мать твою!..

— Это мы еще посмотрим! — пробормотал он, успокаивая сам себя.— Это мы еще посмотрим, браток!..

Больно резнуло по глазам — горели ресницы. И последнее, что он успел ощутить,— раздирающий глаза, несмотря на зажмуренные веки, ослепительный свет.

3

— Товарищ командир, идем желобом Анны. Эхоледомеры показали чистую воду.

— Всплываем!

— Завалить рули!

— Есть, завалить рули!

В глаза поплыл зеленоватый аквамарин с мелкой темной рябью.

«Обломки льда, это не страшно»,— отметил про себя Михайловский.

Ближе к поверхности цвета стали меняться.

Надо не проскочить полынью.

— Полный назад!.. Стоп!

Лодка вздрогнула и застыла на месте.

Сейчас она, как говорят подводники, находилась в «подвешенном» состоянии: неподвижно висела на глубине.

— К всплытию!

Корабль пошел вверх, вздрогнул, остановился.

Все ощутимо услышали приглушенный треск: так лопается лед.

Перископ не показал ничего утешительного: лодка стояла в полынье, сплошь забитой молодым льдом, постепенно переходящим в мощные паковые громадины. Правда, кое-где лед раскалывали ярко-зеленые прожилки. Но они были настолько малы, что говорить о чистой воде не приходилось.

Приборы показывали солидный дифферент на нос.

— Продуть кормовую систему.

— Есть, продуть кормовую!

Треск усилился, что-то глухо лопнуло, почти с грохотом, и стрелка креномера сразу упала на нуль.

Теперь можно и выходить.

Михайловский привычно начал поднимать люк. Он не поддавался.

Нажим плечом — результат тот же. Что за чертовщина? Может быть, заклинило? Но с чего?

— Лозовой!

— Здесь, товарищ командир.

— Ломик!

Боцман мгновенно исчез, и через минуту появился с короткой стальной трубой.

Снова нажим на крышку: в образовавшееся отверстие просунули рычаг.

Крышка скрипя дрогнула, потом вдруг отскочила легго и свободно, а по палубе грохнуло что-то массивное.

Они поднялись на мостик.

— Вот что мешало! — Рядом с рубкой лежала на палубе толстая широкая льдина.

Корпуса, собственно, вообще не было видно. Лодка подняла с собой все, что сковывало полынью — большие и малые льдины, а на носу красовался серый обломок пакового тороса.

Кругом, куда достигал глаз,— сильное торошение, льды, искромсанные, сжатые в причудливых своих гранях, похожие на фантастических зверей и на виденные где-то в книге развалины старых замков.

— Дежурной группе очистить палубу!

Стальная дверь рубки отошла в сторону, и на белом льду яркими пятнами запестрели оранжевые жилеты матросов. Пошли в дело лопаты и ломики, льдины скатывались вниз, переворачивались в воде и снова всплывали.

Свинцово-пасмурное небо стыло над ними. Уныло-серое, набухшее снегом.

Накинув в каюте теплый реглан, замполит прошел на нос и двумя прыжками очутился на льдине. За ним неуклюже, мелкими шажками прошел конструктор. Замполит, держа в руках кожаный мяч, шествовал по скользкой стали неторопливо, как по тротуару Невского проспекта...

— Свободные от вахт! — зычно позвал он.— Есть желающие сразиться в футбол?

Из боевой рубки выглянула чья-то недоверчивая физиономия. Исчезла снова, и один за другим стали спрыгивать на лед моряки.

Выбрали относительно ровную площадку.

— Выступают всемирно известные команды «Нептун» и «Счастье ревущего стана»,— торжественно провозгласил трюмный.— Весь сбор от билетов пойдет в пользу безработных белых медведей. Начали!..

— Подожди... А кто за вратаря?

— Мне, что ли, попытаться?—улыбнулся конструктор.

— Это тебе не лодки строить.

— Все равно, надо же когда-нибудь начинать!..

— Ты думаешь?

— Конечно!..

— Тогда валяй!..

Пробитый чьей-то сильной ногой, над торосами звонко пропел мяч.

4

Розанов пришел один. Без жены.

— Дело это тяжелое, товарищ адмирал. Нужно разобраться по-мужски.

— Меня зовут Анатолий Иванович.

Розанов тяжело уселся на стул, положил на скатерть руки. Сорокин заметил, как на запястье быстро бьется бледно-голубая жилка.

— Утешать меня не нужно. Валерия не вернешь, и ничего уже не переиначишь...— Было видно, что он продумал разговор. Но сейчас опять смешался, по-стариковски замолк, блестя влажными, погасшими глазами.— Вот и... Словом, как это все случилось? Если, конечно, можно... Анатолий Иванович.— Он помолчал и добавил: — Обидно, что не на войне.

— На войне, Николай Васильевич. На самой настоящей войне. Разве вы не слышите взрывов? А война идет. Каждый час. Каждую минуту. Да и о взрывах вы знаете, читаете об испытаниях атомных бомб.

— Но вы же не взрываете их?

— Мы их носим. У нас — свой участок фронта. И Валерий пал на самой передовой. Я не к случаю говорю эти высокие слова. Все так оно и есть. Идет война. Напряженнейшая из напряженнейших. И мы ни на миг не можем отстать, оголить какой-либо участок фронта. Иначе это слишком дорого может обойтись.

— Я понимаю...

— И Валерий понимал. Иначе он не стал бы комсоргом лодки. Да еще такой, как «Ленинский комсомол». Это гордость наша. И Валерия любили. Это — опять же не для красного словца. Сами встретитесь с ребятами... Они вам расскажут...

— Уже встречался. Они приходили.

— Тогда вы все знаете.

— Мне нужен еще один совет, Анатолий Иванович... Ребята с лодки просят, чтобы мы разрешили похоронить Валерия здесь. А жена хочет в Астрахани. Как быть?

— Я буду с вами совершенно откровенен, Николай Васильевич. И сразу оговорюсь: ваше с женой слово — решающее. Я бы на вашем месте пошел навстречу желанию ребят.

— Почему?

— Это его друзья.

— Они отслужат свое и разъедутся по всей стране.

— И что же из этого? Останется флот. И завтра, и послезавтра, и во веки веков. Даже когда нас с вами не

будет. А флот не забывает своих героев. Тем более таких, как Валерий... И потом, потом — здесь его земля. Астрахань — юность. Здесь — зрелость и подвиг. Земля тоже ничего не забывает. Даже если уходят целые поколения. На могилу придут другие. Чтобы отдать должное своему мужественному предшественнику. Я знаю, что и в Астрахани его имя будет окружено любовью. Здесь эта любовь, так же как и имя Валерия, прописаны навсегда...

— Пожалуй, вы правы.— Розанов тяжело поднялся со стула.

— Я высказываю только свое личное мнение. Но мне оно кажется правильным.

— Пойду поговорю с женой...

— Может быть, вам что-нибудь нужно? Сразу все будет обеспечено.

— Нет. С ней ваши женщины. А то, что могло бы помочь, неосуществимо...

Сорокин обнял его.

— Главное — мужайтесь. Жене труднее: она — женщина. Держитесь...

— Постараюсь. Хотя, честно, не знаю как получится...

Залп звонким хлыстом рассек воздух, и молнией метнулись в высоту чайки. Сопки многократно повторили эхо, передавая его из ущелья в распадок и от одной вершины к другой.

Бесконечной казалась черная лента моряков — матросов и адмиралов, ученых и лейтенантов, рабочих, строителей. Было так тихо, что даже доносился из-за сопки литой перезвон корабельной рынды. Только единожды глухой стон матери заставил всех вздрогнуть.

Холм потонул под венками, и тогда ликующая медь гимна смяла все шорохи и звуки.

Тысячи раз слышат люди на веку этот гимн. Но в такие мгновения душа улавливает в его торжествующей стали и оттенки реквиема и утверждающую жизнь песню. Гимн перешагивает рубеж смерти и бессмертия, и, когда по песку и гравию ударили тяжелые кованые каблуки матросских ботинок и экипаж за экипажем с летящими на голубом ветру знаменами пошли в строю мимо холмика команды прославленных атомоходов,— это было сильнее клятв и слов, сказанных над могилой.

Флот отдавал почести не только ему — Валерию Розанову, рабочему парню из Астрахани. А и тем, кто лежит в ковыльных степях и на заполярных сопках. Кто спит на дне Баренцева и Балтийского. Люди уходят. И в людях же оживают.

Разве вот в этом правофланговом торпедисте с Краснознаменной не жив Валерка! Разве не бьется его сердце в душе первогодка, с флотской лихостью несущего окаймленное волной знамя!

Через какие-то часы многие из них окажутся далеко от этого холма и этих сопок. И вместе с ними непыльными дорогами океана будет идти под всеми широтами легенда о моряке, заслонившем собой беду и выше всего чтившем законы морского товарищества.

И годы пройдут, и эти, новейшие сейчас лодки, проглотят пасти мартенов, и кажущиеся сегодня фантастическими корабли прошьют океан, и переступят земной предел сегодняшние друзья Валерки, легенда только подернется дымкой новых подробностей. Их уже выдумают другие поколения, но не раз в кругу притихших мальчишек где-нибудь на Орловщине или за Уралом свой рассказ о службе морской будет ветеран начинать немножко старомодными словами:

«Служил тогда на лодке матрос флота российского Валерий Розанов...»

«Дорогой Валерка!

Наконец-то получила от тебя письмо.

Пожалуй, ничего нет хуже на свете, чем ждать. Я рада, что ты по мне скучаешь. Спасибо тебе за ласковые слова. Если бы ты знал, как они мне нужны!

Работа у меня пошла веселее.

Встретила на улице ребят из твоего училища. Расспрашивали, как тебе служится. Что можно было, рассказала. Хлопцы тебе завидуют. Говорят: «Когда призовут, будем проситься на подводный флот». Особенно размахивал руками при этом Сеня Колычев. Боюсь только, его на флот не возьмут. У него со зрением неважно.

На праздник собирались у мамы. Идти никуда не хотелось. Мысленно была с тобой.

Как-то трудно представить, что я хожу по тем же улицам, где только вчера бродили вместе с тобой, вижу те же

дома, тех же людей, а тебя здесь нет, и неизвестно, когда мы еще увидимся.

Наверное, наш век такой: в нем больше расставаний, чем встреч, и больше беспокойства, чем покоя.

Не думай, что я жалуюсь: я знаю, какая у тебя профессия, какая служба, и люблю тебя от этого еще больше. Только не тревожиться и не тосковать не могу — иначе какая же это любовь!

Вот ты говорил, что кончишь службу, здорово заживем, поженимся. Я же твой характер знаю: на месте ты не усидишь, и мне снова придется ждать тебя. Утешение, пожалуй, одно: не у одной меня такая судьба.

Как ты долетел? Как встретился с ребятами?

Ты столько о них рассказывал, что, кажется, я их всех знаю лично, много раз с ними встречалась...»

Это письмо пришло на лодку через три дня после того, как Валерки не стало.

5

Во Владивостоке, куда прилетели самолетом Михайловский и Бевз, уже начиналась осень. На сопках среди промытой дождем зелени полыхали островки багряного золота, и воздух над набережной приобрел ту хрустальную вещественность, какой, пожалуй, не встретишь ни на западе, ни на севере, ни на юге России.

Осень в Приморье лучшее время года, когда позади нудные летние дожди, а жестокие туманы и ветры декабря еще застряли где-то на уже одевшейся снегом Чукотке. Только по ночам звонкий ледок прихватывал воду у берегов камчатских и сахалинских речек. А днем совсем по-летнему ослепительно сверкала под солнцем бухта Золотой Рог. На полуострове Шкота, Токаревской косе, мысах Чуркина и Клета пришедшие из Арктики команды полярных судов наверстывали упущенное за нежаркое северное лето — загорали, сняв робы и тельняшки и подставляя бледные спины совсем не ласковым ветрам, сплетающимся где-то у островов Русский, Стенина и Сибирякова в плотный стремительно летящий на город поток.

Бевз шел с Михайловским по Ленинской улице, и как старых знакомых, узнавал сопки и дома.

Первая Речка. Когда он учился в школе младших командиров, бегал сюда к знакомым. Драматический театр. Театр юного зрителя. Институт океанографии. Гостиница «Золотой Рог». С каждым домом связаны воспоминания.

По этим улицам прошла флотская юность Бевза. Здесь он стал комсоргом батальона, курсантом училища береговой обороны, помощником начальника политотдела по комсомолу отряда легких сил Тихоокеанского флота. Отсюда на лидере «Тбилиси» уходил с десантом в Сейсин, а на эсминце «Решительный» шел во втором броске освобождающих Южный Сахалин. Отсюда ушел на Север.

Владивосток осенью в чем-то схож с Севастополем. Та же ослепительная синева неба. Те же улочки, выходящие прямо к морю. Те же белые домики, взбирающиеся на вершины холмов причудливыми каменными и деревянными лесенками. То же буйство красок, крик чаек и протяжные гудки лайнеров у Морского вокзала.

— Щемит сердце, Сергей Семенович?

— Есть, конечно... Считай, целая жизнь здесь прожита. Видите вон то здание? За телефонной станцией...— Они остановились на перекрестке Ленинской и Лазо.

— Да.

— Горькое это место. Здесь были схвачены Лазо, Сибирцев и Луцкий...

Они снова замолчали. И только у здания музыкального училища Бевз снова заговорил:

— В нашей флотской истории множество белых пятен. Вот сейчас здесь,— он показал на площадку, с которой была видна вся бухта Золотой Рог,— цветы. И даже памятника нет. А в 1907 году именно на это место выбросился восставший «Скорый».

— Это какой же «Скорый»?

— Владивостокский «Очаков». Поднял красный флаг, пошел к выходу из бухты. Другие корабли открыли по нему огонь. «Скорый» потерял управление и выбросился на камни.

— А команда?

— Кто остался в живых, был предан суду, многие казнены.

— А вы неплохо знаете историю города.

— Поживи здесь с мое, будешь знать не хуже...

Едва они перешагнули порог кабинета командующего флотом, тот вышел из-за стола и обнял сначала Бевза, потом Михайловского.

— Поздравляю, друзья! От всей души поздравляю! Поход проведен отлично... Ну, садитесь, рассказывайте...

— Собственно, вот они, наши верительные грамоты.— Бевз протянул командующему папку в темно-красном переплете и эбонитовую шкатулку.

— Что это?

— Посмотрите.

Раскрыв папку, командующий прочел:

«Эту землю сурового заполярного края, обильно политую кровью лучших воинов прославленного Краснознаменного Северного флота, пронесенную через глубины морей Ледовитого океана, подводники-североморцы дарят подводникам-тихоокеанцам в знак боевой дружбы во славу нашей Родины.

Подводники-североморцы».

Командующий задумался.

— Спасибо. Это для нас святая реликвия. Передадим на лодку торжественно. Завтра, после подъема флага...

Они проговорили минут сорок, когда вошел член Военного совета Тихоокеанского флота. Разговор постепенно переходил в другое русло.

После одного из эпизодов, рассказанных Михайловским, Бевз добавил:

— Лед давит не только на воду. Лед давит на мозги людей, на их сознание. Я вот попросил корабельного врача провести своего рода эксперимент: проверить пульс у людей до входа под пак и во время движения под ним.

— И что же выяснилось? Это интересно.

— Такое уже не определишь словом «интересно». Данные эти не только для медицины. Для психологов. Для нас, политработников. Проверили мы выборочно двадцать человек. С уходом под пак пульс повысился на десять ударов, кровяное давление подскочило на десять-пятнадцать единиц. И так все это держалось в течение суток. Потом все пришло в норму. Вот тебе и «психология». Значит, в этом направлении прежде всего нужна работа.

— А общее настроение людей?

— Как вошли под лед, ходил по отсекам и наблюдал за людьми. Бдительность и собранность их были исклю-

чительными. Даже заметил: пока шли под открытой водой, некоторые книжками увлекались, а подо льдом все механизмы охаживали. Чувствовали, на какое серьезное дело идем.

— Да и увеличение длительности походов дало новые трудности,— раздумчиво вставил Михайловский.— Народ наш в несознательности не упрекнешь. Но человек есть человек. И где-то, наверное, точит его провокационная мыслишка: с какой стати я должен болтаться под водой месяцами? Нужно ли это действительно для обороны страны? Не придумано ли ретивым начальством? Еще Суворов говорил: «Каждый солдат должен понимать свой маневр». Тем более должен понимать ситуацию, международное положение, цели и задачи службы наш матрос. Так что здесь — широкое поле деятельности для нас, офицеров. Об ответственности людей не говорю. Случая пожаловаться на это просто не было.

— Это действительно так,— подтвердил Бевз.— Не было ни одного случая халатности, равнодушия...—И, подумав, добавил: — А свободное время команды нужно организовывать творчески, с выдумкой. Нужно сделать так, чтобы человек действительно отдыхал. Это проще простого — прокрутить четыре-пять фильмов... Хотя в принципе народ на лодках исключительный.

— Такие уж у вас все и святые? — иронически поддел Бевза командующий.

— Почему святые? Совсем нет. Пришел, скажем, к нам на лодку матрос Ломакин. Увалень увальнем. Как ни бились с ним, ничего не получалось: то опоздает на дежурство, то на берегу с ним что-нибудь случится... Одним словом, махнули на него рукой. А когда человек почувствует, что никто всерьез его больше не принимает, он соответственным образом себя и ведет. По принципу: «Пропади все пропадом». Выпил он как-то. Пришел в базу — его на гауптвахту. Командир тут уже буквально взмолился: «Уберите его от нас!..» Командир тогда молодой был, неопытный. Начали мы с Николаем Ломакиным разбираться. Вызвали в политотдел. Часа четыре говорили. Разговорился он. Смотрим, а парень он, в сущности, неплохой. Книги любит. Решили на эту любовь и сделать ставку.

— И что же? Ломакин немедленно стал героем?

— Почему героем? Сдал экзамен на самостоятельное

несение вахты. Поднялся и в своих глазах и в глазах ребят... Недавно я ему карточку кандидата в члены партии вручал. Сейчас он командир отделения турбинистов. Старшина 2-й статьи.

— Неподдающийся был?

— Не знаю. В принципе, неподдающихся, наверное, нет. Есть либо неопытность командира и замполита, или нежелание возиться с человеком...

Из штаба флота Михайловский и Бевз вышли только через четыре часа.

Они летели на Запад, и где-то далеко внизу проплыли Байкал, Иркутск — тысячи больших и малых городов, и только, пожалуй, на пути из Владивостока в Москву человек впервые ощутимо понимает, как велика Россия.

Бевз сидел у иллюминатора и задумчиво смотрел, как отлетает назад дымчатое кружево облаков.

В голове все время вертелись когда-то прочитанные и вдруг так неожиданно всплывшие в памяти строки:

Не побоюсь вперед взглянуть
И верить жизни не устану.
Благодарю судьбу за путь,
Который вывел к океану...

«Чьи это стихи?.. «Благодарю судьбу за путь, который вывел к океану...» Нет, не вспомнить... А впрочем, все равно...»

6

Анатолий дежурил по номеру, и времени разобрать почту не было. Только когда подписали последнюю полосу газеты и в ночной редакции привычная суматоха сменилась раскованным ожиданием, пока ротации выбросят первые номера завтрашней, вернее, уже сегодняшней «Комсомолки», он не торопясь принялся разбирать конверты.

Один сразу привлек его внимание: по верху пакета шло жирным шрифтом: «Политическое управление Краснознаменного Северного флота».

«Что бы это могло быть?» Ножницы вспороли плотную бумагу, и на стол легла пачка сколотых документов.

На листке, вырванном из блокнота,— характерный округлый почерк Бевза:

«Дорогой Анатолий Сергеевич!

Вынужден сообщить Вам тяжелую для всех нас весть. Подробности — при встрече. А сейчас могу сказать только одно: не стало Валерия Розанова. Каким он был при жизни, Вы знали. Потому мне и нечего добавлять к тем словам, которые Вы мне сами сказали при последнем свидании здесь, на Севере.

Среди бумаг Валерия оказалось неоконченное письмо к Вам. Посылаю его. Я не сомневаюсь, что Вам будут дороги эти строки...»

Он читал и не верил своим глазам. Как же так? Какая чудовищная нелепость! Валерий и смерть — совместить такое было невозможно.

— Анатолий Сергеевич, сигнал,— рассыльная положила на стол пахнущий типографской краской номер.

— Спасибо.

— Вы чем-то расстроены? Ошибка прошла?

— Да, тетя Катя. Большая ошибка. Только не в газете. В жизни.

— С женой неладно?

— Не-ет. С другом.

— Бывает,— неопределенно протянула видавшая виды Екатерина Васильевна. Многолетняя жизнь среди беспокойного журналистского племени научила ее не быть назойливо любопытной.

— Не переживайте,— на всякий случай успокоила она.— В жизни все бывает. Как-нибудь образуется.

— Да, да... Спасибо...— Анатолий отвечал машинально, не думая о том, что говорит.— Спасибо, тетя Катя...

— Ну я пошла.

— До свидания.

Он долго не решался взяться за письмо Валерия, смотрел невидящими глазами в окно, где в разливе тысяч и тысяч мерцающих огней засыпал огромный город. Только снизу доносились характерные гул и уханье: газетные машины набирали полную мощность.

Анатолий поймал себя на мысли, что надо заставить себя прочесть это письмо, полученное, по существу, уже из небытия.

«Привет с Севера! — писал Валерий.— Ты, наверное, уже ругаешься, что я замолк. Склоняю повинную голову,

но, честное слово, замотался до чертиков. Готовились к сложной командировке. Теперь хлопоты позади, и перед отходом я решил наконец искупить свои грехи.

Мы не доспорили тогда с тобой о Загоруйко. Мне твое мнение кажется слишком категоричным. Просто ты убедился, что в своем подавляющем большинстве ребята с атомного флота — изумительные люди, бесконечно влюбленные и в море, и в свои лодки. На таком фоне Юрка естественно показался тебе со своим жлобским скептицизмом белой вороной.

И я вначале так думал о нем. Но когда меня избрали комсоргом, я, волей-неволей, должен был еще раз проверить свое отношение к каждому. Одно дело — личные эмоции, другое — работа с человеком.

И вот, анализируя жизнь и работу Юрки, я понял, что наше с тобой категорическое осуждение его тогда, на плавбазе, справедливым было только отчасти.

У Юрки много наносного, показного. Бравада, если хочешь. Он никак не желает быть «таким, как все». А потому нелепо решил, что поза доморощенного Чайльд-Гарольда придает его личности ореол этакой мудрой, повидавшей виды незаурядности.

А недавно, в походе, я видел, как он работает. Нужно было срочно проверить сложную схему. И он не спал ночь, копался в ней, ворчал для виду, но по всему было видно, что это ему по душе, что он счастлив и горд доверием командира.

Я в ту ночь тоже стоял на вахте. Он сам подошел и сказал: «Валерий, вы, наверное, считаете меня последним пижоном. Но если бы вы с ребятами знали, как мне самому надоела эта мишура чьих-то чужих слов. А сбросить ее не могу — привык».

Долго мы потом просидели с ним. В конце разговора он все же попросил: «Только ничего не говори ребятам. Подумают — каюсь. А мне каяться не с руки. Я гордый».

«Ты дурак,— вырвалось тогда у меня.— Не гордый, а дурак. Сбрось свою нелепую маску, тебе самому станет легче жить...»

Одним словом, он сказал, что подумает.

Неожиданной стороной он тогда передо мной раскрылся. Видишь, как важно видеть в человеке все грани. А иначе можно списать из «своих» просто ошибающегося человека...»

Анатолий пытался вспомнить лицо Загоруйко. Там, во время разговора на плавбазе. И не мог. В памяти все время всплывал Валерий. И почему-то не на лодке. Когда брели с ним вьюжной ночью по улицам городка и на шапке его таял снег...

«Кое-какие материалы, нужные тебе,— продолжал Валерий,— я подготовил. Среди них есть весьма любопытные. Особенно по Карскому морю.

А письмо,— вдруг неожиданно в послание ворвалась новая нота и почерк стал торопливым, сбивчивым,— судя по всему, мне закончить опять не удастся. Вызывают к начальству. Так что не сердись. По возвращении — допишу».

К письму была приколота пачка бумаг: выписки из боевых листков, копии материалов из стенгазеты, какие-то стихи.

«По возвращении — допишу»... Ничего ты уже, Валерий, не допишешь. И эти строки — последние.

— Толька, долго ты будешь сидеть? Мы ждем.— В кабинет заглянул выпускающий.— Не гонять же для тебя потом отдельно машину.

— Да, я иду. Иду...

Сложил бумаги, застегнул карман, чтобы случайно не выпали.

От подъезда одна за другой уходили машины.

Люди устали — шел второй час ночи — и всю дорогу молчали. Анатолий поймал себя на мысли, что это очень кстати: обычная болтовня была бы сейчас не по силам. А рассказывать о Валерии не хотелось: они его не знали, и мало ли смертей случается ежедневно на этой земле.

«Волга» проскочила блестящий от дождя, дрожащий от рекламных огней асфальт улицы Горького, свернула к манежу и вскоре вылетела на Ленинский проспект.

«Интересно, что бы сказал Загоруйко, прочтя последнее письмо Валерия? — И тут же подумалось: — Валерий разговаривал в письме не только с ним, Анатолием, но и с самим собой, и с Юркой. Но Юрка не знает об этом. И обязательно должен узнать».

Той же ночью он перепечатал, не изменив ни слова, письмо Валерия на машинке. Внизу добавил несколько фраз от себя. Нашел в записной книжке адрес. Подумав, после фамилии «Юрию Загоруйко» написал еще одно слово: «Лично».

7

Михайловский проснулся в четыре часа ночи: солнце ударило в окно, и стекла засверкали теплыми радужными снопами голубых брызг. В походе свет плафонов дневного света казался почти естественным заменителем дня. Только сейчас, глядя на слепящую радугу оттенков и полутонов торжествующего света, он видел, как беспомощен самый совершенный заменитель естественного и неповторимого блеска, бьющего с высоты.

Жена спала, уютно уткнувшись в подушку теплой щекой. Только раз или два тихонько дрогнули ресницы и губы осветились улыбкой. Как ветер тронул тихий сонный омут.

«А это здорово,— подумал Михайловский,— проснуться вот так дома. И никуда не торопиться. Знать, что и завтрашний, и послезавтрашний, и все другие дни в течение месяца — твои. Можно целый день валяться на тахте с книгой. Или махнуть на рыбалку...» И сегодня, сразу, как только она проснется, они уйдут в сопки, где не будет никого, кроме них двоих. Только шелест ветра в ягельнике и заблудившееся в сопках эхо...

Море и корабли всегда разлучали людей. Это казалось ему естественным, как естественным вроде было и то, что в стремительном движении технического прогресса, подминающего время и расстояния, эти разлуки, казалось, должны были сократиться. Колумба отделяли от Америки месяцы. Пассажира реактивного самолета — часы.

Но вопреки этой вроде бы здравой и естественной логике, корабли стали уходить в море на месяц, два, четыре, на полгода. И не в какую-то выдающуюся экспедицию — в обычный «плановый» поход.

Время пошло по второму кругу, росли дети, с трудом узнавая в вернувшихся из дальних странствий моряках своих отцов. И ожидание жен мало чем отличалось от разлук, которые безжалостная судьба предлагала подругам Магеллана, Васко де Гамы и Крузенштерна.

Наверное, он неосторожно шевельнулся. Жена приоткрыла глаза и потянулась к нему теплыми руками.

— Ты преступник. Сам проснулся, а меня не мог разбудить.

— Я, наоборот, хотел, чтобы ты выспалась.

— Как будто я без тебя не могла этого сделать!..

Обычно годы безжалостны, и даже у очень хороших людей со временем к чувствам примешивается привычка, притупляющая бережные отношения друг к другу, исключающие нудное действие мелочей, которыми, к сожалению, наполнен этот мир и от которых никуда не уйти, способных отравить все и вся, когда мелочи вдруг приобретают значение принципиальных вещей, рушащих под собой все изначальные концы и начала.

Со временем он обнаружил, что его жена не принадлежала ни к породе ворчунов, умирающих под бременем свалившихся на нее забот, ни к суетливым показно-заботливым существам, оказывающимся, как правило, беспомощными в действительно серьезных ситуациях.

Его жена вообще не походила своей уравновешенностью и ровностью на все, что так или иначе в его сознании ассоциировалось с презираемым им понятием «бабства». Что это такое, он вряд ли смог бы толком объяснить — слишком многогранным было содержание, вложенное им в это слово: и чепухистика, пустота характера, и мелочность, и обожествление вещей, и неумная суетность, и отстаивание прав, на которые никто не думал посягать, и многое, многое другое.

Ее, иногда ему становилось даже обидно, совершенно не волновало — был ли он лейтенантом или адмиралом. Лишь при рассказах о трудных походах глаза ее загорались, становились удивленно-восторженными. Тогда угадывались в них тревога и восхищение перед содеянным им и его командой. И здесь она вряд ли обожествляла его. Во всяком случае, чаще, чем «какой ты молодец», он слышал все это произнесенное во множественном числе, а потому равно отнесенное и к себе и к его людям.

Наверное, не всякому такое бы понравилось. Люди, даже самые близкие, не все безразличны к лести. Да и, признаться, хочется, чтобы тебя иногда кто-нибудь похвалил.

— Будем вставать?

— Будем.

— И пойдем в сопки?

— Пойдем.

— Только я тебя вначале еще раз как следует рассмотрю и хорошенько накормлю.

— Как будто в походе я оголодал! — Он рассмеялся.— Уж ты-то знаешь, как нас кормят...

Она не ответила, думая о чем-то другом.

— Странная у нас с тобой жизнь, Аркадий... Как случайные знакомые, почти по полгода не встречаемся.

— Зато встречи какие!

— Ты подсчитывал когда-нибудь, сколько в этом году были в разлуке?

— Долго...

— А я подсчитывала. Двести шестьдесят дней... Это когда ты был в море. И еще около месяца в командировках или на службе, когда мы встречались урывками.

Через час они ушли в сопки и, плутая распадками, долинами и нагорьями, только к вечеру вышли обратно, на предел видимости городка.

Кружили в небе созвездия, и желтые листья дрожали в туманных заводях. Пепельная луна стыла над продрогшей тронутой ночным ледком землей. Скалы цепенели в хрупкой тишине, и звон горной речушки, заблудившейся в камнепадах, слабым эхом дрожал в воздухе. Полярные сияния бродили где-то рядом за чертой горизонта, и тревожный отсвет их бледными тенями пробегал по бездонной воде.

Она прижалась к нему. Почему-то ей снова стало неуютно и тревожно. Может быть, это океан дохнул ледяным посвистом ветра, и ей вдруг представились те неизбежные ночь или утро, когда все сегодняшнее снова окажется воспоминанием, Аркадий поцелует ее на прощание и, взяв чемоданчик, уйдет. На месяц, два, три...

8

— Скажите, пожалуйста,—Розанов спросил тихо, чтобы не слышали ожидающие в приемной люди, наклонившись к столу помощника,— скажите, как зовут адмирала?

Ему ответили.

Розанов явно нервничал, на виске у него ритмично подергивалась темная жилка.

— И имя сходится. Странно. Друг у меня был в молодости. Так же звали. Но это, конечно, однофамильцы. Тот другими делами занимался...

— Бывает,— неопределенно протянул помощник.—

Вы посидите, пожалуйста. Сейчас от него выйдут, и я доложу.

Минуты через три дверь отворилась, и из кабинета вышли два офицера. До Розанова донесся отрывок разговора: «Я, Виталий Петрович, все равно новый рапорт подам. Почему других посылают, а меня нет. Чем я хуже? Не всю жизнь мне в кабинетах сидеть?» «А вы не горячитесь. Он же категорически не отказал. Сказал «подождите»,— один из вышедших успокаивал спутника.

Помощник исчез за дверью и тотчас же появился снова, подошел к Розановым.

— Адмирал просит вас...

Когда члену Военного Совета сказали, что к нему на прием пришла семья Розанова, он приготовился к трудному разговору. Да, это был тот случай, когда власть его, адмирала, бессильна. Чем он может помочь? Утешить? Разве утешишь отца и мать, потерявших сына? Только время способно хоть немного зарубцевать такую рану. И что им сказать? Из тяжелого, кровавого опыта былой войны, когда ему приходилось сотни и сотни раз смотреть в глаза людей, потерявших самых близких, и говорить с ними, он знал: готовиться к таким встречам бесполезно. Сколько людей, столько и характеров. И нужные слова придут сами. В последнее мгновение, когда их нужно произнести.

Они не могли быть пустыми, формально-соболезнующими, эти слова. Одно дело, если бы к адмиралу пришли как к частному лицу. Просто помолчать, погоревать вместе, посетовать на беду, когда человеку уже невмоготу одному нести эту тяжесть. Но к нему шли за другим. В нем видели, и он отлично понимал это, представителя партии. И ждали, внутренне требовали честного разговора: почему это случилось? Кто виноват? Как можно было предотвратить его гибель?

И он обязан был ответить на все эти вопросы. Не выкручиваясь, не придумывая спасительную облегчающую ложь, не отделываясь обязательными выражениями соболезнования. Как ни тяжело было такое, этого «креста» снять с него не мог никто. И прежде всего собственная совесть.

Он вышел из-за стола, когда увидел на пороге кабинета сухощавого, небольшого роста мужчину с женщиной

и другим спутником, помоложе. «Наверное, жена и сын». И чем ближе подходили они друг к другу, тем все очевиднее становилось адмиралу, что и лицо это, и глубоко запавшие глаза идущего ему навстречу человека, и эти плотно сжатые губы он уже видел. И не только видел...

— Неужели ты! — почти со стоном выдохнул пришедший.— Васька! Неужели это ты?!

— Николай! — Адмирал почувствовал, как все в нем оборвалось и дрожит натянутой струной тревожно и напряженно.— Колька, дорогой!..— Горечь подступила к горлу, и, обнимая его, вдруг вот так, непрошенно шагнувшую через порог далекую свою юность, тихо, чтобы слышал только один он, Николай Розанов, выдавил: — Вот, значит, как пришлось свидеться... Подумать только... Горькая встреча у нас, товарищ мой дорогой...— И, только взглянув на жену Розанова, опомнился: — Ну что же мы стоим. Садитесь.

Помощник по комсомолу, «главный комсомолец флота», бывший тут же, в кабинете адмирала, с недоумением, смятенно наблюдал все это. И даже не понял, что это к нему обращался адмирал, когда бросил: «Вот ведь как бывает в жизни. Ни в каком романе такую встречу не придумаешь».

А адмиралу вдруг отчетливо вспомнилось показавшееся ему таким знакомым лицо старшины с «Ленинского комсомола». Ну, конечно же, это был сын Николая. Его глаза. Его нос. Его улыбка. Как он мог не узнать?! Хотя столько лет прошло, и какая ненадежная вещь — память. И даже когда была названа в связи с бедой и подвигом фамилия «Розанов», она как-то не связалась в сознании с тем другим Николаем Розановым, который сейчас сидит перед ним. Постаревший, поседевший, покореженный жизнью, с потухшими тяжелыми глазами.

Наверное, и у того и у другого слишком много всколыхнула эта встреча, потому что оба долго молчали, разглядывая друг друга, и каждый возвращал для себя полустершиеся от времени образы и картины.

— Когда мы виделись с тобой в последний раз? — нарушил молчание адмирал.— В тридцать втором...

— Нет, пожалуй, в тридцать третьем. Ты ушел служить матросом на Балтику.

— Да... Целая жизнь... Здорово ты, друже, изменился.

— А ты, думаешь, помолодел?

— Целая жизнь,— машинально повторил адмирал.— Сколько всякого за это время было. Ни одного спокойного года... Знаешь, что мне сейчас вспомнилось?.. В тридцать втором бросили меня, как тогда говорили, «на коллективизацию». Выбрали председателем колхоза.

— Это в селе Ношаутове?

— Да, на Волге. Приехал я по делам в соседний колхоз «Трудовой»...

— Неужели даже название запомнил?

— Как видишь... И говорят мне: «Учитель у нас отличный, Розанов». «А ну, прошу, покажите мне этого учителя. Что-то фамилия знакомая. Дружок у меня был Розанов». Меня к тебе и привели.

— Мы тогда с тобой всю ночь просидели, проговорили.

— Было, милый, все было... А потом я к тебе частенько наведывался...

— До тридцать третьего. А как ушел на Балтику — пропал. Я уж думал, не случилось чего...

— Сложная, Коля, у меня жизнь началась...

— А ее помнишь? — Розанов кивнул на жену.

Что-то смутное шевельнулось в памяти Гришанова. Далекое, неотчетливое, туманное.

— Уж не та ли это дивчина, с которой ты меня в «Трудовом» знакомил?

— Она самая.

— Через столько лет узнать мудрено. Мы же — раз два и обчелся — виделись...

— Послушай,— вдруг помрачнел Розанов.— У меня к тебе просьба. Не как к адмиралу, а как к другу. Расскажи нам правду. Обещаем слез не лить и истерик не устраивать. Знаем, этим ничего не исправишь. Да и слезы, наверное, уже все выплакали. Но пойми, мы имеем право знать правду. Мы же — отец и мать.

— А я и не собираюсь ничего скрывать. Все, что тебе рассказал Сорокин,— правда. Мне докладывали об этом вашем разговоре. Мы коммунисты, Николай, и должны говорить друг другу правду... Я знаю, где-то внутри тебя грызет червячок: почему Валерий? Почему он, а не кто иной? Конечно, Валерий мог тогда пройти мимо. Или

как-то укрыться. И никто бы его за это не осудил. Но вы же сами не хотели бы видеть своего сына трусом. Сами воспитали его таким, каким он был. И такой Валерий иначе поступить не мог. Так уж был скроен. Из такого теста вылеплен...

Адмирал переложил на столе папки.

— Остальное вы знаете. Это не слова, прошу мне поверить,— больно не только вам... Его очень любили на флоте... Я уже звонил в Астрахань, послал письмо,— добавил адмирал.— Секретарь обкома сказал, что подвиг Валерия будет отмечен памятником. Да и флот не останется в стороне...

— Мы пришли не за соболезнованием и не памятники выпрашивать.— Розанов встал.

— Знаю. Я об этом — к слову.

— Есть у нас думка. Хочется пройти нам по всем местам, где бывал в Москве Валерий. Он же свой последний отпуск был здесь. Хочется, как бы это тебе сказать, взглянуть на все его глазами.

— Я понимаю. Он шел с флагом по Красной площади. Был в Кремле. В квартире Ленина. В ЦК комсомола вам вручат грамоту...— Адмирал замялся,— которую ему не успели вручить... Вот познакомьтесь — Виталий. Он будет вас сопровождать, все покажет.

— Спасибо.

— При чем здесь «спасибо», Николай? Я очень тебя прошу, не скрывай ничего, что вам нужно. Все сделаем.

— А что нам теперь нужно? — Розанов горько усмехнулся.— Ребята встали на ноги. Валерия уже не воскресишь. Что нам может быть нужно?.. Ничего.

— Нельзя так, Николай. Возьми себя в руки.

— Пытаюсь. Ну мы пойдем. Ты с нами, Виталий? — как-то незаметно для себя Розанов перешел с этим симпатичным парнем в морской форме на «ты».

— Да, пока вы спускаетесь вниз, я вас догоню...

Розанов и адмирал обнялись.

— Спасибо. Как-то легче, когда знаешь, что Валерка дорог не только нам.

— Я не прощаюсь, Николай. Мы еще увидимся. Посидим...

— Товарищ адмирал,— не удержался Виталий, когда Розановы вышли.— Расскажите подробнее, кто он?

— Розанов? Давняя это история, дорогой... Как будто

в другом веке все было. Жил я тогда в Астрахани. Голодно было, неустроенно. Не у одного меня — у всех. Обязал меня комсомол учиться. Поступил в Астраханский педагогический техникум. Там с Николаем и познакомился. Он был на третьем курсе, я на втором. Его заведующим нашим общежитием назначили. В порядке комсомольского поручения. А меня избрали секретарем комитета комсомола. Вот и приходилось нам все проблемы вместе решать. Так и подружились...— Адмирал задумался.— Понимаешь, что получается. Оказывается, я их сына — Валерия — видел. Только не узнал, хотя лицо и показалось мне знакомым...

9

Отпуск Анатолий традиционно проводил на Севере. В этом году программа его была обширна: Архангельск, Поморье, Соловецкие острова.

В Соломбале, на набережной Седова, где все, казалось, сохранилось нетронутым с тех достопамятных времен, когда отсюда отошел «Святой Фока», Сергеев неожиданно увидел Загоруйко.

Он сидел на низкой скамеечке перед маленьким деревянным домиком с резными ставнями. У забора, как, впрочем, и в большинстве тамошних дворов, в лопушиных зарослях лежала перевернутая килем кверху лодка.

— Юрка!

Тот недоуменно поднял голову.

— Юрка, черт тебя побери! Не узнаешь, что ли?

— Толька!

Они долго дубасили друг друга по спинам. Сергеев видел: Юрка рад встрече.

— Откуда?

— Я в отпуске. У своих.

— Разве ты архангельский?

— А чей же?

— Ну, на лодке ты, прямо скажем, окал меньше.

Загоруйко рассмеялся.

— На корабле как-то отвыкаешь. Здесь снова возвращаешься на круги своя. А ты какими судьбами?

— Тоже в отпуск. Надо же, такое совпадение! Ты чем собираешься заняться?

— Сам еще не решил.
— Тогда махнем со мной на Соловки.
— Надолго?
— Да нет, на недельку.
— Тогда можно...— Юрка вдруг подозрительно посмотрел на Анатолия.— А ты, собственно, что в Соломбале потерял?
— Да вот решил по историческим местам прогуляться. Набережную Седова посмотреть, найти могилу Пахтусова.
— Еще не был?
— Нет.
— Тогда жми в кильватер. С первого раза найти трудно. Я тебе покажу.
Они шли по деревянным мостовым мимо верениц вытащенных на берег лодок.
— В Москве так стоят автомашины.
— А здесь — лодки и катера. Двина и море рядом.
— Долго еще идти?
— Уже почти на месте.— Юрка показал на виднеющиеся среди зелени купола церквушки.— Это здесь...
Они ползали в мокрых от дождя кустах и раздвигали упругие ветки, отвечающие на каждое прикосновение лавиной холодных, сверкающих на солнце брызг.
Они прошли по узкой тропке к надгробию, сложенному в виде скалы из булыжных глыб светло-серого цвета:
«Корпуса штурманов подпоручик и кавалер Петр Кузьмич Пахтусов. Умер в 1835 году, ноября 6 дня, от роду 36 лет от понесенных в походах трудов...»
Ниже подписи было выгравировано изображение Новой Земли, берега Пахтусова и Карского моря с надписями: «Новая Земля», «берег Пахтусова», «Карское море»...
«Вот мы и встретились с тобой, Петр Кузьмич Пахтусов! —думал Сергеев.— Человек, рассказами о легендарных походах которого я зачитывался с детства». Память быстро подсказала: это им описаны побережья Новой Земли, острова, носящие сейчас его имя, пролив Маточкин Шар, остров Панкратьева и Горбовы острова. Именем его назван горный хребет на Шпицбергене... Подвиг, могший составить славу нескольких жизней... А его не стало в 36 лет...
Что с того, что на могилах — кресты. Такие люди, как

Пахтусов, стоят выше религий, и Сергееву вспомнилась тогда надпись на истлевшем кресте, стоявшем на берегу Таймыра: «Нет богов—есть море». Такой вере и он готов был присягнуть. Ибо в понятие «море» безвестный землепроходец вкладывал тот же смысл, какой пахарь вкладывает в понятие «земля, Родина».

— Ты о чем задумался? — вдруг спросил Загоруйко.

— О разном... На кладбищах, да еще у таких могил, многое приходит в голову.

— А я вот тоже подумал об одном человеке.

— О ком?

— О Валерке. Помнишь наш спор об обелисках?

— Розанов мне рассказывал.

— Вот и Валерка под обелиском. И тоже — на Севере. Как и Пахтусов...

Анатолий подумал тогда, как весомо в споре последнее слово. Особенно когда цена ему — жизнь.

Глава X

АЙСБЕРГИ ПРОХОДЯТ НАД РУБКОЙ

1

Сорокин стоял в рубке флагманского корабля и смотрел, как снимаются со швартовов атомоходы.

Люди на пирсе что-то кричат, машут руками. Но слов уже не разобрать — широкая полоса воды легла между лодкой и берегом.

Адмирал улыбнулся, вспомнив песни с традиционными словами о верных подругах, провожающих корабли в море.

Подруг не было. Ни одной женской фигурки на пирсе.

Нельзя...

В его жизни было много такого, о чем «не положено» знать даже самым близким людям. И когда жена Лена вчера спросила его вечером, надолго ли он уходит из дома, он сказал: «Не знаю» и неуверенно добавил: «Как придется...»

Но должно быть, до конца сдержать волнение он не смог. Возможно, выдали глаза.

— Ладно, я ни о чем не спрашиваю. Только береги себя... Я буду ждать сколько нужно...

Поцеловав сынишек, он перешагнул порог.

И только тогда почувствовал, как волнуется. Все, что мы делаем в жизни, дни наши, наполненные поисками и ожиданиями, радостью и болью, надеждами и разочарованиями, неожиданно оказываются однажды лишь преддверием тех событий, к которым мы, сами того не зная, шли из года в год. Каждый час и каждую минуту.

Неласково провожает их родная земля. Мороз — 35 градусов. Уже вторую неделю не спадает. И в других условиях подготовка к такому походу была бы очень тяжела. А при тридцатипятиградусном морозе — особенно. Десятки и десятки тонн всякой всячины пришлось грузить на лодки. Работали день и ночь... Помнили старое морское правило: «Идешь в море на сутки, бери запас на неделю». Тщательно проверялись все механизмы.

И вот теперь час настал.

— По местам стоять! Со швартовов сниматься!

Сорокин оглянулся последний раз. Слева прошли огоньки на берегу. Мигнули последний раз на прощание и растаяли в дымке.

Море встретило холодным, ледяным ветром.

Командир взглянул на часы и вопросительно посмотрел на Сорокина.

— Пора! Всем вниз!..

— По местам стоять, к погружению!..

Опустился тяжелый верхний рубочный люк.

Стрелка глубиномера дрогнула, поползла по шкале...

— Как экипаж, волнуется? — спросил Сорокин командира лодки.

— Не то что волнуется, товарищ адмирал, но чувствует, что идет на необычное задание. А на какое, не знает.

— Сейчас мы сообщим.

Сорокин подошел к радиотелефону, прокашлялся и включил микрофон. Динамики в отсеках ожили:

— Друзья-подводники! Нам предстоит совершить очень важный и ответственный поход. Мы должны пройти в подводном положении вокруг света. Это будет первое в мире кругосветное групповое плавание атомных подводных лодок. Нам нужно пройти без всплытия около сорока тысяч километров...

2

Из дневника вице-адмирала А. И. Сорокина:

«Спустя некоторое время после погружения ко мне поступили первые донесения от командиров лодок. Они не вызывали тревоги: все шло по плану. Сменилась на вахте первая смена, заступила вторая. Никаких отклонений от походного распорядка.

Проходя по отсекам флагманского корабля, я вдруг поймал себя на мысли, что долгие-долгие недели не будет теперь этих «отклонений». Жизнь людей будет подчинена железному ритму — круговорот вахт, событий, мыслей и чувств. И хотя на поверхности океана штормы будут сменяться штилями, дни — ночами, нам постоянно будут светить все те же плафоны и в установленный час неумолимо будут поднимать с постелей неизменные, как таблица умножения, команды.

Особенностью плавания на атомной лодке является абсолютная потеря чувства пространства и времени. Как только волны сомкнулись над рубкой, с этого момента как бы все останавливается.

Ты не ощущаешь скорости, болтанки, того, что чувствуешь на любом надводном корабле. Тебя не охватывает щемящее чувство грусти при виде берега, тающего за кормой, как гряда облаков на рассвете. Ты не слышишь тревожного, хватающего за душу писка чаек, парящих над кильватерной струей. Ты не видишь ничего, кроме белого свода прочного корпуса, завершенного массой всевозможных размеров и расцветок труб, переключателей, клапанов и разнообразных приборов. И если что слышишь, то разве — монотонное гудение механизмов, веселую байку моряка да изредка врывающийся в отсек голос вахтенного офицера...

Собственно, самим по себе кругосветным путешествием сегодня никого не удивишь. Только в период с 1803 по 1855 год русские военные моряки совершили сорок одно кругосветное и дальнее плавание.

Первую орбиту под водой проложила американская подводная лодка «Тритон», которую вел Эдвард Бич. Нам выпала честь открыть в истории новую страницу мореплавания — пройти без всплытия вокруг света груп-

пой подводных атомоходов. Пройти в условиях, не идущих ни в какое сравнение с плаванием «Тритона». Бич рассказывает, как заболел один из подводников. И сразу же «Тритон» всплыл и передал его на борт американского крейсера. Нам не от кого было ждать помощи, наш путь лежал вдали и от наших берегов, и от маршрутов наших судов. Да и задачу мы ставили иную — отработать взаимодействие группы подводных кораблей в глубинах океана, в условиях длительного и непрерывного подводного плавания.

Мы надеемся только на себя.

Посвятили мы свой поход XXIII съезду КПСС.

...Любопытный разговор произошел в три часа ночи между корреспондентом газеты и работником Главного политуправления:

— Что с вами, Игорь Константинович?

— Не спрашивайте. Пишу стихотворение.

Савичев посмотрел на него с недоверием:

— Стихотворение? Насколько мне известно, вы, прожив на свете свыше сорока лет, еще не были с поэтической музой на «ты».

— Не был,— вздохнул политработник,— но на лодке нет ни одного поэта, а стихотворение позарез нужно.

— Зачем?

— Старшему лейтенанту Корецкому исполняется двадцать пять лет. И где? В океанской пучине. На приличной глубине. Разве можно в таком случае приветствовать именинника презренной прозой?

— Нет, разумеется...

— Тогда, может быть, вы сочините приветствие?

Корреспондента словно электрическим током садануло:

— Помилуйте, Игорь Константинович.

— Ну вот, все так,— сказал политработник и принялся вновь усердно выжимать из себя рифму...

В поход я специально взял книгу очерков командиров американских атомных лодок. Читал с любопытством. И все сравнивал...

Но что было сравнивать?! Плавание американской атомной подводной лодки «Тритон» было воистину многострадальным.

«...Несмотря на осторожное обращение с устройством для выбрасывания мусора,— рассказывает ее командир,— у нас все же случилась беда: после продувания шахты мусоропровода нижняя крышка не закрывалась. Теперь забортная вода давила со всей силой на верхнюю крышку, а ведь, если нижнюю крышку давлением воды только плотнее прижимало к гнезду шахты, то верхнюю вода стремилась открыть, и никто не знал, какую нагрузку смогут выдержать ее петли и замки...»

Но если бы только это! Читаем далее:

«...Не прошло и нескольких часов, как надежды на то, что плавание обойдется без неполадок, рухнули. Предчувствия, что какая-нибудь неприятность должна произойти, оправдались. В моей каюте появился Фиерс и с тревогой доложил:

— Боюсь, сэр, что нам придется остановить левую турбину. Обнаружена довольно сильная течь в циркулярной помпе конденсатора.

...Едва устранили течь — мне показалось, что не прошло и минуты, как я закрыл глаза, хотя на самом деле проспал около двух часов,— как я услышал вой сирены. Через несколько секунд в моей каюте появился посыльный от инженера-механика. Но я, конечно, не нуждался в специальном вызове после такого сигнала тревоги. Он мог означать только одно — что-то случилось в одном из реакторов...»

Не было у наших экипажей «потрясения, чуть не ставшего трагедией», не находились мы «на волосок от гибели» и — какая неудача! — не можем похвастаться сенсацией типа «эхолота из кастрюли». Даже, наконец, айсберг не преградил нам путь, как это случилось с американской лодкой «Сидрэгон».

Готовясь к походу, мы никому не сказали о его исключительности. Команда не знала, будет ли он продолжаться неделю или месяц, два.

Конечно, можно было пойти и по другому пути: создать особые условия, взять запасных специалистов... Но что бы это дало?

Мы не гнались за парадным успехом. Нам нужно было знать, как поведут себя люди и корабли в различных районах океана и в условиях, которые не искусствен-

но, а реально могли бы создаться, скажем, в боевой обстановке...

А аварии?.. Бог с ними! Пусть они останутся в художественной литературе.

По тому, как устали люди, по несвойственной для начала похода тишине после вахт чувствовалось, что к финалу нервная напряженность людей достигла предела. В мире все относительно: скажи им, что впереди еще месяц, два плавания, и все снова войдет в привычный ритм и острота ожидания спадет. Но так уж устроен человек — в долгой разлуке со всем, по чему истосковался, последние часы и дни — самые трудные...»

Они шли, пересекая много раз экватор, рассредоточиваясь и снова собираясь вместе, перечеркивая своим курсом почти все широты.

Где-то наверху свирепствовали штормы, трепетали в черном тропическом небе ожерелья созвездий. Теплое золото Южного Креста уступало место холодным удивленным глазам Большой Медведицы, и Орион со своим звездным поясом бессменно нес над планетой свою вахту. Поднимались зори, и падали в волны огненные закаты. Но они не видели этого. День проходил за днем, а они, скрытые от глаз волнами то акварельно-зеленых южных морей, то свинцовым панцирем северных, расцвеченных белыми громадами айсбергов, несли свою невиданную вахту.

3

Хозяйство Александра Петровича Бурсевича — весь мир. Пространства на карте, залитые голубой краской, просматриваются им в глубину: яростным прибоем у зубчатых рифов, заросших кораллами, отрогами подводных хребтов, упругими лавинами теплых и холодных течений, определяющих пульс планеты.

Сейчас Бурсевич наставлял старшину, упросившего его «подучить на штурмана»:

— Не верь глазам своим, когда встретишь в печати такое: «Подводная лодка всплыла в районе Северного полюса» — и далее — одни фанфары... Все это совсем нелегко и непросто. Иначе в чем бы состоял героизм: взял и всплыл...

У Бурсевича своеобразная манера разговора. Не поймешь, шутит он или говорит всерьез. Даже самые трагические сведения он излагает так, словно подшучивает над обстоятельствами, сложившимися столь нелепо и некстати тягостно. Лицо его — само добродушие, хотя на лодке знают, что может оно быть и печальным и строгим. Но это когда перед Бурсевичем явное разгильдяйство или «принципиальное нелюбопытство». Последнее в глазах Бурсевича было равносильно абсолютной никчемности человека. Собственно, и со старшиной он возился только потому, что «сей добрый молодец, кажется, чем-то интересуется. А это в молодых людях следует поощрять».

— Трудности дальних подводных арктических походов огромны.

Подводная лодка, идя под тяжелыми паковыми льдами, не имеет возможности всплыть в любое время, чтобы штурман мог определить место по звездам или солнцу, да и одно всплытие в таких условиях — ювелирная операция, где просчет или ошибка могут стоить жизни всему экипажу. Маневру мешает сильная подвижность льдов, и, как я уже говорил, в высоких широтах, в приполюсной зоне особенно, гирокомпас подвержен серьезным ошибкам...

Одним словом, Арктика требует от штурманов небывало высокой квалификации, смелости, умения мгновенно принимать самые серьезные решения... Вот так-то, молодой человек.

Парень ежится, тяжело вздыхает.

— Составление карт морского дна — подлинный научный подвиг,— поучал Бурсевич старшину.

— Что можно открыть сейчас на земле? Времена Кука и Бугенвиля, Лаперуза и Беринга давно прошли. Кабельные линии опоясали планету, и, случись что-нибудь в далекой Океании, наутро об этом раструбят все газеты и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Даже космос уже далеко не целина!

— Не скажи! Ты думаешь на земле все обследовано? Глубоко ошибаешься. Земля до сих пор планета загадок.

В Южной Америке живут племена, о которых науке абсолютно ничего не известно. История каждой цивилизации полна загадок. Таинственно хранят свои тайны каменные статуи острова Пасхи, пещеры Африки, расписанные загадочными рисунками, напоминающими космонавтов, гигантские искусственные террасы, необъяснимо поднявшие к небу огромные каменные плиты. Лианы вьются над руинами некогда великих городов, возведенных неведомыми строителями. А море скрыло загадку не только легендарной Атлантиды... Историческим нам чаще всего кажется то, что стало уже музейной бронзой и пожелтевшими от времени фолиантами. А история — рядом...

— Среди географов и океанологов говорят, что бессмертное в их науке остается на карте. На старушке земле, где, казалось, все исследовано вдоль и поперек, все время появляются новые имена и фамилии. И кстати, появляются не без участия подводников.

— Это — счастливчики.

— Неужели?.. А мы? Мы—сейчас? Идем по районам, где русские были или сто лет назад или совсем не появлялись. А это значит, что точных отечественных карт таких мест у нас не могло быть. Как и данных о ледовой обстановке и многих других, просто позарез нужных материалов.

Что делать? Не обращаться же за помощью к тем, кто ее никогда не окажет.

И потому для нас каждый день похода — открытия. Составление и уточнение карт, изучение ледовой обстановки, исследование работы новейших приборов во всех широтах, работа всего гидронавигационного комплекса, проверка надежности систем, замеры состояния моря. Весь этот комплекс научных работ в тех районах, где мы идем, еще никто до нас не проводил.

Все это было тем более интересно и важно для науки, что за пару месяцев мы успели побывать во всех четырех временах года: прошли из зимы в лето и из осени в весну. Зимой начался поход. У Антарктиды нас встретило лето. Покинули южные моря осенью. Весной приветствовали Арктику. Несколько раз пересекали экватор и «демаркационную линию», разделяющую Восточное и Западное полушария... А ты говоришь — счастливчики!..

4

Описывая навигационные условия района к югу от Магелланова пролива, лоция предостерегала мореплавателей: «Район изучен недостаточно. Некоторые навигационные опасности нанесены на карту приближенно, а некоторые не нанесены совсем; в отдельных случаях могут оказаться неточными конфигурации береговой черты, положение географических объектов и средств навигационного оборудования, а также направления курсов и пеленгов, указанных в лоции. Поэтому при плавании здесь надлежит соблюдать крайнюю осторожность и принимать все меры для обеспечения безопасности кораблевождения».

— Айсберг по пеленгу триста пятьдесят три!

— Айсберги по пеленгу триста двадцать четыре!..

Старшина, пристроившись на уголке стола в кают-компании, выводил красной гуашью по ватману:

«Рулевые и трюмные!

Проходим пролив Дрейка!

Выше бдительность!..»

Подумав, он подчеркнул слово «бдительность» чертой... Лоция не врала: «В проливе, открытом когда-то между Антарктикой и Огненной Землей английским королевским пиратом, первым повторившим путь Магеллана,— Френсисом Дрейком, приходится опасаться многого. И прежде всего ураганов и айсбергов...»

— Взгляните,— командир уступил место у перископа Сорокину.— Для нас пролив исключения не делает.

В затуманенной брызгами линзе волны и небо смешались в неистовом сумасшедшем вихре.

Сорокин вглядывался в окуляр напряженно, до рези в глазах.

— Сфотографируйте-ка это чудо,— адмирал жестом пригласил командира.— Полюбуйтесь.

Щелкнул затвор аппарата.

— Приличный айсберг. Метров шестьдесят над водой.

— Значит, под водой — еще метров триста.

— Весь в белой пене. Как сказка идет.

— От такой «сказки» «Титаник» погиб.

Штурман меланхолически прокомментировал:

— У нас приборы, мы и по сторонам видим, и впереди. А вот как в этих краях ходил Беллинсгаузен — ума не приложу. Что они имели? Хронометры, секстаны да подзорные трубы. И все. И с таким, с позволения сказать, инструментом они с Лазаревым Антарктиду открывали.

— Мужество измеряется не приборами.

— Это тоже верно. Но я бы поставил где-нибудь здесь памятники шлюпам «Восток» и «Мирный».

— Когда-нибудь поставят. А в России они уже стоят. Как и в Англии — Дрейку. Но этот джентльмен — это особ статья...

Своего рода вахтенный журнал, который вел во время похода спутник и восторженный поклонник знаменитого пирата и не менее прославленного мореплавателя сэра Френсиса Дрейка священник Флетчер, был увлекательнее любого романа и блистал весьма живописными подробностями:

«В пять часов мы подошли к каравелле вплотную. Три раза выстрелили из пушки и сбили ей мачту. Взойдя на борт, мы нашли большие богатства — жемчуг и драгоценные камни, тринадцать сундуков с монетами, сорок фунтов золота и много слитков серебра».

Святой отец, ослепленный блеском сатанинских богатств, лежащих в каютах и трюмах, не в силах был являться одновременно географом или биологом. Красоты природы его не волновали. Как заправский казначей, он считал:

«Убили двух испанцев, сожгли их дома и захватили две тысячи дукатов...»

«На берегу спал испанец. Наша шлюпка подошла незаметно. Рядом с испанцем лежало тринадцать слитков серебра. Мы взяли слитки...»

«Тут мы увидели на берегу мальчика, и испанца, и восемь лам, груженных серебром. Мы их убили, а серебро взяли».

«Город Арика. Здесь мы увидели две небольшие барки. Мы взяли их на абордаж. На каждой было по двадцать фунтов серебра».

«Брат адмирала Джон Дрейк первым увидел желанный галион. Он получил золотую цепь, а Френсис — 40 фунтов золота и 26 тонн серебра...»

Замполит излагал все это так, словно сам присутствовал при всех этих событиях, и можно было подумать, что судьба двух отчаянных братцев Дрейков ему далеко не безразлична.

5 февраля 1577 года со 164 человеками команды на пяти кораблях Дрейк покинул Лондон. Начало похода не было удачным, но, так или иначе, через пятьдесят четыре дня флотилия оказалась у берегов Бразилии. Потом — путь на юг. Здесь, у Огненной Земли, Дрейк подавил назревавший было бунт.

Кругосветка Дрейка заняла три года.

— У нас это выходит побыстрее.

Кто-то засмеялся.

На каких-нибудь «почти» три года.

— Но каким бы он ни был, ему не позавидуешь, когда он на парусных суденышках плыл этим проливом! — В боевой рубке разговор тоже шел о Дрейке.

— Знаешь, до этого похода география, я имею в виду географию всей планеты, для многих из нас была понятием несколько относительным. Подумаешь — пролив Дрейка! Где он, этот пролив Дрейка! В тридевятом царстве, в неведомом государстве. Карибское море? Боже мой, это что-то из «Хроники капитана Блада» или других «пиратских» романов. Где благородные джентльмены красиво убивали друг друга и отчаянные красавицы поджидали груженные золотом галионы. А на́ тебе — это море. Твоя вахта. Просто как дырка от бублика.

— Конечно, отчаянных красавиц тебе явно не хватает.

— Красавиц, не красавиц, а все же, признайся, все это гораздо прозаичнее, чем ты думал.

— Нашему Коле подавай абордажную схватку и Билли-Бонса с Острова сокровищ.

— Билли-Бонса не нужно, но вот приключение, так сказать на память, не мешало бы...

— Возьми у кока ножик, которым он мясо режет, и пробуравь в корпусе дырку. Имеешь все шансы совершить подвиг.

— Одна малость мешает.

— Какая?

— Дырку не пробуравишь. На столовый ножик сталь не рассчитана. Ножиков не хватит.

— А ты попробуй...

Все засмеялись. И снова резкий доклад смял улыбки:

— Справа по курсу айсберг!

— Вот тебе и приключение.

— Акустикам! Быть внимательнее!..

Черт его знает, какие размеры у этой ледяной горы. Айсберг перемещался, и неизвестно, куда понесут и как развернут его в следующее мгновение стремительные струи пролива.

— Левее! Еще левее! — На рулях работают сосредоточенно, словно слившись с автоматикой, ставши частицей ее. Легкий звон по левому борту. А это еще что?

— Айсберг проходит рядом.

— Точнее держать на курсе!

— Есть, точнее держать!

— Айсберг отстал. Впереди прямо по курсу ледяная гора.

— Право руля!

— Цель не меняет положения.

— Неподвижна?

— Так точно.

— Значит, или сцепило с другой льдиной либо...

— Либо там мель, Анатолий Иванович. Лучше обойти правее...

Люди на рулях взмокли.

— После такого проливчика поход в океане — легкая загородная прогулка.

— Не скажи. Но все же полегче. Не такая нервотрепка...

Сорокин решил заглянуть к Бурсевичу. Штурман только что сменился с вахты и должен был находиться в каюте.

Он действительно лежал на койке с объемистым фолиантом в руках и тут же вскочил при появлении адмирала.

— Что читаете, Александр Петрович?

— Жан Рандье. «Люди и корабли у мыса Горн».

— Интересно.— Сорокин взял в руки книгу.— Что-то не слыхал о такой.

— У нас в Союзе она не переводилась. Мне ее из Франции товарищ привез. Я и взял. Во-первых, о местах,

где мы идем. Во-вторых, чтобы язык не подзабыть... И знаете, оказывается, это огромная честь для моряка — обогнуть мыс Горн. Среди старых моряков есть даже нечто вроде товарищества «Обошедшие мыс Горн». Предисловие к книге Рандье написал Леон Готье. У него удивительный титул.

— Какой же? — заинтересовался адмирал.

— Дословно это звучит так.— Бурсевич заглянул в конец предисловия:—«Международная грот-мачта. Председатель Французской секции Общества капитанов дальнего плавания вокруг мыса Горн».— Александр Петрович рассмеялся.

— Придется попросить Леона Готье принять нас в секцию.

— Непременно.

— А как вы себя чувствуете, Александр Петрович,— неожиданно переменил тему Сорокин.— Замотались?

— Есть немного. Но знаете, если говорить честно, лучше такое, чем спокойная жизнь в базе. Я говорил с многими людьми. Наверное, я в этом не одинок. Большие дела окрыляют людей, как бы ни было им трудно. Я бы сказал, что и матросы, и старшины сейчас — как в полете.

— В полете? — удивленно переспросил Сорокин и улыбнулся.— Интересное сравнение, хотя и из терминологии летчиков... Но, вероятно, вы правы. Ни одной жалобы, ни одного хмурого лица. Порой мне кажется даже, что наши люди сейчас по-настоящему счастливы...

Не только у поэтов и художников бывают счастливые моменты вдохновения.

Видения далеких веков стояли в эти дни перед глазами всех — от адмирала до матроса. Они чувствовали, что это был их звездный час. Паруса бессмертных фрегатов Беллинсгаузена и Лазарева несли над ними свои крылья. Одобрительно смотрел с мостика веселый Крузенштерн. Кажется, рядом были Коцебу и Лисянский.

Представляя к награде командира шлюпа «Мирный» Михаила Петровича Лазарева, Беллинсгаузен писал морскому министру: «Во все время плавания нашего, при беспрерывных туманах, мрачности и снеге, среди льдов, шлюп «Мирный» всегда держался в соединении, чему по

сие время примера не было, чтобы суда, плавающие столь долговременно при подобных походах...»

Советские подводники показали, что они достойны мореходного искусства легендарных мореплавателей.

Где-то там, за чертой горизонта, в далекой Англии, бронзовый Дрейк смятенно следил за пенным следом их лодок и чопорные лорды Адмиралтейства на старинных воскового письма досках дивились невероятной «гистории, учиненной россиянами».

Оттиснутый в листах энциклопедий и справочников их еще не завершенный курс уже сейчас окутывался дымкой легенд, тревожащих сердца мальчишек на всех континентах планеты. И время, отсчитанное корабельными часами лодок, тут же, за каждой отлетавшей в вечность секундой, становилось не менее вдохновенной историей, чем громокипящая слава Магеллана или Дежнева.

5

Завтра ему стукнет сорок пять. Думал ли он когда-нибудь, что будет встречать юбилей на глубине в океане, да еще не где-нибудь, а на подходе к проливу Дрейка.

Сорокин лежал на спине. Над столиком, освещая край потрепанной лоции, мягко теплился матовый плафон. Полное ощущение, что ты ночью в купе скорого поезда. Только не слышно перестука колес на стыках, глухого громыхания пролетающих в темноте мостов и протяжно-густых перекличек составов. Да не пробежит цепочкой огней за окном дальняя деревушка или рабочий поселок.

Мягкий неуловимый гул проникал из-за стен каюты. Пение стремительных струй за бортом, приглушенный голос работающих механизмов, специфические шумы подводного корабля — все это уже давно стало привычным, и слух не реагировал на них, ставших обычной атмосферой, в которой встаешь, работаешь, спишь, думаешь.

Сорок пять... Это больше, чем половина жизни. А что он успел сделать?.. Как жил и чувствовал? Воспоминания, как кадры немого фильма, то появлялись, то исчезали, проваливаясь в темноту полузабытого, стертого временем.

Жил в Калуге мальчишка Толя Сорокин. В обычной семье. Не бедной и не богатой. Правда, отцу — железно-

дорожному служащему, порой было трудновато, семья в семь человек все же семья не маленькая. Бегал мальчишка в школу. Читал книжки. Случалось, огорчал мать.

Многие из нас просиживали в детстве ночи над стивенсоновской картой Острова сокровищ, мечтали разгадать тайны, ушедшие в пучину вместе с испанскими галионами «Черным принцем» и «Лузитанией». Он не был в этом смысле исключением.

Только другие становились к мартенам, уходили нехожеными тропами геологов, водили электровозы и воздушные лайнеры. А ему, если уж разобраться честно, повезло... Мечта детства стала профессией. Человек долго ищет свою звезду. Иногда всю жизнь и, случается, не находит. Счастлив тот, кто увидел ее. Пусть далекую, но ту, ради которой стоит жить.

Сорокин улыбнулся, вспомнив мать. Она-то была совершенно твердо уверена, что он будет или врачом или учителем. И спокойно смотрела, как он десять раз перечитывал «80 000 километров под водой» Жюля Верна.

Тогда он и заболел морем. Разве он в этом повинен? Кого мог оставить равнодушным образ гения моря, борца и ученого капитана Немо!..

И шагал он в школу по тем самым улицам, где когда-то с набитым рукописями и книгами портфелем ходил калужский учитель Константин Циолковский.

— Это правда, что Циолковский преподавал в нашей школе? — спросил он как-то учительницу.

— Да. И именно в эти годы он создал свои бессмертные труды «Аэростат металлический управляемый» и «Аэроплан или птицеподобная (авиационная) летательная машина»...

«И время — время было всему виной,— думал Сорокин,— какое незабываемое время было! Уходили в непостижимые выси стратонавты, Чкалов штурмовал небо, и расстояния на планете становились короче, Водопьянов и Мазурук пробивались сквозь полярные вьюги на выручку челюскинцев, Москва приветствовала седовцев, а Папанин с товарищами водрузил на полюсе алый флаг. Россия в опалубках строек, грохоте котлованов, зареве мартенов, изумляя мир невиданными темпами, подвигами и самоотречением, штурмовала будущее. Комсомолия 30-х годов! Яростно спорившая о стихах Маяковского и Блока, читающая Беллинсгаузена и Лазарева, бросав-

шая вызов полюсу и небесам, удивлявшая мир невиданными перелетами.

В такое время разве можно было вырасти равнодушным человеком?

А потом? Что было потом? В 1939 году он закончил десятилетку и, не говоря ничего отцу и матери, послал заявление в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Успешно сдал экзамены. Когда перешел на третий курс, началась война... Да, это было именно тогда».— Сорокин старался вспомнить, что он делал на второй день после начала войны, и не мог. Память подставляла иные картины. Ростов. Курсантская бригада морской пехоты принимает первый бой. Много ребят полегло тогда, так и не увидев большого моря и океана, о которых они мечтали... Потом судьба забросила его на Северный флот, где лейтенант Анатолий Сорокин в бригаде морской пехоты дрался под Мурманском... Ранение. Госпиталь на Урале, и снова — бой. На этот раз уже на Западном фронте. Одним из первых он, командир отдельной роты автоматчиков, ворвался тогда в Ельню.

В далеком далеке видел сейчас Сорокин молоденького лейтенанта. В чем-то наивного, где-то бесшабашного, а в общем, кажется, не так уж и плохого парня, раненного под Смоленском, прошедшего огонь и медные трубы. Может быть, поэтому ему и приказали тогда завершить высшее морское образование. В 1945 году он заканчивает Каспийское военно-морское училище и назначается на Тихоокеанский флот. Здесь он впервые вступил на борт подводной лодки, и это определило его судьбу. Менялись моря — Тихий океан, Балтика, Север, но вот уже более двадцати лет служит он на подводных лодках.

Вспомнилась фотография: молодой худощавый лейтенант на боевой рубке. За спиной полощется флаг и чуть проглядывают в тумане контуры Дворцового моста в Ленинграде... Лейтенант Анатолий Сорокин на военно-морском параде в городе Ленина. Первые послевоенные годы...

Сорокин встал, подошел к зеркалу.

Да, сильно он изменился. Годы не проходят бесследно. И глаза уж не те... «Стареем, брат, стареем,— грустно подумал адмирал,— а впрочем, встретить свои сорок пять в таком походе не так уж и плохо... Во всяком случае, будет что вспомнить».

В 12 часов командир вывел лодку на глубину 45 метров.

— Поздравляем мы! — Он пожал руку Сорокину.— А теперь вас хотят поздравить родные...

К изумлению адмирала, он вдруг услышал голос жены и детей.

С магнитофонной ленты раздалось: «Отец, я прочитаю тебе стихотворение Лермонтова «Бородино»...

Сердце екнуло, на лбу появилась испарина.

А Вовкин голос продолжал:

Ведь были схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!..

— Над нами Тихий океан, Анатолий Иванович,— командир развел руками,— так что в гастроном мы сбегать не могли... Но к вечеру что-нибудь попросим у Нептуна. Авось не откажет...

Кок принес торт.

Ритуал поздравлений именинников соблюдался на лодке неукоснительно, и Сорокин не был здесь исключением. Для него было сделано то, что делалось и для матроса, и для старшины, и для всех остальных членов команды.

В кают-компании пили чай.

— Сорок пять, конечно, еще не пятьдесят,— серьезно заметил вдруг Сорокин,— но радоваться, кажется, в таких случаях нечему...

Он поймал изучающий взгляд командира лодки. Интересно, что он, которому едва за тридцать, думает о нем. Стареет, мол, адмирал. Последние годочки на море. А там — в штабы, подальше от штормовых широт... Тем, кому перевалило за сорок, трудно на лодках... Как ни делай их комфортабельней, месяцы и месяцы под водой без всплытия дают себя знать. Нет, это совсем не санаторий — подводный флот.

— Товарищ адмирал.— Ковалев сказал совсем не то, о чем думал Сорокин.— Мне вот тоже недавно очередной стукнул... Я все думаю, почему люди отмечают дни своего рождения? В молодости это еще понятно. Каждому хочется быть взрослым. А зрелые люди? Ведь каждый день рождения — еще один шаг к концу. А обычно человек

всю жизнь чего-то ждет, строит планы, надеется. Все кажется ему, что настоящее счастье впереди. А оглянешься — уже жизнь прожита. Вот вы могли о себе сказать в какой-то момент: я счастлив, я больше ничего не хочу?

Сорокин ответил не сразу.

— Кто его знает, Николай Петрович. Ты поставил вопрос почти, как Гете: «Остановись, мгновение, ты прекрасно...»

Был ли я счастлив? А что, если всерьез подумать,— был. Вот если взять, скажем, детство. Калугу. Вроде бы ох как нелегко жилось тогда нашей семье! А хорошее в общем получилось детство. Почему-то запомнилась мне весна. Город тонет в яблоневом цвету. И друзья у меня хорошие были. И время интересное. Святое время. И, несмотря на все трудное, сейчас бы меня спросили: хотел бы я иного детства? Нет, не хотел бы.

Юность вся — в трудах и заботах. Мечтал о море, шел к нему трудно, вначале неуверенно. Но все же шел. И потому, что не все гладко получалось, наверное, и морское счастье испытал полной мерой. Тем, что легко дается, не дорожишь. И опять подумаешь: нет, не надо мне иного пути.

И так перебираешь день за днем, год за годом — все-таки мы были счастливы, ребята моего поколения. Правда, досталась нам на долю война. Тяжелые четыре года, которым, казалось, не будет конца. Через страшное все мы тогда прошли. И я и в атаку ходил, и ранен был. А теперь, с сегодняшней вышки, словно иными глазами на все это смотришь. У человека, видимо, странным образом устроена память: надолго запоминается хорошо лишь то, когда тебе было неимоверно тяжело, а ты все-таки всем чертям назло выдюжил. Вроде бы как потягался силами с судьбой, самого себя проверил на прочность. И удовлетворение от такой победы — это, наверное, и есть счастье...

6

Николай Прокопович не предполагал, что это произойдет именно сегодня, и поэтому, сменившись с вахты и позавтракав, решил час-другой посмотреть учебники. Все равно жизнь суматошна, и свободного времени в ней не

выкроишь. «Завтра» и «послезавтра» оказываются такими же занятыми, как сегодня и вчера, а институт кончать нужно, и здесь никто, кроме самого себя, не поможет.

— Грызем гранит?..— участливо осведомился боцман.— Поспал бы немного. После такой вахты какие формулы в голову полезут!

— Грызем, брат. А куда денешься? Завтра ведь вахта легче не будет.

— Оно, конечно, так... Только тяжело это.

— Тяжело,— охотно согласился Николай, с завистью посматривая на Лешку Васильева, уже уютно посапывающего на койке. «Спит. И я бы мог спать... К черту!.. Нужно стараться об этом не думать. Иначе действительно заснешь».

Он решительно разложил конспекты, открыл блокнот, вынул авторучку. И незаметно для самого себя — задремал.

Сколько это продолжалось, он не помнил, только очнулся, когда кто-то тормошил его за плечо.

— Прокопович! Браток, проснись! Да проснись ты, окаянный!

Он увидел над собой улыбающееся лицо замполита.

— Хорош, нечего сказать. Его в партию принимать собрались. Коммунисты сидят ждут, а он, нá тебе, дрыхнет! Совесть у тебя есть?

— Разве сегодня?!

— Сегодня, друже, сейчас. Завтра кое-что другое наметили. Решил сегодня бюро собрать. Двигаем.

— Я сейчас! — Он машинально быстрым движением оправил форменку, провел расческой по волосам. Сгреб тетради и сунул под одеяло...

У кают-компании замполит остановился.

— Подожди. В ином месте я сказал бы тебе: покури. Но сам знаешь,— он развел руками,— здесь курить не положено... Так что займись самосозерцанием, что ли. Сейчас тебе это полезно.

Минуты через три его вызвали.

За длинным столиком офицерской кают-компании с большими рефлекторами под потолком (в случае надобности она могла быть мгновенно превращена в операционную) сидели члены партийного бюро.

— Садись,— предложили Николаю.

— В нашу парторганизацию,— привычно начал секретарь, как будто дело происходит в обычном парткоме на берегу, а не на глубинах океана,— в нашу парторганизацию поступило заявление о приеме кандидатом в члены партии от старшины 1-й статьи Николая Александровича Прокоповича. Рекомендующие отзываются о нем как об отличном товарище и хорошем специалисте.

Какие будут мнения и вопросы?

— Расскажи биографию.

— Родился и жил на Смоленщине. В семье фронтовика.

— Земляк Гагарина, значит...

— Выходит, да...

— Не перебивай, пусть рассказывает.

— Учился в школе. Одновременно работал в колхозе. Механизатором.

— Кем?

— Приходилось и на комбайне, и на тракторе.

— Как налажена учеба в команде?

— Все учатся.

— Обеспечили ли вы безаварийное действие механизмов за весь период плавания.

— Пока никаких ЧП не было...

— Да что ты его не знаешь, что ли!

— Знаю не знаю, а он сегодня в партию вступает. Понимать надо!

— А он что, не понимает!!

— Все ясно!

— Голосуй, секретарь!

— Кто за?

Против?

Воздержался?

Единогласно!..

— Спасибо, друзья! Я этого никогда не забуду...

Заместитель командира капитан 2 ранга Усенко пожал Николаю руку:

— Поздравляю, старшина!.. А день этот на всю жизнь должен запомнить. Не каждому такое дано: на атомном корабле, на глубине, на экваторе, в кругосветном походе... Много ли ребят в Союзе могут сказать, что их вот так, как тебя здесь, приняли в партию!..

И, весело глянув на смутившегося старшину, добавил:

— А вообще правильно поступил, старшина. Это ста-

ло хорошей традицией — идти в партию в самые трудные для тебя и твоих товарищей минуты... Значит, все взвешено крепко... Так и держи!

Он не знал еще тогда, что поедет в Москву делегатом пятнадцатого Всесоюзного съезда комсомола, что увидит замечательных людей, что ему друзья поручат передать съезду боевой флаг атомохода, обошедший с ними вокруг света.

— Есть...

— Пеленг двести двадцать семь... Неизвестная атомная подводная лодка.

— Боевая тревога! Ход самый малый! Усилить наблюдение!

Напряженно застыли на своих постах подводники.

— Докладывать пеленг, рассчитать дистанцию до цели!

Минуты тянулись медленно, томительно.

— Товарищ командир, пеленг на неизвестную лодку идет на корму!

— Ну и отлично. Продолжать наблюдение в режиме ШП! Средний ход!

А на другой лодке командир ее сидел в матросском кубрике.

Говорили о походе, и вообще «за жизнь».

— Товарищ командир, вот получит, скажем, корабль звание гвардейского. А люди-то остаются те же...

— Не скажите... Помните песню? Родилась она в годы Отечественной войны: «Морская гвардия идет уверенно».

— «Любой опасности глядит она в глаза»,— подхватил кто-то.

— Верно. Так вот это — не пустые слова. В среду гвардейцев попал я лет пятнадцать назад.

Назначили меня тогда командиром торпедной группы на знаменитую «С-56». Гордился я этим, а втайне побаивался: справлюсь ли. Служить на «С-56»! Почет-то какой! Десять гитлеровских кораблей потопила во время войны эта лодка!

Решил я однажды провести тренировку по заделке пробоины. Подал команду. Старшина продублировал ее. Смотрю, матросы действуют правильно, но как-то вяло.

Перехватил один-два брошенных на меня недоуменных взгляда.

Думаю, в чем дело? Где я сплоховал?

Подошел тут старшина ко мне и говорит:

— Это для нас, товарищ лейтенант, давно пройденный этап. Позвольте, я продолжу учение?

— Действуйте!

— Погасить свет!

Погас свет. В отсеке — тьма кромешная. Только слышу короткие команды да стук инструмента.

Думаю, уж не разыгрывают ли меня?

— Включить свет!

Стало светло. После темноты даже зарезало в глазах.

Оглядываюсь. Матросы стоят на своих местах.

— Товарищ командир! Учение проведено, пробоина заделана!

— В темноте?

— Так точно!

Проверил. Действительно все сделано отлично.

А я их учить собирался, думаю, самому надо учиться...

«Как встретить Нептуна?» — спрашивала стенгазета. В помещенных рядом предложениях недостатка не было:

«Поставить шампанское в холодильник, так как Нептун любит — со льда»; «Заварить крем для тортов»; «Провести политбеседу: «Нептун и его влияние на гирокомпас»; «Подобрать свиту Нептуну. Найти подходящую русалку»; «В целях пропаганды передового опыта показать Нептуну кинофильм «Старик Хоттабыч»; «Предупредить некоторых военных, чтоб шашни с русалкой не заводили».

Точно в момент пересечения экватора из центрального поста появились два тритона, затем владыка морей Нептун и русалка... Новичков, ранее не пересекавших экватор, ждала купель.

Всем были вручены памятные дипломы: «Я, Нептун, властелин всех морей и океанов, повелитель рыб больших и малых, награждаю тебя дипломом за переход экватора под водой на атомном ракетоносце за то, что приумножил ты славу флота советского».

Оказалось, что Нептун был знаком и со стихосложением. Во врученных им грамотах говорилось:

Достойному потомку мореходов,
Прославивших в веках российский флот,
Тебе, тебе, моряк с атомохода,
Владыка моря поздравленья шлет.
Запомни знаменательную дату:
Сегодня ты перешагнул экватор!
И хоть твоя дорога нелегка,
За труд — награда: званье моряка!..

Нептуном был инженер. Тритонами — офицеры. Русалкой — трюмный матрос.

7

Грусть точно знает свои часы. Она приходит после вахты, когда руки и мозг освобождаются от привычного, поглощающего все внимание человека ритма, напряженность спадает, чувства и нервы расковываются.

Воспоминания и раздумья берут свое, и естественному желанию человека, его потребности отключения от работы, смены впечатлений и лиц, прогулки с девчонкой по заснеженной вечерней улице или просто нехитрой вечеринке с друзьями противостоит одно равнодушно-непреодолимое слово «невозможно».

Невозможно, потому что весь мир подводника ограничен стальными стенами отсеков.

Невозможно, потому что и позади и впереди — еще долгие дни похода.

На людей, ради эксперимента заключавших себя в сурдокамеру на такой же срок, смотрят как на героев. Для них, подводников, это такие же будни, как для какого-нибудь инженера с «Электросилы» ежедневная поездка в метро до работы.

Психологический пресс, давящий на сознание, здесь неизмерим. Пружина может согнуться, если она не закалена. Если весь нравственный комплекс людей не подготовлен к таким перегрузкам и не найдено средство снимать накапливающуюся ото дня к дню смятенность души.

Рецептов здесь не существует, и каждый как-то естественно и заметно приходит к чему-то своему. У Витьки Малышева этим, по его словам, «клапаном, стравливающим пар», была гитара. С исцарапанными боками и порыжевшим от времени лаком на некогда черной полировке.

Витька подтрунивал над собой, зачитывая ребятам вслух выдержки из свирепых статей, где инструмент сей, доказывающий легкомыслие некоторых юнцов, только на этом серьезнейшем основании предавался анафеме. В защиту гитары Витька, сколько ни искал, пока ничего не нашел. Если не считать авторитетного мнения Клавдии Шульженко, намекавшей, что, может быть, «сам Ойстрах поет под гитару тайком».

Гитарные баталии, признаться, мало трогали и самого Витьку и ребят его отсека. Нехитрый инструмент, прошедший с ними великое множество морей и океанов, извлекался из рундука, и в отсеке становилось тихо-тихо. Так, что даже был слышен плеск водяных струй за бортом.

— Витька, давай ту, про Оскара Кричака.

— Что, опять захандрил?

— Захандрить не захандрил, а провентилироваться надо.

— Я тебе не вентилятор...— Витька ворчал для приличия. Какой же уважающий себя музыкант так вот, сразу, не поломавшись немного для виду, ударит по струнам!

— Ладно, споем!

Он пробовал струны, и они отвечали ему тонкими и басовитыми нотами, звучащими здесь, отраженными от стальных стен, особенно отчетливо и резко. Витька брал на тон ниже — песня требовала сосредоточенности — и хрипловато-простуженным голосом начинал:

Отплываю завтра я.
Что ж, не первый случай.
Ты, хорошая моя,
Зря себя не мучай.

Я вблизи тебя люблю,
А вдали тем паче.
На прощанье кораблю
Пожелай удачи.

Там повсюду снег да лед,
Голый камень серый.
Экспедиция идет
Далеко на север...

Ребята тихо подхватывали, стараясь не спутать гитарный ритм, не разрушить настроение песни:

Все мне будет по плечу,
Так или иначе
Сделать много я хочу.
Пожелай удачи.
Свет звезды в вышине.
Ветер. Ветки гнутся.
Предстоит уехать мне,
Предстоит вернуться.

Предстоит еще решить
Разные задачи.
Предстоит на свете жить.
Пожелай удачи!..

— А знаете,— сказал неожиданно Витька, отложив гитару в сторону,— песня эта тоже имеет самое прямое отношение к нашему походу.

— Как так?

— А вот так. Помните, к нам на лодку приезжал журналист Анатолий Сергеев?

— Да.

— Во время отпуска я был у него в Москве дома. А туда зашел по каким-то делам Константин Ваншенкин. Это он написал слова песни. И я завел речь об этом. Сказал, что песню на лодке любят.

— А он?..

— Подожди, не перебивай. Дай человеку рассказать все толком.

— Короче, от Ваншенкина я и узнал историю песни... Стихи эти он написал в 1959 году. Потом родилась музыка. И надо было такому случиться: услышал эту песню по радио идущий на судне к берегам Антарктики полярник Оскар Кричак. И послал поздравительную телеграмму Константину Ваншенкину.

«Я как-то не ответил сразу,— рассказывал Ваншенкин.— Ждал конца экспедиции. Думал, приедет Оскар в Москву, встретимся, хорошо поговорим».

Но свидеться не пришлось. Случилась беда, в жесточайшей схватке с разбушевавшейся стихией погиб в Антарктике, выполняя свой долг, Оскар Кричак.

А любимая им песня осталась.

Ее поют его друзья — полярники, назвавшие именем Оскара один из уголков далекой скованной льдом земли.

А вот во всех сборниках стихов Константина Ваншенкина под текстом песни «Пожелай удачи!» стоит ныне

посвящение: «Памяти Оскара Кричака». Поэтический памятник русскому землепроходцу...

Ребята, потрясенные, молчали.

— ...А здорово, братцы, что такие люди, как Кричак, на земле живут,— заметил торпедист.— Теплее на душе делается, когда их встречаешь... Давай, Витька, в их честь — нашу североморскую!

— Можно.— Виктор снова взял гитару, и струны запели отрывисто и тревожно.— Начали!.. Только ты, Володька, не забегай вперед. Здесь ритм медленный...

И снова тревожные метеосводки
Предчувствуют ветров полет.
Обросшие льдами подводные лодки
Уходят под паковый лед.

Под звездами где-то пилоты летят,
Локаторный верен дозор.
Стальными глазами ракеты глядят
За черный от бурь горизонт...

Песня звучала еле слышно, но разве обязательно, чтобы ее слышали все?! Песня — она рождается множество раз, и важно прикосновение к ее дыханию, сопричастность с ее раздумьем, а совсем не те парадные возможности, с которыми она выходит на эстраду.

8

Лодки швартуются у пирса...

— Земля!

Это слово будет всегда долгожданным для моряка, пока существуют корабли и несет свои бесконечные волны море.

— Земля!

Они мечтают о встрече с ней, как с любимой, хотя знают, что через месяц-другой их снова потянет в океан и по ночам к ним будут приходить в гости далекие звезды.

Лодки швартуются у пирса.

— Вы не измените мне? — спрашивает бесконечная даль гудками идущих у горизонта судов.

Но разве можно изменить морю!

Прекрасному, как легенда, и, как легенда, бессмертному!..

А в притихшем зале Дворца съездов на заседании XXIII съезда партии Министр обороны СССР маршал Малиновский неожиданно сделал в своей речи паузу и, улыбнувшись, заявил:

— Несколько дней назад успешно закончен кругосветный поход группы атомных подводных лодок в подводном положении...

Зал взорвался аплодисментами. Съезд аплодировал Магелланам подводной орбиты.

Глава XI

АТАКУЕТ «ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ»

1

Случилось то, что они менее всего ожидали и никак не предвидели. Однородный шум работающих винтов вдруг «раздвоился» в наушниках гидроакустиков. Теперь совершенно явственно прослушивались шумы и с левого и с правого борта.

Доложивший Соколову об этом лейтенант предположил:

— Либо они разделились, либо, что маловероятно, мы проморгали момент, когда к отряду подошли другие корабли.

— Этого еще только не хватало!

Команды выполнялись стремительно, но, когда Соколов прильнул к окуляру, прямо по курсу никого не было.

Повернув рукоятку, он сразу увидел на горизонте отряд кораблей.

«А где же крейсеры?»

Только развернув перископ на девяносто градусов, он поймал быстро уменьшающиеся силуэты кораблей. Крейсеры уходили на юг.

Именно в эту минуту, пожалуй впервые за всю флотскую жизнь, он почувствовал, что нервы у него сдают. На короткое время он ощутил даже нечто вроде растерянности.

Задача казалась неразрешимой. Одна лодка не может следовать одновременно за двумя группами кораблей. Тем более идущими прямо противоположными курсами. Но он не имеет права упустить ни те, ни эти корабли.

Решение нужно было принимать мгновенно. Но какое?

«Спокойнее, Николай! Спокойнее! — уговаривал он сам себя.— Спокойнее. Иначе ты ничего не решишь».

Может быть, пойти за первым отрядом, он главная ударная сила «противника». Но тогда уйдут крейсеры.

— Штурман! Карту!

Он прикинул расстояние и время. Пожалуй, можно успеть.

— Убрать перископ! Право руля! Полный вперед! Самый полный!

Акустики слышали, как шелест могучих винтов субмарины перешел в рев. Но и те, кого не информировали сверхчувствительные гидроакустические системы, почувствовали, как стала стремительно нарастать скорость лодки. Корпус ее дрожал.

«Главное, не обнаружить себя, проверить, каким курсом в действительности пойдет отряд. А тогда можно и к крейсерам».— Мысль Соколова стала работать как бы механически. Наверное, с человеком всегда бывает так: спокойствие приходит, когда принято решение.

Через полчаса он поднялся на перископную глубину. Это удача! Может быть, даже везение: отряд поворачивал. Не пойди сразу за ними — ищи потом. Ведь он разыскивал бы их по ложному следу. И сколько бы ушло на это времени!

Но спешить нельзя. Нужно все проверить. Истинный это курс? А может, снова маневр? Сейчас надо отойти в сторону. Чтобы не засекли гидроакустики на кораблях сопровождения.

— Малый... Лево руля...

Они описали огромную дугу, прежде чем оказались снова у отряда,— теперь уже почти по их курсу.

Перископ подняли лишь на мгновение. Есть! В опустившихся на море сумерках брезжили силуэты кораблей. Идут прежним курсом.

Теперь только бы успеть к крейсерам. Не потерялись ли они?

Соколов пропустил корабли отряда, а когда акустики донесли, что контакт с кораблями потерян, увеличил ход до полного.

Определив по карте предполагаемую точку встречи, они пошли кратчайшим путем, и, пожалуй, здесь впервые Соколов ощутил, какое волшебное существо дали моря-

кам в руки конструкторы. Все, что сейчас происходило, было немыслимо ни на одной старой лодке. Как летящая стрела, лодка прошивала океан со скоростью курьерского поезда. Если его, Соколова, расчеты были правильны, встреча неминуемо близилась.

— Кажется, пора! — Караваев посмотрел на хронометр.— Пора!

— Попробуем! — Соколов отрывисто скомандовал: — Стоп! Подвсплыть под перископ!

Вначале Соколов ничего не мог разобрать. Море штормило, а густая мгла окутывала все вокруг.

— Справа шум винтов!

Разворот перископа — и в окуляре чуть заметно мигнули далекие топовые огни.

Теперь уже можно было различить темные силуэты крейсеров. Значит, его, вернее, не его, а потенциального стороннего наблюдателя действительно обманывали. Отряд разделился, чтобы сбить с толку возможных преследователей.

Теперь можно было уже и не торопиться. Охотник раньше дичи окажется на тропе.

«А вдруг они снова изменят курс? Нет, не должны. Для обманного маневра такие эволюции в пол-океана — непозволительная роскошь. Значит, можно докладывать? Пожалуй, можно».

Через полчаса Соколов вышел в эфир...

2

Из дневника офицера Н-ской атомной подводной лодки Василия Усова

«...Сегодня уже ...ые сутки плавания. Осталась какая-нибудь неделя, и я увижу солнце. Пока над головой громадная толща воды. Когда на нее смотришь сверху, не можешь ощутить всей тяжести. Когда под водой и очень долго, она и впрямь давит, как чугун.

В такие дни появляется томящее чувство ожидания берега. Нет, оно, конечно, было всегда, не успели еще уйти на глубину. Но сейчас это чувство острее. Я почему-то вижу удивленные Сережкины глаза: «Па-па! Ты больше никогда не уйдешь в свое море. Мы с мамой так решили...» С мамой лучше об этом не говори... Единственную здоровую мысль, какую я могу высказать в этом

неравном споре, так это то, что готов забрать их на лодку. Оля, конечно, уже не реагирует на мои шутки. А Сергей удивленно посмотрит: «Правда, папа?» Потом мы с ним будем долго бродить «куда хочется». И хотя Серега уже многое понимает, все не возьмет в толк, почему я с таким диким восторгом катаюсь по зеленой траве, рву цветы...

Подводник не может видеть глубинные водоросли, кораллы, рыбищ... Я успею еще рассказать Сереге, что не за этим мы ходим на глубины. И хоть наша лодка не ощущает запаха водорослей, не различает цвета, она способна на другое, более важное. Есть у нее чуткие «уши» — это акустическая станция, есть всевидящие «глаза» — это локатор, есть «сердце» — это атомный реактор... И мы можем уловить каждый шорох на глубине, увидеть любой корабль на отдалении... Но главное — мы можем долго, сколько потребуется, пробыть под водой, выйти в любую точку Мирового океана... Нашу лодку сделали люди. Много людей старалось, чтобы нам легко дышалось, чтобы у лодки был хороший ход, верный глаз. Я даже как-то попытался подсчитать, сколько же специалистов принимало участие в создании лодки, получилась весьма внушительная цифра... И весь их труд сводится к одному: охранять тишину. И для моего Сергея тоже.

Когда лодка пересекает экватор, сам Нептун повелевает: «Отныне и во веки веков на всех морях и океанах, на всех широтах и меридианах, на всех глубинах оказывать моряку гостеприимство и всяческие почести». Я смотрю на нептуновские грамоты — много их у меня, а вот гостеприимство океана не всегда чувствуешь...

Представляю, как перезванивает замерзший ивняк над речкой. Женщины у проруби — у нас ее тоже называли полыньей — полощут белье. У них красные от холодной воды руки... Вот, пожалуй, и все ассоциации, какие у меня остались от домашнего слова «полынья».

Зато сейчас, через много лет, я по-другому его воспринимаю. Потому что для каждого подводника полынья — это кусочек чрезвычайно важного жизненного пространства, не только полоска чистой воды. Ведь лодка идет подо льдом, под многометровым панцирем пакового льда. И если в обычных условиях в случае необходи-

мости можно всплыть, то попробуй сделать это здесь, в Арктике. Не всегда полынья может оказаться над головой или тех размеров, что надо... И поэтому любой командир, ведущий лодку в таких условиях, обязательно нанесет на карту замеченную полынью — так, на всякий случай...

Сегодня мы отрабатывали всплытие.

— Вроде ничего «окошко»,— сказал командир, словно успокаивая самого себя.

А я знаю, какая точность при этом необходима и какое самообладание. Всплываем вертикально, малейшее отклонение — и кажется, услышишь скрежет металла и льда со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вахтенный инженер-механик, следящий за системой, управляющей плавучестью,— «на товсь». Он сейчас, кажется, потерял слух — спроси что-нибудь, не ответит, глазами впился в приборы...

Американский подводник Калверт описывал такой случай. Лодка вышла в полынью, и команде захотелось запечатлеть на кинопленку всплытие. Оставили на «берегу» операторов и снова ушли под воду. Расчетное время кончилось, а лодка не показывалась. Одним было уже не до съемок, и другим, конечно, не до того, чтобы позировать перед объективом. Течение отнесло лодку от полыньи...

Мы в тот раз решили не позировать. «Окошко» и в самом деле оказалось подходящим. Отдраили рубочный люк, в отсеки рванулся бодрящий арктический воздух...

Уже рукой подать до причала. Уже все «заголубели» — наступает такое чувство, когда до боли хочется стать на твердую землю. Моряку земля нужна, как Антею. И я не верю тем, кто говорит, что без моря жить не может. Эта красивость сомнительна. Больше поверю тем, кто клянет море, ругает его на чем свет стоит, а поживет на берегу, и его тянет на пирс... Что это? Пусть разбираются психологи...»

3

Она входила в бухту, поседевшая от морской соли, стремительная в могучих обводах своих, с гордым, поющим на ветру флагом. И хотя над черной водой не полыхнуло, как это было в Отечественную, пламя орудий-

ного залпа — тогда подводники так сообщали берегу о своих победах — на пирсе ждали ее напряженно и радостно. Потому что, хотя и шла она долгими днями в глубинах, встречающие знали, какой это был поход и что, по выражению адмирала, сумела «натворить» в море эта субмарина.

Впрочем, говорилось все это с гордостью, и чувствовалось, что от нее, крылато нареченной когда-то «Ленинским комсомолом», и не ждали иного. Потому что уже как-то привыкли, что люди ее достойно выходили из таких немыслимых ситуаций, которые не только в понятии военных, но и по самым что ни на есть объективнейшим причинам казались безвыходными...

А «натворить» в океане «Ленинский комсомол» действительно успел многое... Сейчас все это, как и итоги учения «Север» в целом, будет анализироваться и изучаться в штабе. В обстановке относительно спокойной и можно сказать «кабинетной».

А тогда — всего считанные часы отделяли людей лодки от недавно пережитого,— тогда все было иначе...

Приказ адмирала гласил:

— В Северной Атлантике действует отряд кораблей «западных». Найти и уничтожить!..

Приказ есть приказ. Но не всегда легко его выполнить. Легко сказать «уничтожить», когда корабли идут в окружении многочисленного эскорта противолодочных кораблей...

— Контакт с «западными» установлен,— доклад гидроакустиков как сигнал: на размышления больше нет времени. Нужно действовать. Но ведь «западные» тоже, наверное, лодку прослушивают.

Значит, нужно идти на сложный обманный маневр.

Дрожит корпус корабля, стремительно распарывающего глубину. И вот наконец:

— Атака!..

Сказать, что командир мастерски вывел «Ленинский комсомол» на дистанцию торпедного удара,— значит почти ничего не сказать. Ибо в эту абстрактную формулу не вместишь ни горящих глаз боцмана, ни взволнованного напряжения электриков, ни того первого ожидания, которое приковало торпедистов к приборам.

Команда и сама лодка стали в эти мгновения одним

живым организмом — стремительным, нервно-напряженным. Так, наверное, сливаются истребитель и машина, идущие на таран.

И когда грозно вздрогнуло могучее тело корабля — самонаводящиеся торпеды вышли навстречу цели,— напряжение не спало. Наоборот, секунды растянулись в часы, а минуты — в вечность.

И лишь после известия, что атака проведена отлично, люди улыбнулись. И боцман вытер пот со лба, и не без гордости подмигнули друг другу торпедисты: мол, знай наших...

Кажется, все.

Но почему нет отбоя тревоги?

Люди недоуменно переглядывались.

В тревожной тишине как-то особенно резко прозвенел голос динамиков:

— Получено срочное сообщение. Идем на поиск подводного ракетоносца «противника».

Дело принимало более серьезный оборот.

Подводный атомоход все же имеет многие преимущества перед самыми мощными надводными кораблями.

Здесь предстояла встреча на равных. Кто кого?

К тому же, судя по всему, атомоход «западных» вовсе не собирался обнаруживать себя. Вероятно, у него была другая цель: скрытно выйти на позицию и нанести внезапный ракетный удар.

В эти минуты главные люди на корабле — акустики. Кажется, они обратились в слух, боясь пропустить малейший шорох тревожного моря.

Идут минуты, напряженные, как сжатая пружина бойка перед ударом.

Одна, десять, сорок минут, сто...

И кажется, с облегчением молодой матрос, почти шепотом, словно боясь ошибиться, доложил:

— Справа по борту — шумы подводной лодки...

Своих здесь быть не может. Значит, это ракетоносец «западных».

Лодка противника прямо по курсу.

Нет, сейчас атаковать нельзя: надо выйти на выгодную позицию.

Вот теперь, кажется, в самый раз.

— Залп!..

И уже потом, на берегу, при подробном анализе уче-

ний «Север» моряки услышали авторитетную оценку: «Будь это настоящий бой, не условный «противник», а вражеский корабль, экипаж уничтожил бы его...»

Днем проходило совещание командования.

— Город наш разросся,— начал Сорокин.— Он заимел улицы. У них нет названий. Так не годится... Какие будут предложения для местного совета?

Бевз задумался, развел руками.

— Город флотский. И было бы неплохо, чтобы здесь были имена Нахимова, Лазарева, Ушакова.

— Я не против Ушакова. Но стоит ли так далеко ходить? Город молодой. Но у него уже есть свои герои. Кто же увековечит их память, как не мы сами.

И сразу у нескольких человек почти одновременно мелькнуло: Корчилов.

— Вероятно, мы думаем об одном и том же человеке — лейтенанте Борисе Корчилове.

— Есть еще предложение.

— Давайте.

— Одну из улиц нужно обязательно назвать именем корабля. Одного из первых.

— «Ленинского комсомола»?

— Да...

— Других мнений нет?

Единодушие было полным.

Вечером убывающая белая ночь расцветила океан и сопки воистину удивительными красками: черная прибрежная вода переходила, приближаясь к горизонту, вначале в золото, а потом в туманную лазурь. Акварельно-оранжевое небо, казалось, дымилось, и первые синие тени от красных скал — первые признаки, что солнце уже клонится к горизонту и кончается полярное лето,— легли на белый ягель.

Сергеев поднялся на сопку, откуда открывалась пронзительно сверкающая даль и темная полоска наплывающей с севера свинцовой хмари.

Примерно через час из-за мыса показалась длинная черная сигара, стремительно разваливающая волну. Описав полукруг, она прямо на глазах стала быстро умень-

шаться в размерах. Вот уже тугие пенящиеся струи коснулись рубки, потом и она пропала. Только блеснули на мгновение линзы перископа и белая полоска на поверхности воды исчезла совсем.

Атомная ушла в глубину.

Солнце слепило глаза, и Сергеев не рассмотрел бортового номера. Может быть, это был «Ленинский комсомол», а может быть, его могучий собрат.

Ребята, стоящие сейчас там, в глубине, у приборов, подумал Анатолий, увидят через несколько дней сверкающую оправу ледяных полей полюса. Или, быть может, мерцающее в темном тропическом небе золото Южного Креста...

Глава XII

ГДЕ-ТО В ДАЛЬНЕЙ АТЛАНТИКЕ...

1

Последний раз Анатолий сбежал в Долину осенью.

Бывают вещи трудно объяснимые, и вряд ли он толком растолковал жене, зачем ему это нужно. Просто, проснувшись однажды утром, он вдруг понял, что не когда-нибудь, а вот сейчас, сегодня, он должен побывать у Черной скалы, постоять у Сапожка, пройти склонами 414-й высоты. Он поймал себя на том, что это уже род острой, необратимой ностальгии.

Пробормотав нечто невразумительное о важном совещании, которое открывается на Севере, он бросился за билетом. Как всегда в таких случаях, достать его оказалось делом невозможным, но в нем уже проснулось злое упрямство, и он знал, что все равно улетит.

Начальник аэропорта был занят, и это, вероятно, Анатолию и помогло. Не уразумев, в чем дело, начальник коротко бросил секретарше: «Товарищу нужно помочь. Дайте из брони».

Так он оказался в самолете.

Дополнительный рейс шел вне графика, и к Кольскому полуострову самолет добрался уже около двадцати часов.

Наверное, природа решила отблагодарить Анатолия за дневные мытарства. Заходящее солнце розовыми потоками пробивало облака. Алые полосы дрожали в черной воде бесчисленных озер. Желтое зарево чистейших акварельных тонов отбивалось от небосвода с дрожащими звездами.

Подробности на земле скрыла сгущающаяся темнота, и весь необъятный, широко просматриваемый на все четыре стороны света мир казался бездонным и первозданным: ничто живое не привносило суеты в застывший хаос сопок, схожих с кратерами вулканов, в хрустальную твердь неба, в ликующее братство смягченных, приглушенных красок.

Когда машина, встретившая Сергеева, отвалила с бетонки и пошла, выхватывая фарами синюю ленту дороги, между сопок — они стали уже таинственно-черными. Над озерами у берегов курился туман. Только здесь, на земле, было видно, как в бездонной глубине вод холодно мерцали далекие белые звезды. И словно язык марсиан — перемигивающиеся ратьерами скалы над океаном.

Поселили Сергеева на плавбазе, борта которой стонали от упругих порывов ветра. В иллюминатор отчетливо просматривались черные силуэты атомных на непогасшей бледной полосе у горизонта.

Поняв, что уснуть все равно не удастся, он вышел на палубу, пристроился у влажной шлюпбалки.

Люди поднимаются встречать рассвет в горах. Люди безнадежно обокрали себя, если не видели рассвет на море. На Севере он не дает бархатисто-яркой гаммы южных восходов. Здесь все подернуто прозрачной дымкой, смутностью, отчетливой глубиной. Солнце вначале видится туманным бликом, а потому океан нежен, таинствен, раздумчив.

Литой голос склянок доносится с полубака, сменяются вахтенные на атомных. Лодки уже не черные, влитые в воду глыбы. Сталь светлеет, принимает оттенки и полутона моря, солнечные блики воды.

Мир входит в новый день, рождается заново из ночных рос и туманов, из дрожи неясного марева у кромки видимого, из шороха затихшего ветра, из постоянно меняющих сочетания и цвет бликов прибоя, из негромкого гула волны.

Утром вместе с Володей Заборским его катером доставили в бухту.

Володя спрыгнул в расщелину первым. За ним Сергеев.

Лучи солнца не проникали в глухую расщелину, и здесь еще сохранился снег, хотя березка над ними горела веселым зеленым огнем и стрелы буйной травы свисали с края обрыва.

В сумраке они разглядели ржавую каску, разбитую винтовку, уходящую ложем под снег, и зеленую россыпь патронов.

— Долина смерти! — глухо сказал Володя.— Сколько лет прошло, а она все оправдывает свое название...

Они шли через гигантский мертвый лес. Узловатые, перевившиеся северные березы, которые, казалось, стихийная сила не могла выдрать из расщелин скал и камней, причудливым переплетением корней разметали безжизненные стволы по склонам сопки. Обожженные, иссеченные тысячами осколков березки лианами обвивала колючая проволока и разноцветные провода полевой связи.

Словно бой отгремел только вчера: грозно застыли выдвинутые на прямую наводку пушки. Рядом с пулеметами — горы отстрелянных лент. Винтовки остриями штыков, как стрелкой компаса, указывающие на вершину сопки. Каски со свастикой.

У высеченных в скалах укреплений, напоминающих развалины огромного города, подняли с камней кусок полуистлевшей окровавленной тельняшки. Видно, не дошел браток какие-то метры, чтобы схватиться в рукопашной.

Нежаркое полярное солнце бьет с высоты, и им трудно было поверить, что сейчас август 1969 года, что беспощадное время где-то отступило от своих правил, оставив до сего дня нетронутой одну из самых эпических страничек давно отгремевшей войны...

Гитлеровцы не сомневались в успехе. Был даже назначен день парада в поверженном Мурманске, а в обозе наступающих егерей тащились назначенные заранее комендатура города и персонал увеселительных заведений.

14-я армия стояла насмерть. А флот был с армией. Военный совет Северного флота прямо сказал тогда:

— Мурманск в смертельной опасности. Флот умрет, но врага в город не пустит...

С кораблей в морскую пехоту направляли лучших. Первый морской отряд принял на себя самый жестокий удар. И выстоял.

Сергеев жил тогда в Мурманске, мертвом, сожженном городе. Порт и верфи работали, а улицы казались кошмарной декорацией к жесточайшему фильму о войне. Только его дом принял пять фугасок и сотни «зажигалок». Собственно, дома никакого уже не было: стояла руина, похожая на средневековый замок с закоптелыми пустыми проемами окон.

Казалось, гореть уже было нечему, но под развалинами с шипением поднимались снопы искр, и ядовитый белый дым расползался по изувеченным улицам.

На заливе, где стояли конвои, прибывшие из Англии и США, стреляло во время налетов все, что могло стрелять. В воздух бил даже главный калибр кораблей, когда бесчисленные стаи «юнкерсов» и «хейнкелей» с воем выползали из-за сопок.

Судьба города решалась на Западной Лице, Рыбачьем и Муста-Тунтури, где ни на минуту не умолкали бои.

Гитлеровская газета в оккупированной Норвегии опубликовала даже статью под заголовком «Почему германские войска еще не в Мурманске». В этой статье говорилось: «Многие задают вопрос, почему германские войска еще не заняли Мурманска. Постараюсь,— писал автор статьи,— объяснить это. В Лапландии сражаются германские части, находящиеся там со времени норвежской кампании... Бои оказались чрезвычайно тяжелыми, их трудность не поддается описанию...»

Дело было, разумеется, не в тундре и прочих природных условиях, одинаковых для обеих сторон, а в нашем решительном противодействии, которого фашисты вовсе не ждали, почему фашистская печать и поторопилась объявить Мурманск взятым. Пленные фашистские егеря, в большинстве тирольцы, носившие нарукавный знак с изображением альпийского цветка эдельвейс, вообще привычные к действиям в горной местности, оказались более способными к анализу происшедшего на мурманском направлении, нежели фашистская газета в порабощенной Норвегии. Один из них сказал на допросе: «Ваши

люди сделаны из особого металла. Даже когда они окружены, израсходовали все патроны и не в состоянии держать штык, они готовы грызть нас зубами!»

Тихо несет свои воды пепельно-черная река. Словно прислушиваясь к гулу за горизонтом, молчат сопки.

Много месяцев немецкие саперы рвали здесь динамитом скалы, громоздили одну каменную глыбу на другую, прежде чем над хмурой заполярной сопкой выросли эти воистину циклопические сооружения главного узла обороны. Утесы, сваренные мощными напластованиями железобетона и укрепленные бронзовыми плитами.

Потом егеря вкатили на высоту пушку, установили крупнокалиберные пулеметы, простреливающие каждый дюйм на подходе к высоте, пробили бойницы для автоматчиков, и многочисленные стволы разнокалиберных минометов были повернуты в сторону занятой русскими гряды холмов.

Как последний штрих, «тотальное» сие творение инженерной мысли рейха было увенчано подковой — «на счастье». Ее прибили над входом в каменные катакомбы, как символ прочности и уверенности в завтрашнем дне.

Сейчас они с Володей отбивали эту символику бюргерского благополучия, чтобы сохранить на память о далеких огненных годах.

В блиндаже — немецкая пепельница. Потускневшая от времени бронза с вытесненным ганзейским парусником. И клок газеты: «Солдаты фюрера не сделают ни шагу назад...»

Они бежали в паническом ужасе перед людьми, шедшими в атаку в бескозырках и тельняшках.

История сохранила команду боцмана перед смертельным броском:

— Каски и бушлаты — долой! Надеть бескозырки! Наступает флот!

Ребята с «Гремящего», ушедшие в морскую пехоту, участливо слушали армейских офицеров: «Идя в атаку в тельняшке, вы демаскируете себя. Условия современной войны заставляют распрощаться с некоторыми традициями, пусть прекрасными и героическими...»

Матросы хитро улыбались и, судя по всему, весьма скептически воспринимали эту добрую заботу об их жизни.

«Распрощаться» с тем, что десятилетиями освящено

гремящей, как море, славой — это было выше их сил. И как в их понятиях был немыслим моряк, кланяющийся пулям, столь же кощунственным виделся идущий в атаку матрос, скрывший окрыляющие душу регалии своей принадлежности к отчаянному флотскому братству.

— Каски и бушлаты — долой! Надеть бескозырки!..

Такое значило, что с этой минуты только пуля сможет остановить людей.

Такое означало мужество, граничащее с фантастикой, и ярость, перед которой бессильны и свирепые команды о сопротивлении до конца и злость обреченных егерей.

— Каски и бушлаты — долой!..

Синяя волна, словно вышедшая из моря, сама—плоть от плоти моря, выходила на берег, трепетало на ветру знамя с голубой полосой, многие не успевали дойти до вражеских окопов и блиндажей, но от тех, которые доходили, ждать пощады было бесполезно.

Лежит на перевале матросский нож. Рядом — гитлеровские каски. Немые свидетели атаки, которая смела одну из мощнейших линий обороны второй мировой войны. И проржавевшая подкова, так и не принесшая счастья, наконец поддается и падает, глухо звякнув о егерскую пушку, задравшую ствол к хмурому полярному небу.

Они поднялись на гребень высоты 314,8. Когда-то никому не известная сопка, которую и найти-то можно лишь на сверхподробных полевых картах. Ныне ее называли Высотой славы. Сами по себе неприступные скалы сплошь опутаны проржавевшими рядами колючей проволоки. Взрывчаткой пробиты в камне ходы сообщения. Мощные оборонительные узлы из гигантских камней, как развалины Древней Трои.

У развороченной взрывом каменной горы — скрюченные толстенные железные балки. Горноегерское орудие едва видно из-за холма стреляных гильз. Ржавые трубы разнокалиберных минометов рядом с раскрытыми ящиками мин. И... каски, каски, каски. Немецкие и наши. Развороченные осколками. Пробитые пулями. Сплющенные взрывной волной.

Анатолий поднял с земли искореженный ручной пулемет Дегтярева. «Это,— решил он,— унесу с собой...»

Масленка для оружия. Плоский штык. Солдатская ложка. Анатолий и Владимир перебирали руками землю...

— Есть! — Закатившись в мох, лежит черный пластмассовый матросский пенал.

Крышка не поддается, простукивают ее камнем. Кажется, пошла!..

На ладонь ложится потемневший клочок бумаги.

Что в нем? К какой судьбе они сейчас прикоснулись?

Осторожно развернули бумагу: «...Ткаченко Василий Михайлович. Моряк с эсминца «Гремящий». Родом из Николаевской области».

Трудно, невозможно передать, что испытывает человек в такие минуты. И боль, и счастье находки, и грусть. И тревожное ожидание. Они сразу подумали о близких Василия Михайловича. Им сообщат о находке. Тяжело им будет! Но все же легче, чем знать о сыне и отце, что он просто «пропал без вести».

Не «пропал» — ушел в бессмертие. Дрался, пока видели глаза и стучало сердце. До последней минуты. До последнего шага вперед.

«Гремящий»... Воспетый в песнях, легендарной судьбы корабль. Первым из надводных кораблей Северного флота, заслуживших звание гвардейского. Это он поддерживал своим огнем наши войска у Западной Лицы, уничтожив там несколько артиллерийских и минометных батарей врага.

Наверное, слышал в последние мгновения свои Василий Михайлович грозный голос своего корабля. Да, Западная Лица хорошо помнит «Гремящий»!

Анатолию вспомнилась старая песня военных лет:

Пусть море нас штормом встречает.
«Гремящий» не сбавит свой ход.
И стаи стремительных чаек
Проводят гвардейцев в поход...

— Попробуем разобраться, что тут произошло,— тихо сказал Володя, когда они остановились у наскоро сооруженного укрытия. Зеленая россыпь гильз звенела под ногами. С десяток касок со свастикой валялось перед грудой камней, и, когда Анатолий и Володя легли на землю, стало очевидно, что кто-то бил по гитлеровцам именно с этого места.

Этот «кто-то» был явно в невыгодном положении. Судя по расположению немецких касок, его обошли слева и справа. И назад — к воде — узкая открытая полоска земли, постепенно переходящая в ложбинку.

— Тут, кажется, не нужно быть Шерлоком Холмсом... Володя, посмотри!

У входа в ложбинку советская каска. Либо сбило ее пулей, а может быть, тяжело раненный матрос ее попросту потерял.

Внимательно оглядывая каждый метр пути, они медленно спустились в ложбинку. Володя шел впереди.

— Скорее сюда! Да иди же ты!..— услышал Сергеев из-за кустов его глухой голос.

Перепрыгивая с камня на камень, Анатолий бросился к другу.

— Смотри! Ремень.

Они долго молчали.

— Видимо, он сюда отползал, чтобы выйти к берегу...

— Не видимо, а точно... Ему же не оставалось другого пути.

— А ведь почти дошел. До воды всего несколько метров.

— Судя по всему, он прикрывал отход товарищей. В таких случаях редко уходят...

Они вернулись вверх за каской.

Сели на валунах. Закурили...

Знакомый Сергеева с недоумением смотрел впоследствии, как он прикреплял к стене комнаты в Москве тронутый ржавчиной ствол пулемета, развороченную осколком каску и матросский нож. И позже кое-кому из приходящих это казалось непонятным чудачеством. Ржавое железо, размышляли вслух они, «не смотрится».

Анатолий искренне жалел их. Они не испытывали жутковатого колдовства Долины. Не слышали тихого рассказа ее камней, с теплыми жилками гранита, отсвечивающими на закате тревожным огнем. Им не знаком голос ее холодных ручьев, до сих пор выносящих из-под снега пробитые пулями каски, голос Долины, рождающей эхо, в котором чудятся человеческие голоса.

Голоса моряков. Их много лежит здесь. Слишком много, чтобы не была потрясена душа волнением и болью.

В эхе — ноты ярости, торжества, предсмертного клекота. А может быть, это отзвук крика чаек, парящих в высоком небе. По старинным поверьям, они — души моряков.

Наверное, они тоскуют сейчас по морю, думал Сергеев. Ведь оно совсем рядом — рукой подать — вот за этой синеющей сопкой. Сверкающее. С литыми из бронзы солнечными бликами. С разбойным посвистом ветра и пронзительной далью. Море, которого спящим здесь, в Долине, так и не довелось больше увидеть.

Долину можно услышать, если только здесь кощунственно не тревожится тишина. Только чайкам позволено нарушать приглушенный ее говор. Память павших здесь требует благоговения и тишины. Тогда ты можешь рассчитывать, что перед тобой раскроется еще одна страница книги Долины. Как и перед теми твоими предшественниками, кто установил на любовно сложенных из камней холмиках скромную табличку с режущей душу надписью — «Отцам от сыновей».

...О многом говорили Анатолию реликвии на стене. С ними он увез в Москву голоса Долины. Мягкий сумрак и боль ее. Эхо далеких корабельных залпов, матросскую ярость и пепельный блеск волны.

Моряки, те его понимали. Придя в гости, они обязательно замолкали, трогали холодную сталь рукой. Их глаза темнели. Словно пытались разглядеть за далью времен лица давно ушедших друзей.

2

В октябрьское предвечерье хмуро и неприветливо море Баренца. Черная вода фиордов пенится от крутых дождей. Тучи, закрывшие гребни сопок, иссиня-дымчатые, набухают влагой.

Дождь так и не переходит в ливень: одинаково синхронно и однозвучно бьет он по холодной воде, и голос его переходит в тихий несмолкающий шепот, невнятный и таинственный, как закрытые хмарью дали.

Тогда становится удручающе-давящим пронзительное безлюдье этих, кажется, распахнутых на полмира берегов и просторов. В воздухе уже ощущается близость идущих от полюса ледяных полей и первых снежных зарядов. Какие-то считанные недели отдалили их в пути от резкой грани, когда солнце совсем скроется за гори-

зонтом, погаснет багрянец берегов и в очи людям дыхнет долгая полярная зима.

Катер, высадив моряков на скальные валуны, отошел мористее: начинался отлив, и он рисковал оказаться на заросших морской капустой камнях.

Михайловский, перепрыгивая с валуна на валун, выбрался на берег.

Машина уже ждала его.

— В Москву, товарищ адмирал? — спросил водитель.

— В Ленинград... Давай на аэродром. У нас,— Аркадий Петрович посмотрел на часы,— времени в обрез.

Высокий, с сединой в каштановых волосах капитан 1 ранга привычно-монотонно читал послужной список, и от необычности обстановки, волнения, напряженной тишины в зале казалось, что речь идет не о нем, Михайловском, а о ком-то из его хороших друзей или добрых знакомых.

— Вопросы к диссертанту будут? — председатель Ученого совета оглядел зал.

— Разрешите мне.— С места поднялся плотный адмирал с инженерными погонами на тужурке.— Аркадий Петрович, кажется, вам приходилось, что называется, «вывозить» в море и ученых.

— Все время вывозим. Гидроакустиков, картографов, океанологов, инженеров, ракетчиков... Возили и целую экспедицию Академии наук...

— И еще вопрос. Может быть, немного не по существу... Я не мог вас видеть когда-нибудь на крейсере «Красный Кавказ» или гвардейском эсминце «Вице-адмирал Дрозд»?

— Могли, товарищ адмирал... На первом я проходил службу курсантом училища имени Фрунзе. В той же роли был на эсминце «Вице-адмирал Дрозд».

— Ясно. Значит, там я вас и видел. У меня хорошая память на лица.

Адмирал удовлетворенно сел, будто решив для себя важную и давно мучившую его задачу.

— Товарищ председатель,— голос из зала нарушил было неловкую тишину,— повторите, пожалуйста, название первой научной работы. Аркадия Петровича и тему его кандидатской диссертации.

Председатель начал рыться в папке с бумагами.

— Впрочем, зачем я трачу время. Товарищ Михайловский, прошу ответить.

— Первая работа называлась «О повышении точности счисления при плавании на приливо-отливных течениях».

— В каком году вы ее защитили?

— В шестьдесят первом.

Здесь разговор изменил русло. Михайловскому иногда даже казалось, что о нем, как о диссертанте, собственно, забыли. Моряки и ученые спорили. Карандаши терзали блокноты. К председательствующему одна за другой шли записки.

Михайловский неожиданно для самого себя улыбнулся. Стоящий сейчас за кафедрой капитан 2 ранга удивительно был похож на капитана Врунгеля из повести Некрасова. Та же удивительно схожая посадка головы, жест, мимика.

Из далекого далека пришло это воспоминание. Ему, Аркадию,— четырнадцать лет. Клязьминское водохранилище. И его, Аркадия Михайловского, наставник—яхтенный рулевой первого класса писатель Некрасов. В тех подмосковных походах и родились образы волшебной веселой книжки «Приключения капитана Врунгеля». И в членах команды яхты «Беда» подозрительно угадывались навсегда сохраненные памятью черточки многих и многих знакомых Михайловского тех незабываемо-бесшабашных счастливых времен.

Жесткий голос оппонента вернул Михайловского к действительности:

— ...Диссертант внес большой вклад в освоение новых атомных подводных лодок и тактических принципов их применения...

О ком это? Вроде бы о нем. Но почему так торжественно?

— ...Безусловно заслуживает... Открывает перспективы... Многое обещает в будущем... Ценно, что не в кабинетных изысках, а на практике...

— Прошу остаться только членов Ученого совета.— Председательствующий сказал это таким тоном, словно произносил зловещую формулу «Суд удаляется на совещание».

Михайловский встал. Сам не помнил, как оказался в коридоре, и, хотя не курил, взял у кого-то сигарету.

— Не волнуйтесь,— его взял под руку инженер-контр-адмирал.— Все будет в порядке. Здесь совершенно ясная ситуация.

«Ситуацией» в данном случае был сам Михайловский...

3

Лодки не было долгие недели...

Сергеев стоял на пирсе, когда она входила в гавань.

Метались над черной водой снежные заряды, и — такое бывает только здесь, на Севере,— багровая полоска рассвета прорезала горизонт, бросая мерцающие рубиновые отблески на ледяной припай и седую, в изморози, боевую рубку.

Она возникла, как из сказки, из темноты, вначале неясным контуром с бортовыми огнями, потом стали различаться люди на мостике и рвущийся на резком ветру флаг.

Метался снег. С раздирающим душу стоном шли на берег волны. Колючие иглы обжигали лицо.

Застыла шеренга моряков на пирсе.

Здесь не было ни женщин с цветами, ни детей — ничего из «романтического» атрибута много раз описанных встреч.

Ветер нес над бухтой водяную пыль, смешанную со снегом. И вот навстречу им, стоящим там, в неистовой мглистой кутерьме, под гордым флагом Родины на боевой рубке, рванулась с пирса ликующая, заглушающая все и вся мелодия «Варяга».

Анатолий видел много встреч кораблей. Эта была несравнима ни с какой.

Традиции, героическое прошлое флота... Сколько писали о них! И вот здесь, на обледенелом пирсе, когда медь, музыкально переосмыслив песню о горьком подвиге, пела о мужестве современников, каждый думал: вот так, наверное, обледенелые, страшные в солдатских ранах своих, возвращались из отчаянных походов «малютки» и «щуки». И также рвался на ветру флаг. И та же теплота светилась в глазах людей...

— Подать носовой!

С шорохом расступился ледяной припай, пропуская многотонную громаду...

«Тайм» в статье «Флот России — новый вызов на морях» считает Советский Военно-Морской Флот «не только разносторонним и далеко действующим, но и одним из самых новейших и первоклассно оборудованных... В то время как 60 процентов американского флота состоит из кораблей в возрасте 25 лет и старше, советский — современен и выглядит с иголочки».

«Всякий раз,— горестно размышляет «специалист по русской морской мощи» капитан 1 ранга флота США Гарри Аллендорфер,— как вы заходите в иностранный порт и не можете сразу увидеть государственных флагов на мачтах стоящих там кораблей, выберите из них самые красивые, чистые и ухоженные. В девяти из десяти случаев вы не ошибетесь — это будут русские корабли».

Сергеев протянул вырезку члену Военного совета.

— Что же,— улыбнулся тот,— хоть признание это не от хорошей жизни, не согласиться с ним нельзя. Тем более что заставить «Тайм» быть объективным — для этого нужно по меньшей мере светопреставление.

4

Когда Сорокин открыл дверь, Витька, сопя, возился в прихожей с креплениями лыж.

— В сопки собрался? — Адмирал растирал закоченевшие даже в кожаных перчатках руки.— Оденься потеплее. Мороз — ужас. Градусов тридцать.

— На лыжах не холодно...

— Тебя поздравить можно.

— Да, папа... с сегодняшнего дня — каникулы. Последняя четверть осталась. А там — вольная птица.

— Ладно, вольная птица, давай обедать.— Он поцеловал вышедшую из кухни жену.— Покорми-ка нас, мать?

— Что же с вами делать! Не дать же вам умереть с голоду. Мойте руки...

— Приказано мыть руки, Витька! Слышишь?

— Слышу... Только у меня к тебе секретный разговор один.

— Случилось что?

— Нет. Но поговорить надо. Только после обеда... Один на один... Без матери.

— Ну что же. Один на один так один на один...

За обедом он украдкой разглядывал сына. Давно ли был пацан пацаном. А смотри — вытянулся, повзрослел. И уже — «серьезный разговор один на один». Сорокин улыбнулся.

— Ты чего?—Виктор исподлобья наблюдал за отцом.

— Ничего. Так. Вспомнилось разное... Ну что же, пойдем поговорим... У нас, мать, секретное совещание...

— Есть мне время ваши секреты слушать. Очень надо...

Они уселись в уставленном книгами и моделями лодок кабинете Сорокина, заговорщически подмигнув друг другу, плотно прикрыли дверь.

Витька помолчал, потом как выдавил из себя:

— Решил с тобой посоветоваться. Сегодня мы с ребятами думали, куда податься после школы. Как-никак осталось на размышление всего полгода. Нужно к этому готовиться. А потом — конкурсы в вузе возросли. А поступать абы поступать, сам знаешь, не хочется...

— А куда ты сам решил поступать? Ведь от этого многое зависит. Дело не в конкурсе. Даже если провалишься, можно год переждать, поработать. Потом сделать вторую попытку. В таком деле торопиться нельзя. Уцепишься за профессию, которую потом будешь ненавидеть,— всю жизнь себе искалечишь.

— Я твердо решил в военно-морское училище... Все-таки море — это романтика. Походы, корабли, неизвестные страны. «Где-то в дальнем, дальнем синем море бригантина поднимает паруса»,— напел Витька.— Такое ни на что менять не хочется.

— Слушай. Вот в этом-то как раз и нужно серьезно разобраться. Какое «такое»? Бригантины, знаешь, только в песнях так романтичны. В жизни они другие. А потом,— отец улыбнулся,— помнишь, в другой песне: «Бригантины остались в стихах...» А жизнь— это не стихи.

— Пугаешь? Я не из пугливых.

— Зачем мне тебя пугать? Я о другом. Книжная ро-

мантика кончится на второй день службы. Море каждому дает как бы испытательный срок. Одни его выдерживают, для других корабельная «проза» начисто убивает все мечты о «бригантинах», «дальнем море» и иной далекой от реального океана сентиментальщине.

Стоять вахту, Витя, в жестокий мороз — совсем не легкое дело. И мыть палубу, и картошку чистить на камбузе, и медяшку драить, и месяцами не видеть берега, от чего, естественно, когда-нибудь ты это поймешь, семейные отношения совсем не упрощаются... Выматывающие душу шторма — они красивы только на картинах в музеях. Все это и многое другое, дорогой, и есть наша реальная жизнь. Кому такое придется по нраву, тот остается на море.

— Но моряки не только же медяшку драят и чистят картошку на камбузе. По-моему, ты нарочно сгущаешь краски.

— Нет, не сгущаю. Как и вообще в жизни, у моряков бывают праздники. Но не из праздников же состоят месяцы и годы. Хочешь не хочешь, надо ориентироваться на будни. А они весьма хлопотные, эти будни... Учти и другое обстоятельство. Любовь к морю измеряется теперь и в другой плоскости, иной меркой, чем раньше. Ты подумай, какую цепную реакцию независимо от твоего или моего желания дала революция на флоте?

Сорокин прошелся по комнате.

— Скажем, раньше в парусном флоте мог успешно служить матрос, просто обладающий изрядной физической силой. Не бог весть на каких должностях, но мог. Позднее матрос — это уже и электрик, и радист, и комендор, и торпедист. То есть — специалист. На атомном флоте просто с десятилетним образованием очень трудно... Теперь рассуждай далее. Представляешь, какими специалистами своего дела должны быть эти моряки! Одним словом, синонимом понятия «моряк» становится понятие «ученый». Так что любовь к морю, дорогой, измеряется уже не эмоциями, а суммой и качеством знаний. Я, конечно, все это чуть-чуть утрирую, но в основе — это правда.

— Зато, если повезет, сможешь участвовать в замечательных походах. Мир увидишь. И потом, сколько среди вас людей с Золотой Звездой!

— Это ты по-молодости так говоришь. Слава — это

штука проходящая, Витька. И не в ней дело. Сколько человек служит на флоте?

— Ну, наверное, тысячи.

Сорокин улыбнулся.

— Побольше. Намного больше... Вот и соображай, какой процент падает на Героев Советского Союза. Ничтожный... Как бы это тебе объяснить... Мечтать о славе, заслуженной славе, конечно, дело хорошее. Особенно в молодости, когда чувствуешь, что способен на многое... Но не в ней, славе, дело... Слава придет сама, если ее люди заслужили. Суть вопроса в другом: во внутренней потребности быть впереди, в закалке воли и характера таким образом, чтобы не спасовать перед трудностями, не отступить, если обстоятельства потребуют от тебя, пойти на риск и для общего дела не очень-то трястись за собственную сохранность, а такое на море бывает. И, к сожалению, не очень редко.

— Что же, по-твоему, если человек мечтает о подвиге, это уже эгоизм, себялюбие?

— Почему? Я такого не говорил. Наоборот, я терпеть не могу людей равнодушных, сонных или тех, у кого благополучие своей собственной особы заслонило все и вся. Без мечты о подвиге вообще не было бы ничего сто́ящего на свете. Ни побед, ни счастья, ни движения вперед. Но дело в том, что акт подвига — лишь производное от главного. Подвижничество, самоотречение — это свойства характера человека, его натуры, его миропонимания. Все дело в том, как скроен человек. Что у него за душой. Слава, Виктор,— вещь капризная... Жить лишь во имя ее — играть в ненадежную лотерею. В итоге можно оказаться банкротом с опустошенной душой. Удовлетворение человеку может принести только большое, настоящее дело. Если ему отдал и лучшие годы свои, и сердце — все, что имеешь. К тому же мотыльковая слава, она недолгая. На день-два. А когда люди оценивают дело всей жизни человека, здесь случайностей не бывает. Такая оценка — на века. Даже если она приходит и после смерти... Вот ты знаешь, например, Роберта Скотта и поход Нансена на «Фраме».

— Кто же их не знает?!

— Да, Скотта, Нансена, Амундсена, Седова — этих людей знают все. А что ты скажешь об Антоне Омельченко, Дмитрии Гореве, Кучине?

— Что-то, по-моему, читал или слышал. А вот что, точно не помню.

— Во время второй советской антарктической экспедиции 1956—1958 годов наши полярники открыли в море Дэвиса новый остров. У Берега Правды. И назвали его островом Горева. А на Берегу Отса есть бухта Омельченко.

— Значит, это наши моряки или полярники?

— Наши. Но не современники. Горев и Омельченко — участники той самой экспедиции в 1910—1912 годах, в которой Скотт погиб и которая навечно вписала его имя в историю. Кучин — штурман и океанограф — был в составе норвежской антарктической экспедиции на «Фраме». Его именем назван ледник на Берегу Бадда на Земле Уилкса.

— Почему же мы тогда ничего не знаем о его спутниках — русских?

— В том-то все и дело. До революции в России не очень-то дорожили именами своих героев. Иностранцы, те — другое дело. А на Западе кое-кому было совсем невыгодно показывать подлинную роль россиян в великих делах века.

— Откуда же появились эти названия островов, ледников, бухт?

— Они даны позднее. Как я тебе уже говорил, имени Горева, например, отдали должное лишь в 1958 году. Наши моряки. А между тем Скотт писал о Гореве и об Омельченко в дневниках как о людях высочайшего мужества. Когда судно Скотта «Терра Нова» шло к берегам Антарктиды, Скотт не уставал восклицать в дневнике: «Наш вечно бдительный Антон», «Ну, не молодчина ли этот Антон!». А «молодчина» Антон, между тем, десятилетиями оставался в безвестности. Как и Горев, и Кучин. Целая плеяда наших ученых — Болотников, Яковлев, Брегман и другие перетряхивали тонны архивов, чтобы восстановить историческую справедливость. А между тем, когда Скотт начал штурм полюса, Омельченко вел группу до середины ледника Росса. Он же на собачьей упряжке выручал и вспомогательную партию Эванса, и механика Лэшли и шел навстречу возвращающейся главной части экспедиции. И все это было забыто.

— А ты откуда все это знаешь?

— Когда готовились к походу, кое-что читал. А по-

том привелось с Болотниковым встречаться. Одним из тех, кто всю эту историю рассказывал. Кстати, Горев был в числе тех, кто нашел занесенную снегом палатку, где лежал мертвый Скотт. Он один из первых людей на земном шаре держал найденные на его груди письма и дневники, которые сегодня потрясают каждого. И таких людей забыли... Но, как ты видишь, история все же разобралась, что к чему. Несправедливость исправлена. Но через сколько лет!.. Я рассказал тебе об этом для другого: разве ради славы шли почти на верную смерть и Горев, и Омельченко, и Кучин! Ради науки шли... Ради нее одной... Кстати, после революции от Омельченко толком никто и не слышал о его подвигах. Скромный это был человек. В гражданскую сражался в Красной Армии. Служил сельским почтальоном. Первым записался в колхоз...

Сорокин задумался.

— Вот такой он всегда, истинный русский подвиг, Витя,— без позы, без хвастовства, без бития в литавры. Сделал человек свое дело так, как считал нужным... И полагал, что такое — естественная норма жизни. А норма-то была героической... Даже фамилии некоторых из них забылись. Вот только недавно удалось установить, что подлинная фамилия Горева не «Горев», а «Гирев».

Анатолий Иванович вдруг рассмеялся.

— Ты что? — удивился Виктор.

— Забавное обстоятельство вспомнилось. Знаешь, на каких собаках шел Скотт к полюсу?

— Откуда же я могу это знать?

— Их звали Цыган, Красавица, Жулик, Косой, Лохматка... Это их так Гирев окрестил. Закупались-то эти собаки в нашенском Приуралье. В стойбищах и селах Вайда, Гырман, Коль...

Витька засопел, соображая что-то свое, нахмурился.

— Все равно я пойду в морское училище...

— А я тебя и не отговариваю. Просто хочу, чтобы ты все взвесил. Все «за» и «против». Ты небось, когда мы тебе с уроками иногда надоедали с матерью, думал втайне: «Вот навязались на мою голову!..» Я тебя на корабли водил. Сам видел, они, что называется, набиты электроникой, автоматическими устройствами, радиотехникой... На одной романтике моря теперь не выедешь. Теперь моряк — это и инженер, и ученый. Причем отличный ин-

женер. Так что с относительными знаниями на кораблях делать нечего...

Виктор явно пропустил это мимо ушей. Что-то другое думалось ему в эту минуту.

— А ты знаешь, я слышал, дядя Коля как-то сказал боцману: «Море! Море! — Витька передразнивал картавый голос Николая Ильича.— Стихи о нем пишут. Иногда я думаю: пропади оно, море, пропадом! Истоскуешься по земле и семье — свет белый не мил...»

Сорокин расхохотался:

— А это, Виктор, как говорят, уже «из другого источника». Уж я-то Николая Ильича знаю. Не один десяток лет вместе служили. Его от моря и за уши не оттянешь. Это прирожденный моряк, и без кораблей он, ей-богу, умрет...

— Почему же он так говорил?

— Почему? — Адмирал задумался, улыбнулся.— Затосковал о семье, наверное... Давно ребят своих не видел... Или — от настроения. Может же быть у человека плохое настроение?

— Конечно.

— Вот и он захандрил... А насчет моря, нет... Любит он море... По-настоящему проверенным чувством любит...

Витька поежился.

— Насчет трудного ты, конечно, где-то преувеличиваешь. А зря. Меня не трудности пугают. В мире было бы все распрекрасно, если бы каждый с детства знал свое назначение. Думаешь, раз мы в десятом классе, так у всех все и решено? Как бы не так. Сколько ребят еще понятия не имеют, куда им податься. Конечно, все, так или иначе, устроится. Не все же избравшие специальность не по душе мучаются. Стерпится — слюбится. Не всем же быть космонавтами. Инженеры-путейцы тоже нужны, например. Или инженеры холодильной промышленности... Не терять же год, если в любимый вуз по конкурсу не проскочишь...

— Не знаю... Не знаю...— Сорокин полуприкрыл глаза.— Я сторонник другой теории. Естественно, не всем быть космонавтами. Но я знал людей, не попавших по разным причинам, как у вас говорится, «в летчики» и согласившихся на любую работу при самолетах. Никакой другой профессии они себе не мыслили. Я не очень верю в человека, которому все равно, моряком ли быть или

заведовать пивной палаткой. Чаще всего это равнодушные люди. И здесь и там они те «средние» специалисты, которым лень выдумывать какой-нибудь порох. Известный хирург Николай Нилович Бурденко как-то размышлял, что некоторые люди, правда очень немногие, уже с детства входят в этот мир, как в собственный дом. И действуют в нем всю жизнь соответственно — с уверенностью и самостоятельностью хозяев. Другие всю жизнь ищут, словно выжидая, когда им кто-то укажет то или иное место, то или иное дело. Вот мне и кажется, что по-настоящему счастливы только первые. Вернее, те, кто рано или поздно находит дело по душе. Лучше потерять год, чем потерять жизнь...

Сорокин смотрел в окно, где за стеклом, тронутым морозной наледью, разыгрывалась метель.

— А насчет моря я не стращаю. Кто его полюбит, уже никогда не уйдет от него. Был такой человек, штурман подводной лодки и поэт Алексей Лебедев. Уходя в поход, из которого лодка не вернулась, он оставил такие стихи:

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель...

Витька ничего не ответил. Только вечером, отряхивая снег с лыж, спросил отца:

— А ты знал Алексея Лебедева?

— Нет, не довелось...

— А стихи, которые ты читал, у тебя есть?

— Где-то должны быть. Отпечатанные на машинке. Спроси мать, она знает.

5

Где-то наверху, важно пыхтя, степенно шли в далекие порты гигантские танкеры. Кровь земли — нефть — перекачивалась с континента на континент. Дымили приземистые, пахнущие сибирской тайгой и северными поморскими ветрами лесовозы. Гордые собственной своей ослепительной красотой, белоснежные лайнеры везли пасса-

жиров, которым позарез нужно было посмотреть, какие купальники модны сегодня на австралийских пляжах или что высвечивает неоновая метель над Бродвеем. Груженные танками и жующими резинку ребятами, шли транспорты во Вьетнам, а навстречу им торопились их суда-близнецы, несущие в трюмах точно таких же ребят. Только аккуратно упакованных в цинковые ящики.

Насупившись, разворачивались на крутой волне тяжелые авианосцы, получившие на борт закодированные приказы. В пене, изумляя рязанских и иркутских ребят невиданными ими красками, распахивалось перед мощными крейсерами, несущими на гафеле флаг с серпом и молотом, Карибское море.

Это все — над ними. Над их раздумьями и мужеством. Над их усталыми лицами и сердцами. Над грустью боцмана, потерявшего при операции перед самым походом жену, и страданиями старшины, домучивающего после вахт учебник по ядерной физике. Над озабоченностью замполита, ломающего голову над тем, как по прибытии в базу примирить инженер-механика с женой, любящих друг друга и повздоривших из-за «сущей ерунды». А может быть, их уже помирила разлука? Над ожиданием влажных любимых глаз, колдовства березовых рощ и дурмана скошенных на заре трав.

Над... Над... Над... Все это было над ними и в них. И отчаянные мили, оставшиеся за кормой. И карты новых маршрутов. Карты, которые еще только выходили из-под машин ученейшего гидрографического «хозяйства». Созданные ими, расшифрованные ими до конца. Когда берется один рубеж глубины за другим, и в кромешной темноте смятенного океана вдруг появляются неизвестные ранее вехи, по которым идти дальше.

Из бортовой книги Краснознаменной атомной подводной лодки

«Дорогой друг!

Радость первого шага и теплый взгляд любимой, ласка матери и мужественное слово отца. Пришвинская мартовская капель и восход солнца над океаном. Встреча космонавтов и поиски геолога. Разговор по душам с другом и жаркая спортивная схватка. Все это — Родина.

Что ты думаешь о Родине, когда находишься далеко

от ее берегов? Напиши об этом. Наша тетрадь будет коллективной исповедью экипажа о Родине.

Комсомольское бюро

...Для меня Родина — это что-то величественное, благородное! Это и моя новогодняя заснеженная елка, и звон весенних ручейков, и подснежники, и запах летнего сена, и красота лугов, шелест падающих осенних, желтых листьев, и дождь. Это мой Ленин, мой Суворов и Кожедуб, Пушкин и Щипачев, Достоевский и Соловьев-Седой, Блок и Твардовский, Толстой и Шолохов, наши «гагаринцы» и наше солнце, земля и небо. Все это родное; все это — Родина. Ни что ни на что нельзя променять. Никого ни с кем нельзя сравнить.

Старшина 1-й статьи Б. Гавриков

...Трудная, говорят, служба подводника, но зато почетная. И я не сожалею, что попал служить именно на подводную лодку. Наоборот, я горжусь этим. Я горжусь тем, что Советская Родина вырастила и воспитала меня, горжусь тем, что Родина доверила мне грозное современное оружие, горжусь тем, что выполняю приказ Родины.

А начинается, по-моему, Родина для меня с тех мест, где я впервые встал на ноги, где впервые научили меня держать ручку, научили читать и писать и задумываться над тем, что такое Родина.

Старший матрос А. Пузанов

...Подводником быть не просто, но как становится легко на сердце после трудного и долгого плавания снова в родной базе, на родной земле. Дышишь воздухом Родины, он особенный, не надышишься им.

Старший матрос К. Костин

...Родина! Как мне хочется делать для тебя что-то доброе, хорошее и полезное, чтобы я мог сказать, что жизнь я прожил не зря.

Старший матрос В. Максимов

А по-моему, об этом не говорят, ибо Родина — это Мать. И каждый из нас с самого детства твердит: «Моя мама самая лучшая»!

Старший матрос В. Базилевский

...Родина — это все: и люди, которых ты знаешь и понимаешь, которые тебя всегда поймут и всегда помогут. Это лес, который ты исходил вдоль и поперек, тропинки, которые ты изучил наизусть. Это земля, на которой растут стройные березы, которая знает вкус твоего пота и которая, возможно, уже впитала капли твоей крови. На ней живет одна-единственная твоя мать. По-настоящему это слово, его смысл может понять только тот, кто долгое время был вдали от нее, кто стремился к ней...

Матрос П. Стороженко»

6

Прошло полгода. Для Сорокина — как одно мгновение. Для его сына Виктора — как долгая дорога в горы, на перевал...

Ночь выдалась хлопотная. И хотя не бесновались над бухтой прожекторы, разыскивая заходящие на корабли самолеты, и небо не разрывали всполохи рвущихся снарядов, она всколыхнула у Сорокина те полузарубцевавшиеся военные воспоминания, когда люди, застегивая на ходу бушлаты, бежали к пирсам, где уже ревели моторами, готовые в любую секунду сорваться в темноту, торпедные катера.

Тревожная телеграмма штаба подняла всех на ноги: «По только что полученным непроверенным данным, английское радио передало, что в известном вам квадрате на камни выбросилась советская атомная подводная лодка. Сравнительно близко от указанного места может быть только Соколов. Немедленно установить с ним связь, направить к предполагаемому району аварии корабли, держать наготове аварийно-спасательный отряд. Данные проверяются. Не исключена возможность провокации. Ждать наших указаний».

Мощный ревун, сотрясший ночь над базой, казался

для тех, немногих, кто был посвящен в причину тревоги, сегодня особенно пронзительным и зловещим.

Телеграммы распороли стонущий джазами, какофониями проклятий и нежности, угроз и предутреннего заокеанского веселья эфир. И где-то за тысячи километров от Заполярья командиры атомных, друзья Николая Соколова, срочно меняли курсы. Дробя океан мощными винтами, стала летящей молнией лодка Каширского. Описывая стремительную полудугу, пронизывал меридианы корабль Михайловского. Ничего не «слышавшие» до этого акустики американского авианосца вдруг засекли рев ракетоносца где-то совсем рядом слева по борту корабля. Пока докладывали командиру, звук турбин растаял.

Подтвердись весть — в силу немедленно вступил бы закон советского моряцкого братства. И те, кто застыл в эти мгновения у приборов ракетного крейсера, готового в любое мгновение стать летящей над морем пеной, и те — в глубинах, знающие Николая в лицо, и склонившиеся в штабе над картами адмиралы, свершили бы невозможное, чтобы отодвинуть беду, и тогда далекий квадрат моря стал бы координатами нового подвига.

Но прежде чем запустить мощный флотский механизм на полный ход, предстояло убедиться, что эта опасность реально существовала.

Полтора часа, пока ничего не подозревающий Соколов по расписанию вышел на связь, показались Сорокину раскаленной вечностью, и он даже не смог улыбнуться, когда на миг представил себе растерянное лицо Николая, который не имел права себя демаскировать и которому неожиданно приказали это сделать.

— Передайте — продолжать поход по варианту «Б» и снова выйти на связь,— приказал Сорокин и не без злорадства подумал: «Если это провокация и они надеялись запеленговать Соколова — пусть засекут в другом месте. Расшифровывать эту головоломку им хватит не один месяц...»

Пока шли переговоры с Москвой и штабом флота, пока выяснялось все, имеющее отношение к случаю,— наступило утро.

Дверь он открыл своим ключом, стараясь не разбудить Лену и Вовку, сняв ботинки, осторожно прошел на

кухню. Вдруг захотелось выпить крепкого морского чая. Согреться. После бессонной ночи тело ломило. Только теперь пришла почти физическая усталость.

Положив голову на руки, прямо за столом спала Лена. Когда скрипнула дверь, она очнулась.

— У вас что-нибудь серьезное?

— А ты почему не спишь? — ответил он вопросом на вопрос.— Ведь сколько раз договаривались — если я ночью ухожу, ты будешь спать.

— Не получается, Толя,— улыбнулась она.—Не знаю, как у других, а у меня не получается... Ведь у тебя всякое может случиться.

— Все хорошо, Ленок! Все отлично! И давай пировать. Я голоден, как волк.

— Может быть, рюмочку выпьешь? Устал?

— Нет. В восемь ноль-ноль нужно быть в штабе. Какая уж тут рюмочка! А вот чайку — это хорошо. Как Вовка?

— Спит. А от Виктора письмо. Нá вот — почитай, пока я собираю... Я уж тут всплакнула, грешным делом...

— Какие-нибудь неприятности у него?

— Нет. Просто не могу его представить взрослым. И хочется от кого-то защитить. А от кого — не знаю.

— Давай, давай, посмотрим, как там живет наш будущий Макаров.

«Дорогие папа и мама! — буквы были выведены аккуратным, ученическим почерком.— Сегодня я первый раз дежурил. Правда, оружия нам не дали. Просто дали повязки с надписью: «Дежурный». Ленточки нам тоже еще не выдали. Их наденем, как примем присягу.

В связи со всем этим дежурство было довольно сложным. Мы с Борисом стояли в вестибюле кубрика, где размещены курсанты всех курсов.

В остальном все отлично. Мама, ты зря за меня волнуешься. Я уже научился гладить брюки и сам починил себе тельняшку, которую порвал, когда мы с ребятами боролись.

Служба мне очень нравится. Вовке я написал отдельное письмо. Конечно, он будет дурак дураком, если даже внутренне усомнится, что можно пойти куда-либо учиться кроме морского училища.

Целую вас

ваш Виктор».

— Ну как? — спросила Лена.

— Я считаю, что все отлично. О чем ты беспокоишься? Только вот брюки ему нужно было научиться гладить раньше. Ты в этом смысле с Вовкой поработай...

— Вот и не заметили, как сын ушел от нас. А я как будто вчера его в школу отводила... Вот и Вовка скоро уйдет.

— Что делать, Леночка. Время берет свое. Главное, чтобы из них хорошие люди вышли. До порога мы их довели. А дальше... Дальше уже родители не помогут. Сам человек свой курс выправляет.

— Раньше я только за тебя волновалась, когда ты в море. А скоро придется болеть и за Виктора и за Володю. Опасную они профессию выбрали. Вот у других матерей — идут сыновья в инженерный, театральный, в университет...

— И это ты говоришь мне?!

Она рассмеялась.

— Да, я забыла, что вы со своим морем чокнутые.

Они подошли к окну и долго стояли молча, каждый думал о своем, хотя это «свое» у них уже было неотделимо друг от друга. И Сорокину, пытавшемуся представить себе Витьку в курсантской форме, вспоминалась тоненькая девушка, которой он назначил свидание у Медного всадника. И ей, размышлявшей о том, что скоро и Вовка уйдет от нее, вдруг встал в памяти курсант с одной галочкой на рукаве, бережно провожавший ее, Лену, до подъезда.

Что делать, если жизнь не имеет ни концов, ни начал, и каждый миг ее — как этот никогда не останавливающийся, шумящий над морем ветер.

7

В кабинете главкома на приставном столе — модель подводной лодки. Пока она существовала только в мозгу конструкторов, в чертежах да вот в этой стремительной изящной модели, словно летящей над эбонитовым полем.

— Предполагаемая скорость? — Главком вопросительно взглянул на конструктора.

— Полагаем, что будет выше расчетной.

— А глубина погружения?

— Тоже. Вот здесь и здесь,— конструктор тронул карандашом чертеж,— шпангоуты не только усилены. Применена совершенно новая их конструкция.

— Когда рассчитываете дать опытный образец?

— В запланированные сроки.

— Успеете?

— Если взаимодействующие институты не подведут— успеем.

— Отличный будет подарок нашему флоту!

— Нам самим не по себе становится, когда задумываешься, а что будет за «этой» лодкой... Как широко шагнет человек в моря.

— Да, каких-нибудь лет пять назад о такой субмарине мечтать не приходилось. То одни системы еще не были готовы, то другие. Сейчас лодка — это, собственно, синтез достижений современной науки и техники.

— И взаимосвязанных. Одно звено выпадает — шага вперед не сделаешь.

— Да, судя по всему, это будет отличный подводный корабль... А модель пока нужно убрать. Не пришло еще время ее показывать...

— Недавно в США писали, что проблема дальнейшего увеличения подводного потолка подводных лодок — проблема № 1,— заметил, размышляя, конструктор,— считается среди ученых и инженеров, что уже в 70-х годах будут построены атомные подводные лодки с глубиной погружения почти до 2000 метров.

— А вы знакомились с американскими проектами?

— Да. Они сейчас их часто обсуждают. Иногда в специальной печати целые баталии разворачиваются. По мнению инженеров США, применение специальных сталей позволит уже в ближайшие годы строить подводные лодки с глубиной погружения 1200 метров, а лодки с корпусом из титановых сплавов смогут достигать еще больших глубин — 1800 метров и более. Наиболее перспективным материалом для глубин 2000—3000 метров считают сплавы на основе бериллия, титана и алюминия, а также стеклопластиков, прочность которых уже в ближайшие годы будет превосходить прочность металлических сплавов. Изменяется и конструкция корпуса глубоководных лодок. Оптимальной считается цилиндрическая форма со сферическими концевыми переборками. Такую конструкцию имеет и глубоководная лодка «Дельфин».

Конструктор помолчал, потом добавил:

— Помните, как мы в годы нашей юности зачитывались романом Беляева «Человек-амфибия». С тех пор как он написан, каких-то сорок лет прошло. И вот в октябре 1962 года на Лондонском международном конгрессе по исследованию глубин Жак-Ив Кусто сообщил о возможности создания «подводного человека» с искусственными жабрами, способного неограниченное время находиться под водой на глубинах вплоть до 2000 метров. Для этого, говорил Кусто, необходимо снабдить человека миниатюрным легочно-сердечным аппаратом, вводящим кислород непосредственно в кровь и удаляющим из нее углекислый газ; чтобы тело человека могло противостоять давлению воды, легкие и все полости костей надо заполнить нейтральной жидкостью, а нервные центры дыхания — затормозить. Кусто предполагает, что благодаря подобному хирургическому вмешательству через десятки лет сформируются «новые люди», приспособленные к жизни под водой и на суше. Мне кажется — это кощунство.

— Может быть... Во всяком случае, здесь встает масса правовых, философских, нравственных проблем. Но я о другом — поразительно то, что самые, казалось бы, несбыточные фантазии сегодня для науки возможная реальность.

— На земле белые пятна исчезают. А вот океан — иное дело. Жизнь показывает, что вторая половина века во многом будет и эрой научного и хозяйственного освоения океана — седьмого континента.

— К этому идут. Человечество уже не может обойтись без его неисчерпаемых пищевых, энергетических, минеральных ресурсов. Дело даже не в романтике или любознательности. Говоря языком экономики, жизнь заставляет... Океан — целина. В науке,— главком рассмеялся,— военным морякам хоть свою Академию наук открывай. Судите сами. В научных экспедициях к берегам Антарктиды принимали участие и океанографические суда Гидрографической службы советского ВМФ «Фаддей Беллинсгаузен» и «Борис Давыдов»... На протяжении последних трех лет наши «Невельской» и «Ульяна Громова» наряду с другими научно-исследовательскими судами СССР ведут большие работы по изучению крайне интересного района течения Куросиво в Тихом океане.

Ясно одно. Невиданными ранее темпами будет развиваться промысловый, научный, транспортный флот. И конечно, пока существует социальное разделение мира — военный... Нас, военных моряков, на пенсию не скоро выгонят.

После разговора с конструктором адмирал еще около часа разбирал материалы иностранной специальной печати. Было несколько любопытных:

Сеймур Херш под сенсационным заголовком «20 000 пушек под водой» сообщал, что нынешним летом океанографы из Вашингтонского университета и частных компаний намереваются занять одну подводную гору в Тихом океане, расположенную в 270 милях к западу от Грейс-Харбора (штат Вашингтон). В той точке, где они будут проводить свою работу, эта гора поднимается из океанских глубин в 9000 футов до уровня, отстоящего на 122 фута от поверхности океана.

Возглавляет эти исследования доктор Джон П. Крейвн. Его точка зрения на перспективы освоения подводного мира почти не имеет ничего общего с коммерческими проектами или подводными фундаментальными научными исследованиями. В своей статье, помещенной в недавнем номере «Записок военно-морского института», Крейвн так выразил свою мечту, которая отражает надежды ВМС.

«Тихий океан разделяется длинными цепями подводных гор на значительное число бассейнов, которые сейчас обозначаются морскими горами, образующими острова Уэйк, Гуам, Новые Гебриды, Фиджи, острова Гилберт, Маршалловы острова, Рюкю, Курилы и так далее. Даже ныне эти острова являются важными элементами на стратегической внешней периферии Азиатского континента. Захват и использование подводной части этих стратегических барьеров сделает еще более эффективным использование этих периферийных островов в качестве коммерческого, политического и военного противовеса континенту».

Все элементы предстоящей гонки подводных вооружений встают на свои места: университеты предоставляют научные кадры; корпорации, прельщенные потенциально баснословными прибылями, вкладывают средства в научные исследования; военно-морской флот, стремя-

щийся получить свою долю военного бюджета, проталкивает свои подводные ракетные системы.

Нет, адмирал задумался. Его профессия, профессия военного моряка, еще ох как будет нужна людям. Подводных пиратов не остановишь благостными словами. Они считаются только с реальной силой...

Корабли и океан...

Море — гневное в водяных горах с белыми пенными гребнями или бездонно-зеленое в бесконечно меняющихся солнечных бликах. Оно стало символом неуспокоенности человека, его бунтарства и свободомыслия, непреходящего стремления переступить предел неведанного, чтобы открыть новые миры и новые дали.

Приглядитесь — и мальчишка, и седой старик одинаково завороженными глазами провожают парус, тающий в дымке у горизонта, или гигантский лайнер, который буксиры осторожно разворачивают на рейде, чтобы открыть ему путь в достающий до самых звезд океан.

Море собирает суровую дань. Не счесть крестов и обелисков на хмурых скалах и хмурых отмелях, ставших могилами кораблей с гордыми и нежными именами, а если нанести на карту координаты всех погибших кораблей, на ней, наверное, не останется места ни на что другое.

Прекрасное и грозовое, оно снова предлагает людям помериться с ним силами. И люди принимают вызов. И гибнут, и штормуют, и проклинают небеса, и снова восхищаются им, и не могут жить без его волшебства, сотканного из влаги, легенд, надежд, открытий и тайн. Люди принимают вызов, совершенствуя корабли, вырывая у океана одну тайну за другой, превращая море из врага в друга.

Но море — это и поле иной битвы. За будущее человечества. За революцию и ее идеалы...

В Главном штабе Военно-Морского Флота хорошо знают это.

Вечер. Гаснут огни в окнах гражданских ведомств и учреждений. Спокойно ложатся спать мирные советские люди. Но в штабе ни на минуту не замирает жизнь.

Некоторые офицеры склоняются над картами, роются

в справочниках, таблицах, дотошно изучают синоптические карты. Тихо журчат электронно-вычислительные машины, загораются и гаснут табло, высвечиваются диковинные символы на необычных планшетах.

Телетайпы отстукивают строки телеграмм — непрерывным потоком поступает информация.

На флоты, соединения и корабли уходят приказы, распоряжения...

Идет прокладка новых курсов большого советского флота.

Это ведь только в Москве наступает ночь. А в небе другого полушария огненным шаром проплывает солнце. И курсы нашего могучего флота никак не вмещаются ни в рамки четко очерченных параллелей, ни во временные пояса планеты. Вахта не прерывается ни на день, ни на час, ни на минуту.

8

Вот и все...

Утром — самолет, и прощай Север. Прощай все, чему отданы лучшие, освященные трудным, настоящим счастьем годы.

Не хитри перед собой, Анатолий Иванович,— сегодня можно признаться себе в этом.

— Но почему — прощай? — пытался он успокоить себя.— Еще не раз, не два придется побывать здесь. Хотя бы «по долгу» новой службы.

Он на миг представил себе, как идет по этим улицам через три-четыре года. Наверняка попадутся и знакомые. Но сколько встретится тех, с кем ни поговорить по душам, ни вспомнить общее прошлое. Люди растут на атомном стремительно, и кто знает, по каким морям-океанам раскидает судьба тех, кто вместе с ним начинал атомную Одиссею.

Многие нити оборвутся. Другие офицеры и матросы будут идти вот по этой же дороге, пробитой его, Сорокина, поколением в скалах на заснеженные пирсы. И новым командирам доведется провожать и встречать их после долгих месяцев разлуки.

Грусти не грусти: такова жизнь, хотя сердце никогда не смирится с ее жестокой диалектикой, которая не считается, да и не может особо считаться с чувствами лю-

дей. У нее — более высокий и важный прицел, не измеряемый не только двумя-тремя годами, но и десятилетием.

Адмирал прошелся по комнате, потрогал подготовленные к отправке книги, остановился у окна.

Пожалуй — вот это только здесь не изменилось. Осталось таким же, как и в те далекие дни, когда он только что сюда прибыл: мощные скалы нависали над долиной, и так же, как много лет назад, несмотря на ночной час, висело прямо над головой, весело светило нежаркое полярное солнце.

Жалко, что Лена с ребятами уже улетели. Махнуть бы с ними сейчас к морю.

Ему вдруг стало тоскливо и неуютно. Может, разбудить кого из друзей? Хотя бы поговорить или просто помолчать вместе.

Он усмехнулся и подумал о телепатии, когда в эту минуту в передней затрещал телефон.

Сорокин узнал голос Бевза:

— Не спишь, Анатолий Иванович?

— А ты бы на моем месте спал? — ответил он вопросом.

— Не знаю, может быть, и не спал бы. А возможно, и спал... Я вот тоже холостякую. Отправил своих вчера под Ленинград. Пройдемся?..

— А не устал?

— Нет.

— Тогда возьмем катер?

— Давай. Я выхожу.

Жили они в соседних подъездах, и Сорокин, подумав, уточнил:

— Минуть через десять. Я вызову машину.

Рука машинально набрала знакомый номер.

— Дежурный? Мне машину.

— Есть! — Он не успел повесить трубку, как расслышал вдалеке приглушенный гул мембраны: «Машину — адмиралу!..»

Они не стали ждать и пошли ей навстречу. Когда миновали городок, из-за поворота дороги выскочила «Волга».

— Здравия желаю...

— Отставить, Миша... Уже собрался?

— Так точно... Следующим самолетом после вас улетаю...

— В Москве обязательно зайдите.

— А как же,— Миша засмеялся.— Конечно, зайду.

Срок его службы кончился, и он мог уехать домой еще две недели назад. Но Миша решил дождаться адмирала. «Вместе служили, что же это я его брошу из-за каких-то двух недель. Не по-морскому, не по-солидному получится»,— поделился он со своим преемником, которому формально уже сдал машину.

— В базу!

Всю дорогу Сорокин и Бевз молчали, и только, видимо угадав мысли командира, Миша спросил:

— Попрощаться?

— Да.

— Это хорошо, Анатолий Иванович. Я вчера тоже ходил к морю...

Для него было очевидно, что если уж прощаться — так с морем и лодками. С чем же еще?! В них, так или иначе, фокусировалось все, ради чего они жили долгие годы на краю земли.

Остановив машину у самой кромки пирса, Миша спросил:

— С вашего разрешения, товарищ адмирал, я подожду здесь.

— А может, поедете поспите. Мы — надолго.

— В самолете отосплюсь. Да и не хочется сегодня спать. Последняя ночь — здесь.

— Ну смотрите, как знаете...

У причала ждал катер.

Они не пошли в каюту, а стали рядом с рулевым. И когда катер стремительно взял с места, веер соленых брызг прошелся по их лицам.

— Давай зайдем в Белую,— бросил Сорокин рулевому.

— Есть, в Белую.

Минут через тридцать скалы начали яснее проступать из голубой дымки. Уже стали различимыми березки, поселившиеся в расщелинах, белесые наплывы ягеля на черно-красных камнях, и неожиданно за крутым поворотом они встретили корабль.

Короткий обмен сигналами — и катер на малом вошел в неприметную с моря и воздуха бухточку.

Сорокин и Бевз спрыгнули на скользкие камни, поросшие густыми водорослями. Ноги сразу промокли, пока

они шли по прибрежной отмели, заваленной изъеденными моллюсками, обломками корабельных досок, концов, поломанными бочками, остро пахнущими рыбой,— чего только не выбрасывает во время штормов океан.

Скалы отвесно поднимались почти из воды, и только метров через триста их прорезала узкая ложбинка, по которой они поднялись на сопку.

Утро уже начиналось. Таяла дымка у горизонта. Тучи чаек горланили у полосы прибоя. Маленькой точкой виднелся внизу катер.

Каждый думал о своем, и потому они долго сидели молча. Бевз отлично понимал, что чувствовал сейчас Сорокин...

Обратный путь показался удивительно коротким.

Внимание Сорокина вдруг что-то остро остановило. Что? Вначале он не мог понять этого — только из далеких-далеких тайников памяти всплывало что-то очень знакомое. С чем когда-то уже встречался.

Адмирал недоуменно поморщился.

Да... Конечно же это он. Странно, что сразу не узнал. Старый знакомый. Только стал он вроде бы ниже, приземистей... Или сейчас таким показался?

Матрос — первогодок с катера и Бевз с недоумением смотрели, что могло привлечь внимание Сорокина к старенькому морскому буксиру, толкающему огромную баржу.

На всякий случай Бевз спросил:

— Что-нибудь случилось, Анатолий Иванович?

— Нет. Просто узнал старого знакомого...

— Где?

— Видишь буксир?

— Да.

— С ним мы начинали. На нем когда-то прибыла сюда первая партия строителей.

— Ветеран?

— Для всех — ты не обижайся, Сережа,— он только старик. Для старожилов — еще и память...

— Может быть.

— Забыли его. Конечно забыли. Ведь столько больших дел совершено за это время. До буксира ли!..

Когда катер проходил мимо, капитан суденышка потянул за проволоку.

Низкий густой звук поплыл над водой...

В ту ночь он так и не уснул.

Когда он оглядывался на прошлое, ему чудилась идущая через века и века лодка. Неопределенного какого-то типа, а скорее, символ мощи, атакующей глубину.

Стремительный черный силуэт летит через зеленую полумглу. Мощные винты вспарывают океан. Расступается разгневанная вода.

Смещаются года и эпохи. За фантастическим полетом ее следят глаза моряков, лежащих на дне Цусимы и севастопольских бухт, глаза комендоров «Сибирякова» и отчаянных ребят Гаджиева.

Параллели и меридианы истории сопрягаются. В далеком проливе Дрейка штормуют айсберги, белый флаг с голубой каймой летит над полюсом, удивленно смотрит Беринг на Михайловского, и Папанин разглядывает в газете портрет Сысоева. Бессмертные закаты, полыхающие над свинцовой Атлантикой, встречают замшелые каравеллы, и застывают, пораженные неслыханным вызовом Нептуну, лодки, на рубке которой стоит невысокий моряк, почти мальчишка, с русской фамилией Соколов.

Мелькали в его памяти и другие имена и образы. И становились они в сознании рядом с другими, великими и признанными фамилиями. Это нам только кажется, что история плывет где-то за горизонтом. Еще только вчера мы видели улыбку Гагарина, а в той, за сопкой, завьюженной тогда бухте провожали в кругосветное плавание его, Сорокина.

Теперь он читает об этом походе в книгах, как будто не о себе — о ком-то постороннем, хотя и очень знакомом. И снова провожает друзей, уходящих в глубину.

Москва — Северный Ледовитый
океан — Тихий океан — Черное море —
Ленинград — Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Елкин Анатолий Сергеевич

АТОМНЫЕ УХОДЯТ ПО ТРЕВОГЕ

Редактор *Устьянцев В. А.*
Художник *Карабут В. Г.*
Художественный редактор *Гречихо Г. В.*
Технический редактор *Соколова Г. Ф.*
Корректор *Трухина Т. П.*

Г—12676.
Сдано в набор 14.10. 71. Подписано к печати 28.2. 72. Формат 84×108 1/32.
Печ. л. 9, (усл. печ. л. 15,12), уч.-изд. л. 15,443. Бумага типографская № 2.
Цена 66 коп. Тираж 100.000 экз. Зак. 2904. Изд. № 4/2543.
Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР, 103160. Москва, К-160.

4-я военная типография.

Елкин А. С.

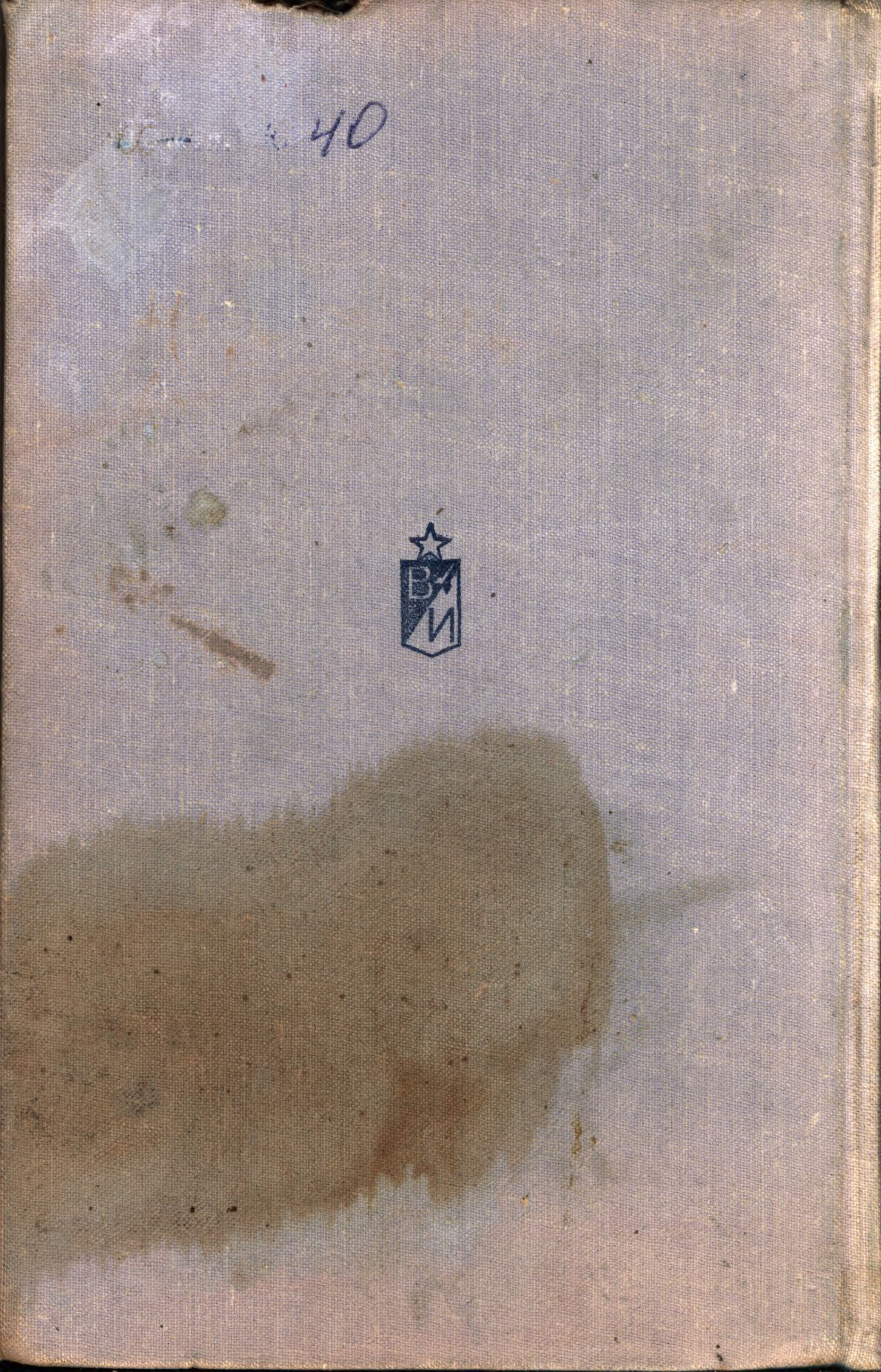
Е51 Атомные уходят по тревоге. Документальная повесть. М., Воениздат, 1972 г.

288 стр.

Содержание этой повести — история зарождения, становления и развития советского атомного подводного флота. В ней рассказывается о героях-подводниках, ходивших подо льдами к Северному полюсу, о тех, кто обошел вокруг света под водой, кто сегодня служит на атомных лодках.

$\frac{7-3-2}{160-71}$ **Р2**

18


40
В
И


А. ЕЛКИН — АТОМНЫЕ УХОДЯТ ПО ТРЕВОГЕ